

АЛЕКСАНДР I



Леонид
Ляшенко



ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

Annotation

Без сомнения, Александр I — самый непостижимый из российских монархов: великодушный и деспотичный, робкий и отважный, до конца жизни считавший себя республиканцем, но решительно пресекавший любые попытки посягнуть на его власть. «В любви его роптала злоба, /А в злобе теплилась любовь», — написал о нем П. А. Вяземский. Он не хотел, подобно Наполеону, чтобы перед ним трепетали, а желал, чтобы его любили. После победы над Францией союзники забирали у нее порты, крепости, корабли, пушки — русский император не брал ничего и, взяв Париж, спас Лувр от разграбления, но ни разу в жизни не побывал на Бородинском поле. Перед его обаянием не могли устоять светские дамы всей Европы, но в собственной семье он был всего лишь одной из «сторон» любовного четырехугольника.

Оценки, данные историками личности и царствованию Александра I, настолько полярны, что лишь усугубляют ощущение недоговоренности. Леонид Ляшенко предлагает собственный взгляд на мотивацию поступков мятущегося императора, позволяющий приоткрыть завесу тайн его жизни и смерти.

[Адаптировано для AlReader]



FB2 книгу сделал mefysto

-
- [Леонид Ляшенко](#)
 -
 - [Предисловие](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Послесловие](#)

- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ](#)

- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)

-

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [comments](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)

- [15](#)

- [16](#)

- [17](#)

- [18](#)

- [19](#)

- [20](#)

- [21](#)

- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)

- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)

- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)

- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)

- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)

- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)

- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)

- [295](#)
 - [296](#)
 - [297](#)
 - [298](#)
 - [299](#)
 - [300](#)
 - [301](#)
 - [302](#)
 - [303](#)
 - [304](#)
 - [305](#)
 - [306](#)
 - [307](#)
 - [308](#)
 - [309](#)
 - [310](#)
 - [311](#)
-

Леонид Ляшенко

**АЛЕКСАНДР I:
САМОДЕРЖАВНЫЙ РЕСПУБЛИКАНЕЦ**



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

*

© Ляшенко Л. М., 2014
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2014

Предисловие

ЗАГАДКИ ЭПОХИ

Всякое время оставляет после себя гораздо больше следов своих страданий, чем своего счастья.

Йохан Хейзинга. Осень Средневековья

Зачастую ученые самых разных специальностей настолько смело оперируют понятиями «этап», «период», «эпоха», что очень трудно понять, чем одно принципиально отличается от другого. Не вдаваясь в сложные историософские или историко-хронологические споры, сразу предупредим, что в заголовке предисловия к нашей книге понятие «эпоха» имеет не столько строго хронологическое, сколько утилитарно событийное значение. Иными словами, под эпохой понимается определенный отрезок исторического времени, в ходе которого произошло нечто, безусловно значимое не только для отдельно взятой страны, но и для целого континента, а то и для всего мира. Судя по отзывам современников событий и исследователей, последние 10–15 лет XVIII века и первые десятилетия XIX столетия в истории Европы оказались именно таким временным отрезком. Что же действительно важное тогда произошло?

«В неподвижном по видимости мире строгого сословного деления, тщательно вымеренных иерархических ступеней, жестких правил регламентации материальной и духовной жизни неожиданно порядок был нарушен»^[1], — писал замечательный историк А. З. Манфред. Если это действительно так (а сомневаться в заключении маститого исследователя нет никаких оснований), то дело касалось не тысяч, а миллионов людей, поскольку даже неграмотные, забитые народные массы ощущали неизбежность надвигавшихся перемен. Мир только казался неподвижным, а устои вековых монархий незыблемыми. На самом деле всё пришло в почти что броуновское движение.

Мыслящий авангард общества был открыто недоволен всем, что существовало вокруг него. Его не устраивали общественные институты, социальные отношения, законы, мораль; он всё брал под сомнение и

подвергал жесткой критике. Им, естественно, руководило стремление к лучшему мироустройству, более справедливому, более соответствующему естественным правам человека, к такому общественно-политическому строю, который должен принести людям подлинное счастье. Руководствовались же эти люди (во всяком случае, считали, что руководствуются) передовой философией того времени и вытекавшей из нее идеологией французского Просвещения. Это было справедливо не только для Франции и ее соседей, но и для других стран Европы, а также и для значительной части Нового Света. Не стала исключением и Россия.

Действительно, по образному выражению академика М. В. Нечкиной, Вольтер являлся «своеобразным участником русского общественного движения, сотрудником передовой общественной мысли»^[2]. Образ, предложенный исследователем, справедлив не только для Вольтера, но и для всей когорты просветителей конца XVIII века. А ведь один из них, Жан Жак Руссо, грозно и радостно предвещал: «Мы только приближаемся к состоянию кризиса и веку революций. Я считаю невозможным, чтобы великие европейские монархии продержались бы долго»^[3]. Эти жесткие слова абсолютно точно передавали ощущение духа современности, являлись подлинным отражением вызовов времени, брошенных Историей Европе и миру в последней четверти XVIII столетия. Казалось бы, что в этих словах могло быть притягательного для самодержавного режима России?

Здесь необходимо задержаться, чтобы кое-что уточнить. В те уже далекие годы, как, впрочем, и сегодня, многие считали и считают теории Монтескьё, Вольтера, Руссо и иже с ними исключительно призывами к мятежу, идеями, во многом вызвавшими Французскую революцию 1789–1793 годов и предопределившими ее характер. На самом деле всё обстояло гораздо сложнее и интереснее. Просветители, конечно, остро критиковали и традиционную Церковь, и традиционное государственное устройство, и сложившиеся социально-экономические отношения. Но призывали-то они не столько к их ликвидации, сколько к исправлению существующего положения. Чтобы подтвердить подобный вывод, достаточно обратиться к терминологии. Понятие «революция» на языке просветителей означало лишь резкое ухудшение положения в государстве, достаточно серьезный кризис. Изначально оно вообще было заимствовано у естествоиспытателей, называвших так некий заметный и резкий переворот в природе. Поэтому революция, с точки зрения просветителей, никак не могла обозначать *метод* перехода от удручающего прошлого к светлому будущему.

Инструментами, которыми французские мыслители предлагали воспользоваться для исправления ситуации, являлись просвещение людей, вера в их разум, создание правовой системы, обеспечивавшей эффективное и справедливое использование общественного богатства. Иначе говоря, призывы просветителей могли восприниматься (и, конечно, воспринимались) не столько как сигнал к ниспровержению традиционного строя, сколько как выражение надежды на его реконструкцию, то есть укрепление на прежних по сути, но заметно обновленных основаниях. Монархи и традиционная политическая элита европейских держав получали, таким образом, заманчивую возможность сделаться архитекторами (а вернее, реставраторами) старого государственного здания. Иначе трудно объяснить, что именно в теориях просветителей привлекло, скажем, прусского Фридриха Великого или нашу Екатерину II. А ведь интерес их и других влиятельных особ к идеям Монтескье, Вольтера, Руссо или Дидро сомнения не вызывает. Дело заключалось не только в восприятии работ просветителей монархами, не менее важны их идеи оказались для становления и воспитания общества. Ведь философия Просвещения породила культ Разума, Добродетели, Законности, Общего мнения. Более того, на ее основе возник целый спектр политических направлений, от консерватизма до якобинства.

Однако получилось, что поворот, предложенный Европе Историей, оказался чрезвычайно крут, многопланов и абсолютно непредсказуем. «Европа, — писал историк Ю. М. Лотман, — подходила к рубежу великих перемен. Ничто не казалось вечным. Все авторитеты пошатнулись, и перед сильной волей и беспокойным характером открывались возможности, казавшиеся безграничными»^[4]. О человеческой воле и характере скажем чуть позже, пока же отметим, что прорыв во времени (или разрыв времен?) произошел именно там, где голоса глашатаев новаций звучали особенно громко. Как это часто бывает, из всего богатства предложенных мыслителями средств было выбрано самое простое и в силу этого казавшееся наиболее действенным, способным принести скорый и радостный результат.

Впрочем, было бы странно и недальновидно обвинять в торопливости и непонимании богатства содержания идей просветителей только их верных последователей. События во Франции, особенно в ее столице, неумолимо подталкивали население к всё более решительным действиям, приведшим, в конце концов, к оглушительному взрыву. Напомним вкратце цепочку основных событий. В 1789 году после долгого перерыва правительство, надеясь получить общественную поддержку своей

политике, созвало Генеральные штаты, состоявшие из депутатов от дворянства и верхушки третьего сословия. Летом того же года под давлением общества к ним добавились депутаты от других слоев населения, и Генеральные штаты превратились в более демократическое Национальное собрание. Именно этот момент принято считать началом Французской революции, поскольку появление и деятельность Национального собрания заметно нарушали традиционный порядок государственного устройства.

12—14 июля 1789 года в Париже произошло столкновение жителей с войсками, закончившееся победой горожан, символом которой стало разрушение ими Бастилии — главной королевской тюрьмы. В окружении Людовика XVI воцарилась паника, началось поспешное бегство аристократии из столицы, а позже и из страны. Сам король вынужден был принять из рук представителей парижан трехцветную кокарду, ставшую прообразом современного флага Франции, в котором красный и синий цвета напоминают о гербе Парижа, а белый — о королевском знамени Бурбонов. Однако насильственное «единение» монарха с подданными оказалось непрочным и существовало очень недолго.

Уже в конце лета во Франции началась «муниципальная революция» — повсеместное образование революционных органов исполнительной власти на местах. Решительнее стало действовать и Национальное собрание, отменившее сословные привилегии и феодальные повинности, вытекавшие из личной зависимости крестьян. Оно приняло важнейший документ — «Декларацию прав человека и гражданина». «Декларация» преследовала две главные цели: покончить с социально-политическим наследием старого режима и заложить основы нового строя. В частности, в ее третьей статье говорилось: «Источник суверенитета зиждется, по существу, в нации. Никакая корпорация, ни один индивид не могут располагать властью, которая не исходит из этого источника»^[5].

Таким образом, документ решительно отрицал освященное временем и традицией «божественное право» короля на верховную власть. Более того, «Декларация» провозглашала неотъемлемыми права человека, приходящие в непримиримое противоречие с феодальными традициями: свободу личности, право собственности, сопротивление угнетению, право на безопасность и т. п. Позже из этого вырастет утверждение: «Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и каждой его части есть священнейшее право и неотложная обязанность»^[6].

Этот документ имел такое огромное значение, что существовало

мнение, будто революция заключается в «Декларации» и попытках ее осуществления, а контрреволюция — в стремлении отклонить французов от действий, вытекающих из «Декларации». Людовик XVI, естественно, отказался утвердить «Декларацию», справедливо видя в ней покушение на власть короля и основу республиканской конституции. В ответ 5–6 октября 1789 года толпа простонародья захватила Версальский дворец и вынудила монарха утвердить документы, выработанные Национальным собранием. Отныне он был лишен возможности начинать войну и заключать мир, а законы принимал вместе с Законодательным собранием (вернее, под его диктовку), которое должно было прийти на смену Национальному.

Тем временем в противовес существующим органам власти Франция покрылась сетью политических клубов разных направлений, ставших очагами политической самоорганизации граждан. Вскоре парижане с опаской заговорили о готовящемся бегстве королевской семьи из революционного Парижа. Действительно, в июне 1791 года коронованными особами была предпринята неудачная попытка уехать из страны. С этого момента события, и прежде не отличавшиеся медлительностью, понеслись буквально вскачь. Во-первых, Национальное собрание объявило о самороспуске и его место заняло Законодательное. Во-вторых, в 1792 году началась война Франции с Австрией, попытавшейся задуть в колыбели опасный мятеж в соседнем государстве, а заодно и поживиться за счет этого государства. Именно тогда прозвучал знаменитый клич «Отечество в опасности!», который не раз использовался радикалами последующих времен. В-третьих, в августе 1792 года король, боясь штурма дворца Тюильри и самосуда над ним и его семьей, отдал себя под покровительство Законодательного собрания.

Последовавший затем штурм Тюильри свидетельствовал о том, что парижане вышли из-под контроля прежних вождей революции и настойчиво требовали расширения и углубления перемен. 2–5 сентября 1792 года толпы простонародья устроили дикую резню в тюрьмах Парижа, Лиона, Кана, Реймса, казня без разбора виновных и невиновных. После этого «оседлать» революцию попытался Конвент, пришедший на смену Законодательному собранию. Он принял декрет о провозглашении Французской республики, просуществовавшей до ноября 1804 года, когда Наполеон Бонапарт объявил себя императором.

Конвент, попавший под влияние «бешеных» (так называли наиболее радикальную часть депутатов), инициировал следствие по делу о преступлениях короля против революционного народа. В январе 1793 года Людовик XVI и королева Мария Антуанетта были обезглавлены на

гильотине. Но эта казнь оказалась только началом мощной волны террора, прокатившейся по Франции и унесшей жизни 35–40 тысяч человек. Уже через год террор обернулся против самих «бешеных», и они, в свою очередь, сложили головы на гильотине. В 1795 году в Париже были сформированы Директория, обладавшая исполнительной властью, и двухпалатный законодательный орган, состоявший из Совета пятисот и Совета старейшин. Собственно, на этом революционное движение во Франции окончательно сошло на нет; начались мучительное изживание его крайностей и поиски новой государственности.

Происшедшие во Франции события потрясли всю Европу (и не только ее), заодно загадав миру немало загадок. Начнем с наиболее очевидного. С 1792 года войны в Европе не прекращались на протяжении двадцати трех лет, отличаясь лишь степенью ожесточенности. Они вспыхивали то на Рейне, то в Италии, накрывали то Альпы и Испанию, то Египет. Когда же война охватила территорию от Сарагосы до Москвы, на карту оказались поставлены судьбы всех народов континента. Эхо тех событий звучало очень долго, если не звучит, пусть и достаточно глухо, до сих пор. Действительно, в конце XVIII — начале XIX века порядок, формировавшийся в Европе столетиями, был разрушен в кратчайшие исторические сроки (начало Французской революции датируется 1789 годом, а поражение Наполеона при Ватерлоо — 1815-м).

Самое поразительное и тревожное заключалось в том, что никто из современников событий не мог предположить ближайших зигзагов Истории, которые следовали один за другим, сменяясь быстро и непредсказуемо, как бы «без предупреждения». Людям оставалось только всплескивать руками и то ли в восторге, толи в негодовании восклицать: «Французская революция — одно из тех событий, которые определяют судьбы людей на много последующих веков. Новая эпоха начинается... есть еще люди, которые считают, что революция уже окончена! Нет! Нет! Мы еще увидим много удивительных вещей»^[7].

А что еще оставалось делать свидетелям столь резкого перелома, если одна система ценностей распадалась, другая еще не сложилась и обломки первой, смешиваясь с начатками второй, образовывали нечто удивительное, порой пугающее и отталкивающее, но чаще прельщающее блеском абсолютной новизны? Интересно, что, в конце концов, Французская революция оценивалась не только консерваторами, но и либералами как исторический тупик, ее признавали бесперспективной, имея в виду ближайшие последствия, а не масштабность влияния на последующие события, которую пока просто не могли разглядеть и оценить.

Ближайшие последствия, так пугавшие европейцев, — это не только ужасы террора 1793 года, хотя данные ужасы и сыграли в оценке событий во Франции весьма важную роль. Не менее страшен для современников оказался обман их тайных и явных надежд на поступательно-прогрессивное развитие стран и народов континента. Эти надежды не были беспочвенны, ведь на глазах людей конца XVIII — начала XIX века революционная перестройка гражданских отношений внутренне преобразовала Францию, объединила ее население в единую нацию. Революционная идеология представляла себе Европу освобожденной от традиционных режимов и процветающей в силу установившегося братства народов. Однако красивые мечты остались только мечтами.

На деле же космополитические порывы Французской революции быстро выродились во французский национализм, справедливые революционные войны — в ряд обычных завоеваний, «братство народов» — в подчинение завоеванного населения французскому господству. К тому же республиканские ценности оказались легко и быстро растоптаны Наполеоном, превратившим Францию в империю под скипетром новой династии. Однако обаяние иллюзий эпохи Просвещения было настолько стойким, что по-прежнему рождало мечты о возможности возврата в новых исторических условиях к «просвещенному абсолютизму», носители которого учли бы опыт революционных событий. При этом у здравомыслящих людей историческая оправданность социальных преобразований 1789–1793 годов сомнений не вызывала, в штыки воспринимались только те методы, при помощи которых эти социальные преобразования были завоеваны. Иными словами, по всей Европе начались судорожные поиски «розы без шипов», возможности проведения необходимых перемен без гражданской розни и самоубийственного террора. В эти поиски активно вмешивался «человеческий фактор», точнее — сумасшедшая эпопея одного человека, Наполеона Бонапарта.

«Наполеон, — писал П. А. Вяземский, — приучал людей к исполинским явлениям, к решительным и всеразрушающим последствиям. «Всё или ничего» — вот девиз настоящего. Умеренность не нашего поля ягода»^[8]. Французская революция, помимо прочего, открыла эру благородных и не очень благородных честолюбцев. Старый абсолютизм Габсбургов, Романовых, Бурбонов не давал в полной мере развиваться этому чувству. Государи так высоко стояли над народом, что им и в голову не приходило искать популярности у подданных. Что же до генералов и министров, то они больше заботились о монаршей милости, чем о завоевании народной любви. Революционная же эпоха, выведшая на сцену

массы, породила культ героев, а с ним и проблему снискания популярности вождей в глазах этих самых масс. Выпрошенные чины, титулы, звания уступали место признанным согражданами таланту и дарованию. С тех пор не столько знаки отличия, сколько овации и рукоплескания толпы сделались мечтой честолюбцев.

В иные, не такие переломные, годы фигура, подобная Бонапарту, не имела ни одного шанса возникнуть. Стоит согласиться с французским историком Ж. Ленотром, который отмечал: «Если бы это не происходило в эпоху, когда всё было необычным и странным, когда потрясены были все устои жизни, невозможно было бы понять, каким образом человек... не имеющий никакого общественного положения... мог достигнуть такой известности»^[9].

Юношество всех стран бредило карьерой отчаянного корсиканца. Не оставила она равнодушной и героя нашей книги Александра I. Он был захвачен эпопеей нового Цезаря и жаждал такой же известности. В его глазах Наполеон выглядел то героем, бесстрашно защищавшим завоевания революции, то человеком, предавшим ее идеалы и по личным мотивам бросившим Европу в вихрь военных потрясений. Раскрывая двойственность фигуры Бонапарта, А. С. Пушкин охарактеризовал ее блестящей формулой: «Мятежной вольности наследник и убийца», — в которой родовое единство Бонапарта и революции подчеркнуто в той же степени, сколь и их трагическая несовместимость. Как бы то ни было, фигура французского генерала, а затем и императора сделалась знаковой для своего времени.

«Для человека конца XVIII в., — отмечал Ю. М. Лотман, — если можно позволить себе такое обобщение, характерны попытки найти свою судьбу, выйти из строя, реализовать собственную личность. Такая устремленность и обосновывает многообразие способов поведения»^[10]. Она же обосновывает и страх людей того времени: «не состояться», не попасть на скрижали Истории хотя бы одной строкой, ничем не отложиться в памяти потомства. В результате частная жизнь, частная судьба начинала осознаваться в качестве желанной альтернативы тяготам и лишениям государственной и государевой службы. И в этом немалая заслуга не только Французской революции в целом, но и, в частности, Наполеона.

Таким образом, царствование Александра I пришлось на переломную эпоху, когда христианское отношение к идее легитимности монархической власти в Европе переживало серьезную проверку на прочность, а неизбежность предстоящих в будущем изменений феодального облика

Европы была осознана просвещенными современниками достаточно быстро. Однако в России поиски исторической альтернативы ужасам революции отличались заметным своеобразием. Оно и понятно. Впервые после длительного и зачастую, по словам В. О. Ключевского, неразборчивого заимствования плодов материальной и духовной культуры Запада «перед российской властью и обществом встал вопрос о критическом отношении к политическим идеям и порядкам, появившимся в ходе революции»^{11}.

Опасности на этом пути подстерегали страну на каждом шагу. «Если сей образ правления и мнимого равенства, — предупреждал канцлер А. Р. Воронцов, — хоть тень окоренения во Франции примет, оно будет иметь пагубные последствия и для прочих государств с тою только разностью, что в одном ранее, в другом позже»^{12}. Некоторые российские вельможи сделали из событий во Франции практические, но довольно неожиданные выводы — стали на всякий случай обучать своих детей полезным ремеслам. Так, прославленные в будущих сражениях генералы Михаил Семенович Воронцов и Николай Николаевич Раевский достигли заметных успехов в столярном и слесарном деле, а их коллега Алексей Петрович Ермолов научился переплетать книги, причем переплеты его работы не имели себе равных по прочности и изяществу.

Прогрессивная, так сказать, демократическая, часть общества стремилась, по словам будущего декабриста С. Г. Волконского, «поставить Россию в гражданственности на уровень с Европою и содействовать к перерождению ее в соответствии с великими истинами, высказанными в начале Французской революции, но без увлечений, ввергнувших Францию в бездну безначалия»^{13}. Основными принципами, отстаиваемыми представителями дворянского авангарда, стали защита свободы личности, незыблемость закона, представительное правление, справедливое решение крестьянского вопроса. Им противостояла хорошо знакомая патримониальная теория консерваторов, которая, в общем-то, продолжала господствовать в обществе. Однако радикалов и их противников роднило желание найти морально безупречные средства достижения поставленных целей и при этом, по выражению советского историка Е. Г. Плимака, «избежать неконтролируемых последствий исторических событий, удержать в повиновении разбушевавшуюся стихию человеческих страстей»^{14}.

Объединяло их и то, что общество, в том числе его радикальная часть, до поры отдавало политическую инициативу трону. Решающих шагов

ждали, прежде всего, от императора. Дело здесь отнюдь не в раболепии россиян, не в их традиционной надежде на верховную власть, не в признании именно ее единственной реальной политической силой, а, скорее, в понятной растерянности людей перед лицом круговерти событий и проблем. «Мирное сожительство разумного идеала с неразумной действительностью, — писал В. О. Ключевский, — тяжелым камнем легло на ум и совесть образованного русского человека. Мирились с противоречиями, подбором понятий, чувств, вкусов»^{15}.

Эта растерянность странным образом сочеталась с твердой уверенностью в неизбежности победы прогресса, в его всеокрушающей поступи. Как бы то ни было, в России начиналась эпоха молодого, проснувшегося, сильного общества, начинавшего осознавать себя, свою историю, свою силу и свои недостатки. Это было ликующее время всеобщей веры в скорое благоденствие отечества, а потому эффект осмысленности, некой предначертанности бытия ставил особую мету на жизни каждого человека. Именно поэтому на рубеже веков и в первой четверти XIX столетия в России было предпринято три попытки отыскать альтернативу Французской революции: Павлом I, Александром I и декабристами.

Павел стремился при помощи всеохватывающей централизации различных сфер жизни российских подданных защитить от революционных идей самодержавие, по его мнению, сохраняющее в стране необходимый порядок. В сфере идеологии он противопоставлял революционным призывам и лозунгам («злomu равенству») консервативную рыцарскую утопию («доброе неравенство»), то есть пытался оживить прошлое и с его помощью отыскать решение проблем, рожденных Французской революцией.

Для декабристов абсолютная монархия, крепостное право, сословное деление общества превратились в раздражающий, а главное, опасный для страны анахронизм. Для них полное и скорейшее уничтожение скомпрометировавшего себя в Европе строя становилось насущным требованием времени. Радикалы первой четверти XIX века попытались разгадать «французскую загадку», исключив участие в революционном перевороте народных масс, предусматривая подчинение переустройства России после своей победы жесточайшей диктатуре Временного правительства или здравому смыслу и человеколюбию просвещенного дворянства. В своих надеждах и практических шагах они отнюдь не были оригинальны и в то же время, по сути, оказались необычайно русскими деятелями.

Развитие самобытных идей и самобытных действий в России всегда в той или иной мере испытывало влияние западных идеологий и примеров, принадлежавших качественно иному обществу. Попадая в Россию, они, с одной стороны, стимулировали и направляли ее развитие к уже выработанному за границей идеалу, с другой — не могли не сбивать ее с традиционного хода, хотя и не успевали сбить с него совершенно и бесповоротно. Это одна из причин особой экзотичности русского пути, сочетавшего чужие тенденции и собственные основы, новаторскую постановку проблем и попытки традиционного их решения, что оборачивалось чаще полурешением, а то и вовсе не решением.

Александр I всеми фибрами души, буквально кожей ощущал то, что его время не только в России, но и во всей Европе напоминает кипящий котел, при этом никто не мог предполагать, что именно в нем «сварится». Что касается Российской империи, то было опять-таки неясно, то ли История размышляет, что сделать с этой страной, то ли Россия сама пытается понять, какой ей стать в новых условиях. Прекрасно изучив горький опыт французской монархии, Александр Павлович, конечно, не хотел ему следовать. Российскому наследнику престола, а затем и императору претил путь, проложенный Наполеоном. Не устраивал его и опыт царствований бабки, Екатерины II, и отца, Павла I. Наш герой понимал одно — крепостничество и самодержавие как-то *вдруг* стали восприниматься в качестве тормоза на пути к прогрессу. Что же он мог предложить своим подданным, на чем остановил свой выбор? Собственно, об этом и пойдет речь в нашей книге.

Ясно одно — рубеж XVIII и XIX столетий ознаменовал собой вступление России в Современность. И это, разумеется, была весьма своеобразная Современность.

Глава первая

ЗАГАДКИ ВОСПИТАНИЯ

Все мы рождаемся милыми, чистыми и непосредственными; поэтому мы должны быть воспитаны, чтобы стать полноценными членами общества.

Джудит Мартин

Бабушка и родители

Двенадцатого декабря 1777 года 201 пушечный залп, прогремевший со стен Петропавловской крепости и из Адмиралтейства, возвестил о рождении первого сына великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны, долгожданного внука императрицы Екатерины II. Ее библиотекарь поэт Василий Петрович Петров откликнулся на рождение младенца торжественной одой, в которой были строчки:

*Ему поклонятся языки,
Днесь станут ране цвести древа,
Его почтут земны владыки...*

Сказать что-нибудь о более раннем цветении деревьев в связи с появлением на свет порфирородного младенца весьма трудно, а в остальном Петров, как это часто случается с поэтами, оказался провидцем. Пока же, спустя восемь дней после рождения, ребенка крестили в императорской часовне Зимнего дворца. Крестной матерью мальчика, названного Александром в честь святого покровителя Петербурга Александра Невского, стала сама Екатерина Алексеевна, а крестными отцами (заочно) — австрийский император Иосиф II и прусский король

Фридрих II. К моменту рождения первого внука императрице исполнилось 48 лет, и уже 15 из них она занимала российский престол, силой отнятый ею у собственного мужа Петра III, а также, если ориентироваться на российские традиции, у собственного сына Павла.

Екатерина II решительно отобрала Александра у родителей, поскольку изъявила желание сама воспитывать внука, воспитывать так, как ей казалось нужным и правильным (то же самое произойдет и со вторым ее внуком Константином). Павел попытался отстаивать свои отцовские права, но царица якобы ответила ему: «Дети принадлежат не вам, а России». По свидетельству осведомленной современницы событий Елизаветы Петровны Яньковой, слова Екатерины звучали еще более категорично: «Вы свое дело сделали, вы мне родили внука, а воспитывать его предоставьте мне: это касается не вас, а меня»^[16]. По поводу того, что императрица безапелляционно отождествляла себя с Россией, удивляться не приходится, поскольку таковы были реалии времени, связывавшие воедино трон и территорию, а также население империи.

Впрочем, дело оказалось не только в желании императрицы позаботиться о будущем страны и проявить свои таланты на уровне педагогики, но и в том недоверии, которое она испытывала к сыну и невестке. «По существу, — пишет историк А. Н. Сахаров, — большая часть жизни Екатерины прошла под... дамокловым мечом сыновьяго недовольства и внутреннего сопротивления, что не могло не накладывать печать на всё ее царствование и отношения в семье»^[17]. Попутно заметим, что упомянутый исследователем меч — орудие, как известно, обоюдоострое, а потому и Павел, отодвинутый матерью от престола, жил в постоянном страхе, опасаясь ее гнева и опалы. Екатерина уже давно не видела в сыне достойного наследника своих дел, а значит, и престола, поэтому ей легко могла прийти в голову идея отодвинуть его от трона раз и навсегда.

Лишение родителей их законных и безусловных прав в семье Романовых во второй половине XVIII века новостью не являлось. В свое время императрица Елизавета Петровна точно так же забрала к себе Павла у самой Екатерины Алексеевны и ее супруга великого князя Петра Федоровича. Они смогли посмотреть на сына только через 40 дней после его рождения, а за первые полгода жизни младенца виделись с ним всего трижды. Так что наша чадолюбивая бабушка, присвоив себе двух старших внуков, поступила вполне в духе традиций, сложившихся в царствующей фамилии. Впрочем, не будем сгущать краски. Раз или два в неделю Павел с

женой приезжали из Гатчины повидаться с сыновьями, приласкать их и порадовать нехитрыми подарками. Правда, виделись они с детьми только в присутствии доверенных лиц императрицы, а то и ее самой. Всё это трудно назвать полноценными семейными отношениями, а уж о воспитании в лоне семьи и вовсе говорить не приходится.

Зато далекоидущие планы императрицы в отношении старших внуков были продуманы и разработаны, кажется, еще до их появления на свет. Что касается Константина, то ему по воле бабки было предназначено стать во главе так называемого Греческого проекта, отправной точкой которого были идеи многолетнего фаворита Екатерины Григория Потемкина. Само имя Константин было дано мальчику в честь знаменитого византийского императора Константина Великого, да и кормилицей второго внука государыни не случайно стала гречанка. Проще говоря, Константина предполагали сделать владыкой нового Византийского царства, земли которого должны были быть в скором времени освобождены Россией из-под власти Османской империи. Подобные геополитические проекты с невольным участием царственных детей — дело не столь уж редкое, правда, далеко не всегда реально осуществимое. Что же касается планов в отношении Александра, то с ними всё обстояло гораздо сложнее, серьезнее и, как оказалось, опаснее для мальчика.

Пока же отметим, что бабушка прежде всего озаботилась здоровьем внуков (проблема оказалась тем более актуальной, что Александр в раннем возрасте физической крепостью отнюдь не отличался). Началось всё с закаливания детей, а потому независимо от времени года их не кутали в теплые вещи, одежда всегда должна была быть простой и легкой. Первые — и достаточно удачные — наряды для них придумала сама Екатерина. Это оказалось некое изделие с минимумом застежек: «...всунут ручки и ножки в платьице, и вот они готовы». Судя по описаниям этих нарядов, великая императрица и здесь оказалась первопроходцем — изобрела хорошо знакомый нам детский комбинезон. Александр и Константин должны были как можно больше времени проводить на свежем воздухе, да и спали они в хорошо проветриваемых помещениях на довольно жестких матрацах, а не на традиционных перинах, и ели простую, не слишком разнообразную пищу.

С пяти лет великих князей начали приучать к физической работе. Они не только оклеивали стены обоями, чистили мебель и поддерживали порядок в своих комнатах, но и приобщались к жизни землепашцев. В Царском Селе им выделили огород и соответствующие орудия производства. Здесь они вскапывали и боронили землю, сажали капусту и

сеяли горох, пропалывали и поливали грядки. После полевых работ, умывшись в ручье, мальчики катались по озеру на лодке и ловили сетью рыбу. Немец Майер учил великих князей пилить, строгать, сколачивать — всё шло согласно педагогическим взглядам модного в то время Джона Локка. Эти физические упражнения заметно укрепили мальчиков. Екатерина вспоминала, что шестилетний Саша легко надевал на себя кольчугу одного из предков, которую бабушка с трудом поднимала одной рукой, и даже бегал в ней по аллеям парка. Тогда же начались первые, пока еще несистематические учебные занятия великих князей. Императрица сочинила специально для них «Бабушкину азбуку» и несколько нравоучительных сказок (до нас дошла только одна — «Царевич Хлор»). Екатерине пришлось лично заниматься всем этим, поскольку детская литература в те годы была из рук вон плоха.

Бабушка требовала от нянек и воспитателей, чтобы они поощряли во внуках любезность, снисходительность, чувство справедливости, а наказывали детей за бессовестность, высокомерие, скрытность. Мальчики должны были проявлять покорность, преданность и верность по отношению к императрице, а в играх и забавах ни в коем случае не могли обманывать, вводить товарищей в заблуждение (интересно, что это были за игры?); им запрещалось мучить животных, насекомых и ломать что-либо в ходе игр. Не забыла Екатерина и об их военном воспитании. В 1785 году для забавы великих князей выучили 16 одиннадцатилетних солдатских детей, среди которых были и барабанщик с флейтистом, одели в соответствующую форму, и они по вечерам маршировали перед Александром и Константином.

Чуть позже началось регулярное образование великих князей, причем Екатерина сама подбирала им учителей-предметников. Но особенно ее волновала кандидатура наставника, который сумел бы свести воедино главные идеи разных предметов, заинтересовать подопечных беседами на «вольные» темы, обеспечив их гуманитарную подготовку. В поисках такого универсала императрица обратилась к своему давнему и постоянному корреспонденту, немецкому дипломату барону Фридриху Мельхиору Гримму, и тот порекомендовал ей швейцарца Фредерика Сезара Лагарпа. Выбор оказался весьма интересным, хотя и небесспорным.

Наставление, которым должны были руководствоваться учителя внуков, императрица, естественно, написала сама. Оно состояло из семи разделов: 1) здоровье детей и его сохранение; 2) склонность к добру; 3) добродетели; 4) учтивость; 5) поведение; 6) знания; 7) обхождение наставников с воспитанниками^[18]. Стоит обратить внимание на то, что

раздел «Знания» занимал в этом документе предпоследнее место. Видимо, для Екатерины II было важно, чтобы внуки стали не столько всесторонне образованными, сколько просвещенными (в понимании этого слова людьми конца XVIII века) и воспитанными (в том смысле, который в него вкладывало галантное XVIII столетие). Может быть, она и была бы права, если бы речь шла о подготовке наследников престола ее времени; но внукам Екатерины II пришлось жить совсем в другую эпоху, в ходе которой утонченная галантность уступала место другим образцам поведения, прежде всего подражанию мужественным героям Древнего Рима.

Императрица, при всем уме и государственном опыте, была лишь человеком, для которого вызовы Истории и Времени оставались во многом неразрешимыми загадками. Однако это вовсе не означает, что она не пыталась по-своему подготовить Александра и Константина к тяготам реальной жизни. Вот, скажем, ее заметки, содержащие наставления старшему внуку: «Изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не вверяясь без разбора... никогда не окружайте себя льстецами; дайте почувствовать, что вам противны восхваления и самоуничижения... Будьте мягки, человеколюбивы, доступны, сострадательны и либеральны... Храните в себе те великие душевные качества, которые составляют отличительную принадлежность человека честного, человека великого...»^{19}.

Екатерина II с неослабевающим вниманием следила за развитием старшего внука и в письмах Гримму делала очень меткие, порой поразительно глубокие замечания: «Господин Александр телесно, сердечно и умственно представляет редкий образец красоты, доброты и смысленности. Он жив и основателен, скор и рассудителен, мысль его глубока, и он с необыкновенной ловкостью делает всякое дело, как будто всю жизнь им занимался... Ровесники его легко соглашаются с его мнением и охотно следуют за ним... Кроме того, он очень сведущ для своих лет: он говорит на четырех языках, хорошо знаком с историей всех стран, любит чтение и никогда не бывает празден»^{20}.

В этих словах, конечно, чувствуется чрезмерное восхищение любящей бабушки незаурядным внуком, но, с другой стороны, схвачено самое главное, дан почти законченный психологический портрет ребенка. Иногда в своих заключениях Екатерина поднималась до высот, сделавших бы честь современным психологам и педагогам. Вот, к примеру, фраза из письма тому же Гримму: «Это очень странный мальчуган; он весь состоит из инстинктов»^{21}. Вроде бы здесь явственно слышится растерянность

венценосной бабушки перед вечной загадкой мотивов детского поведения. Более того, может показаться, что императрица ошиблась, поскольку, как мы увидим позже, Александр чаще всего предпочитал действовать вполне обдуманно, не полагаясь на первые впечатления и ощущения. Однако в решающие моменты своего царствования ее старший внук действительно полагался скорее на чувства, чем на разум; но как это сумела предвидеть его бабка?

Впрочем, родственные чувства — это не только любовь, уважение и основанная на них привязанность, но еще и некоторое незримое и труднообъяснимое единение, позволяющее без слов безошибочно понимать друг друга, хотя такое понимание далеко не всегда приносит только радость. Екатерину Великую с Александром многое роднило и помимо крови. Они оба считали себя «республиканцами по духу», бабушка даже сама разъясняла внукам «Декларацию прав человека и гражданина», в результате чего они, вдохновленные ценностями, провозглашаемыми документом, вскоре прицепили на свои детские мундирчики трехцветные кокарды^[1]. При этом не будем забывать, что в конце XVIII века понятие «республика» означало не только и не столько политическое устройство государства; под этим словом подразумевали некий особый нравственный тип поведения человека, благородный характер, вобравший в себя целый комплекс гражданских добродетелей: общественный долг, честное служение принципу справедливости, человеческое достоинство, стоическое мужество.

Воспитывая во внуках эти добродетели, Екатерина II построила для них между Павловском и Царским Селом дачу, на которой, как уже говорилось, мальчики пробовали свои силы в сельском хозяйстве. Интересно и показательно, что рядом с домом великого князя в знак его будущей и само собой разумеющейся любви к народу была поставлена крестьянская избушка. А за ней возвышалась постройка, получившая название Храм розы без шипов (выше уже говорилось, что это означало на языке конца XVIII века). Плафон купола храма был украшен изображением Петра I, милостиво взиравшего на благоденствующую при его потомках Россию. Он опирался на щит, на котором было не изображение святого и даже не герб Романовых, а портрет Екатерины II (этакой русской Афины Паллады или Минервы). Надо уметь правильно расшифровывать аллегии, а царственным детям — особенно. Но не каждому из них это дано в полной мере. Когда однажды бабушка спросила внуков, как бы они стали править государством, случись им взойти на престол, прямодушный Константин сказал, что взял бы за образец царствование Петра Великого, за

что удостоился сдержанной похвалы. Александр же благоразумно ответил, что стал бы во всем подражать нынешней государыне, чем необычайно ее порадовал.

Державная бабушка осталась довольна ответом старшего внука, но вряд ли всерьез задумалась над его словами. Между тем дело здесь не в желании Александра польстить императрице, не в его лицемерии и двоедушии, в чем героя нашей книги любили упрекать очевидцы событий рубежа XVIII–XIX веков (а многие историки делают это до сих пор). Ему действительно была близка идеология «Наказа», данного Екатериной депутатам Уложенной комиссии; он разделял намерение бабки поочередно освободить российские сословия, сделав их членов не только подданными, но и сознательными гражданами. При этом внешний блеск двора, нарочитая галантность, прикрывавшая распущенность нравов, разгул интриг, раболепие и произвол придворных с ранних лет начали раздражать великого князя.

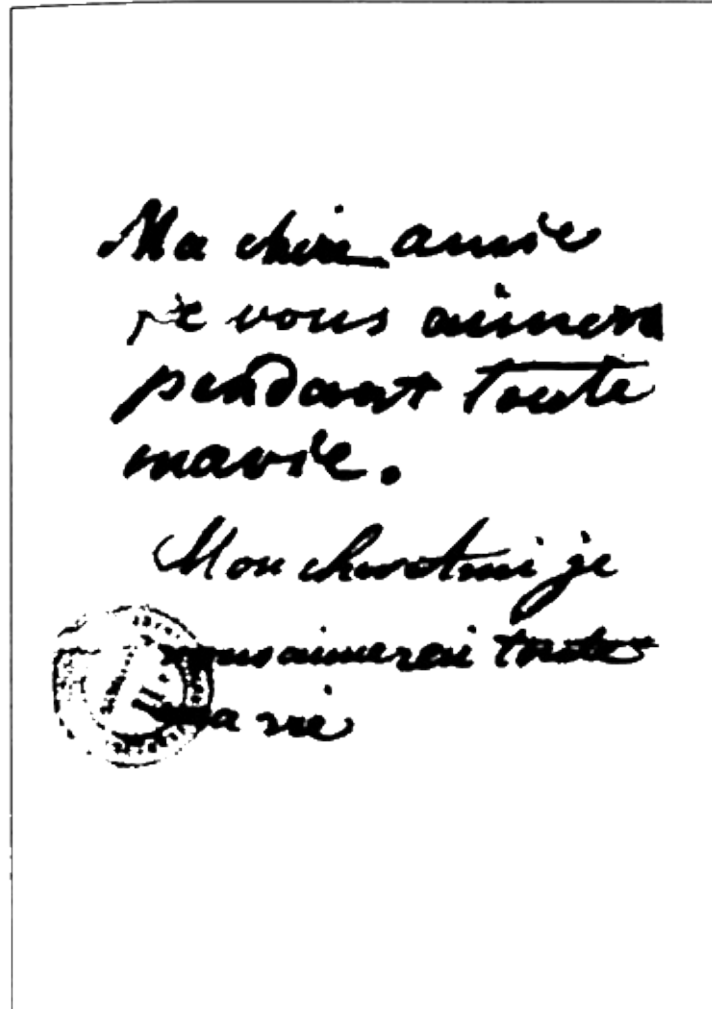
Что касается отношения Александра к придворной жизни, то он вполне мог бы подписаться под словами сенатора Ивана Владимировича Лопухина: «Картина весьма известна и всегда та же, только с некоторою переменою в тенях. Корысть — идеал и душа всех ее действий. Угодничество и притворство составляют в ней (жизни при дворе. — Л. Л.) весь разум, а острое словцо и толчок ближнему — верх его»^[22]. В таких условиях о чувствах долга, собственного достоинства, независимости в мыслях и действиях можно было только рассуждать, на деле они проявлялись крайне редко. Подданные оставались подданными, и чем ближе к трону они находились, тем «подданнее» себя вели. Деспотизм бабки в отношениях с окружающими даже Александр ощущал неоднократно. Возьмем хотя бы историю с его женитьбой. Понятно, что матримониальные дела великих князей — проблема государственная, но ведь и самые сложные государственные проблемы можно решать по-разному, тем более когда речь идет о столь тонких материях.

Как и все Романовы — а представители этого рода явно обладали повышенной чувственностью, — Александр достиг половой зрелости довольно рано, лет в двенадцать. Узнав о «возмужании» внука от его воспитателей, Екатерина II зачем-то поручила одной из придворных дам посвятить Александра в «тайны тех восторгов, кои рождаются от сладострастия». Первый сексуальный опыт ожидаемой реакции у великого князя не вызвал. Оно и понятно: юношу переполняли нежные, смутные, по сути, платонические чувства, а по ним со всего размаха ударила грубая в своей откровенности физиология. Однако происшедшее не избавило его от

женитьбы, да и подготовка к столь важному мероприятию, как оказалось, велась уже давно. Еще в 1783 году баденский поверенный в делах кавалер Кох по распоряжению императрицы представил ей записку о внешности и чертах характера пяти малолетних дочерей наследного принца Баденского. В 1790 году чрезвычайному посланнику России во Франкфурте-на-Майне Николаю Петровичу Румянцеву было поручено изучить девический состав правящего баденского семейства и особенно присмотреться к принцессе Луизе.

Существует анекдот (в историко-литературном понимании этого слова) о том, как именно происходил в 1792 году выбор невесты для Александра. И хотя в нем нет ни слова правды (кроме самого факта приезда принцесс в Петербург), он прекрасно иллюстрирует ту роль, которую в данном событии сыграла Екатерина II. «Из окон императорского дворца, — якобы рассказывала кому-то одна из придворных дам, — царица увидела подъезжавших юных принцесс. Все три были весьма привлекательны. Екатерина заметила, что принцесса, первой вышедшая из кареты, проявила... слишком много поспешности; живость эта, на ее взгляд, не предвещала ничего хорошего. Появившаяся за ней следующая принцесса запуталась в шлейфе своего платья. «Какая медленность и неловкость!» — сказала императрица. Наконец, последняя сошла с полным самообладанием. «Вот кто будет великой княгиней!» — воскликнула Екатерина»^{23}.

На самом деле в 1792 году в Петербург прибыли две баденские принцессы Луиза и Фредерика с матерью. Младшая, Фредерика, в приведенном выше рассказе, видимо, фигурировала в качестве первой, слишком резвой принцессы. За вторую принцессу (ту, что запуталась в шлейфе своего платья), вероятно, приняли мать девочек. Избранницей же Екатерины стала четырнадцатилетняя Луиза. По ее словам, их с Александром роман развивался стремительно. «Однажды вечером, — вспоминала она, — когда мы рисовали вместе с остальным обществом за круглым столом в бриллиантовой комнате [Зимнего дворца], великий князь Александр подвинул мне письмо с признанием в любви, которое он только что написал. Он говорил о том, что, имея разрешение своих родителей сказать мне, что он меня любит, он спрашивает меня, желаю ли я принять его чувства и ответить на них... Я ответила утвердительно, также на клочке бумаги, прибавляя, что я покоряюсь желанию, которое выразили мои родители, посылая меня сюда. С этого времени на нас стали смотреть как на жениха и невесту»^{24}.



Записка Александра невесте, принцессе Луизе Баденской: «Мой милый друг, я Вас буду любить всю мою жизнь» с ответом: «Мой любезный друг, я Вас буду любить всю мою жизнь». 1793.
ГАРФ

Приняв православие, Луиза стала именоваться великой княгиней Елизаветой Алексеевной. Она поражала окружающих редкостной красотой и грацией. Видевшая ее в эти годы французская художница Э. Виж-Лебрэн писала: «...правильные и тонкие черты дополнялись идеальным овалом [лица]; приятный цвет кожи своей бледностью безупречно гармонировал с выражением ангельской кротости ее лица, которое обрамлялось потоком

пепельных волос»^{25}. Гофмейстериной Елизаветы Алексеевны была назначена графиня Екатерина Петровна Шувалова, которая, не любя ни Павла, ни Александра, не только постоянно шпионила за молодой четой, но и всячески ограничивала ее контакты с родителями великого князя. Поэтому Марии Федоровне приходилось пускаться на всякие хитрости, чтобы только увидеться с сыном и его женой.

Впрочем, пора на время расстаться с Петербургом и перенестись в Гатчину, место обитания Павла Петровича, которая сыграла в жизни Александра не менее важную роль. При этом хотелось бы выяснить, каким образом отозвался в характере великого князя бабушкин Петербург и как на него повлияла родительская Гатчина, был ли он и тут и там одним и тем же Александром или оказался вынужден играть разные роли, мало похожие друг на друга.

Начнем с того, что при «большом» дворе он одевался на французский манер: бархатный камзол, шелковые чулки с бантами, модные башмаки. Он гулял в компании молодых дворян по паркам и набережным столицы, с удовольствием посещал спектакли и веселился на балах, легко подтрунивая над порядками в отцовской Гатчине. Во времена Екатерины II императорский двор находился под сильным, хотя и поверхностным влиянием философии, литературы, искусства и вообще разных сфер культуры Европы, прежде всего Франции. При дворе господствовала атмосфера непринужденности и раскованности (по свидетельству князя Ф. П. Голицына, в Царском Селе вообще не придерживались придворного этикета). XVIII столетие казалось здесь временем развлечений и наслаждений, легкомысленных нравов, роскоши и великолепия, по выражению историка В. С. Поликарпова, «веком, создавшим веселую моду белых париков и красных каблуков, веселых и ярких костюмов, вееров и ширм, позолотившим стены дворца»^{26}.

При этом, как пишет А. Н. Сахаров, влияние бабки, ее твердая рука «как бы втягивали Александра в лоно высшей власти, исподволь приучали его к ничем не ограниченной свободе собственного волеизъявления, формировали, лепили облик будущего абсолютного монарха. И всё это относилось не только к Екатерине, но и ко всему ее окружению, ко двору с его иерархией, завистью, интригам и интрижкам, фаворитизмом, нравственной распущенностью, над которыми высилась великая воля великой государыни»^{27}. Это была школа жизни, причем далеко не всегда легкая и приятная, но, как выяснилось в будущем, неизменно полезная. «Приближенные государыни, зная ее чувства к старшему внуку, наперерыв

спешили угодить ее любимцу, заслужить ее любовь и расположение... Александр Павлович слишком рано стал распознавать слабости людские, научился пользоваться этими слабостями и обращать их в свою пользу», — отмечает дореволюционный историк Б. Б. Глинский^{28}.

В конце концов Екатерина II, сама того не подозревая, поставила внука на край пропасти. Не видя в Павле Петровиче достойного преемника своих дел и справедливо подозревая, что, вступив на престол, он будет действовать наперекор ее предначертаниям, императрица решила обезоружить сына и лишить его звания наследника престола. В октябре 1793 года государыня обсуждала с Лагарпом возможность возведения на трон Александра минуя Павла, а точнее, пыталась говорить со швейцарцем о необходимости подготовки его воспитанника к этому шагу. Лагарп, будучи человеком честным и осторожным, абсолютно не верившим в прочность результатов дворцовых заговоров, сделал вид, что не понял прозрачных намеков императрицы. В штыки восприняла план Екатерины и Мария Федоровна, о чем прямо заявила в ходе трудной беседы с государыней. Тогда в сентябре 1796 года царица обратилась непосредственно к Александру. Тот, взяв время на размышление, ответил бабушке письмом, из которого невозможно было понять, принимает ли он столь неожиданный и опасный «подарок» или отвергает его. В те же дни Александр обратился с письмом и к отцу, в котором именовал того «Ваше Величество», то есть, по сути, предрешал вопрос о престолонаследии.

Для нас в данном случае важно, что вовлечение Александра в тайный заговор против Павла началось не в первые месяцы XIX века, как обычно считается, а в середине 1790-х годов и инициатором стала именно Екатерина II. Она не видела в отстранении сына от престола ничего странного, трудного и тем более опасного. По ее мнению, смена наследника престола, во-первых, по закону находилась в компетенции монарха, а во-вторых, оказалась подготовлена всем ходом событий: и неразумным поведением Павла, и насмешливо-презрительным отношением к нему ее окружения, да и отсутствием особых симпатий к ее сыну со стороны европейских правителей. Кроме того, Екатерина надеялась, что старший внук, внешне разделявший позиции бабушки, относится к отцу с той же антипатией, что и она сама.

Вот в этом-то государыня и ошибалась, поскольку не учла, по крайней мере, двух вещей. Александр любил и уважал родителей, хотя и старался явно не показывать этого в Петербурге. Кроме того, самой Екатерине, о чем она, естественно, не подозревала, жить оставалось совсем недолго. Об отношениях великого князя с родителями необходимо поговорить особо. В

отличие от Зимнего дворца с его утонченной, но приедающей галантностью и бьющей в глаза роскошью обитатели Гатчины ориентировались не на французские, а на прусские порядки и образ жизни. Нравы здесь царили более простые, порой грубоватые, не знавшие изысканности и великолепия, зато более откровенные и здоровые. В Гатчине и Павловске Александр был затянут в прусскую форму и обут в армейские сапоги. При родовой любви мужчин семьи Романовых к военному делу — петличкам, выпушкам, шагистике, приемам обращения с оружием — великий князь с удовольствием погружался в мужской мир отца.

Пусть этот мир далеко не всегда приносил ему радость, но ведь и испытания, выпадающие на долю каждого человека, являются неотъемлемой частью его жизни, делают ее более полнокровной, насыщенной. Именно в Гатчине, присутствуя на артиллерийских стрельбах, Александр оглох на левое ухо, что в дальнейшем нередко отравляло жизнь и ему, и его ближайшему окружению, поскольку делало императора более подозрительным. Бывало и так, что во время постоянно проводившихся разводов и учений войск Павел посылал адъютанта передать отцовское недовольство тем или иным промахом старшего сына. Причем гатчинский затворник особо слов не выбирал: в адрес Александра звучало «дурак», «скотина» и т. п. Что с того? Ведь всё это были признаки настоящей военной, мужской жизни, за кулисами которой оставалось достаточно места не только для грубости и площадной ругани.

Миллиной Папинка и Ма-
минка Цалю ваши ручки и
ношки, а оль радъ что вы здо-
ровы намъ сказалъ курьеръ ка-
торой отъ васъ приехалъ, а
слава богу здоровъ, и васъ
очень помню и я сегодня уч-
ся при Иванѣ Филиппичѣ и по-
казалъ ему на глобусѣ гдѣ
вы теперь ездите, мы збратцомъ
ездимъ гулять въ той коляскѣ въ
которой мы зимой часто ез-
жали

Июля 31. Сынъ вашъ
Каша

Письмо Александра родителям: «Миллиной Папинка и Маминка цалю ваши ручки и ношки, я очень рад что вы здоровы нам сказал курьер каторой от вас приехал, я слава богу здоров, и вас очень помню и я сегодня учился при Иване Филиппиче и показал ему на глобусе где вы теперь ездите, мы збратцом ездим гулять въ той коляске в которой мы зимой часто езжали. Июля 31. Сынъ ваш Каша». ГАРФ

В Гатчине Александр попадал в атмосферу строжайшей дисциплины буквально во всём, отчетливого порядка при каждом шаге, в которой не было и не могло быть неприкасаемых любимчиков. Зато здесь ощущалась привлекательная простота в повседневном быту, в семейной жизни, далекой от столичной распушенности, а также атмосфера искренней, а не показной культурности (скорее немецкой, чем французской). При дворе наследника нарождающийся сентиментализм, господство в жизни и культуре «чувства и веры», ощущался гораздо сильнее, чем в Петербурге.

Здесь Александр мог позволить себе негодовать по поводу столичных порядков. Наверное, в этом была своя прелесть, своя притягательность для юноши, стремящегося к искренности и дружелюбию.

Иными словами, мир Александра наглядно раздваивался, что, конечно, создавало для подростка определенный психологический дискомфорт. Нет-нет, молодой великий князь еще не сделался двуличным, лукавым, неувлимым для окружающих. Подобные навыки и умения не появляются сразу, в готовом и законченном виде. Пока наш герой по-мальчишески увлеченно играл в галантного кавалера и сурового офицера, но эта игра нравилась ему с каждым годом всё больше. К тому же удачное исполнение той или иной роли приносило заметные дивиденды и у бабушки, и у отца, позволяя избегать выговоров, нотаций, а то и ругани. Исследователи на протяжении многих лет спорят о степени влияния двух полюсов, между которыми в юности протекала жизнь Александра Павловича. Вопрос же заключается в том, было ли этих полюсов только два, не превращалась ли жизнь нашего героя из прямой линии, протянутой между Зимним дворцом и Гатчиной с Павловском, в сложную кривую, расположенную внутри некоего многоугольника.

Воспитатели и друзья юности

Пожалуй, к Александру Павловичу более, чем к какому-либо другому российскому монарху, подходит давно известный, но не утративший от этого актуальности афоризм: «Мы родом из детства». С его воспитателями, как это вообще частенько случалось в его жизни, произошла некоторая неразбериха. Главным из них, к удивлению окружающих, был назначен граф и фельдмаршал Николай Иванович Салтыков, занимавший в то время пост военного министра. У современников не нашлось для него добрых слов. Для примера приведем самый спокойный, на наш взгляд, отзыв князя И. М. Долгорукова: «Человек был странный, то есть худо воспитан, мало обучен, грубого от природы свойства, вспыльчив, высокомерен, суетлив, тщеславен, угождающ во всём страстям сердца и плоти...»^{29}.

Да и у исследователей граф популярностью не пользовался. «Угодливый до раболепия, — пишет М. А. Кучерская, — Салтыков стал обладателем всех существующих российских орденов, занимал ведущие государственные должности, без усилий получил и это почетное, но хлопотное место... Кажется, никого хуже подобрать было нельзя, но у Екатерины нашлись свои резоны. Ей не требовался воспитатель, который

воздействует на умы и души великих князей нравственно — эту высокую роль бабушка отводила себе и учителям. Нужней была нянька»^{30}.

Обвиняли Салтыкова во многих грехах, в том числе и во вредном влиянии на воспитанника. «Он (Александр. — Л. Л.) был красив и добр, но хорошие качества, которые были тогда заметны в нем и могли обратиться в добродетели, так и не развились вполне. Его воспитатель граф Салтыков, человек коварный, хитрый и склонный к интригам, постоянно внушал ему поведение, которое разрушало всякую искренность, заставляя постоянно обдумывать каждое слово и поступок»^{31}, — пишет графиня Варвара Николаевна Головина.

Понятно, что подобный наставник никакими педагогическими задатками и идеями страдать в принципе не мог и даже внешне выглядел весьма непривлекательно. Он из каких-то гигиенических соображений, связанных, видимо, со старением организма, не носил подтяжек, а потому вечно поддерживал неотвратно спадающие панталоны. В помощники Салтыкову был придан генерал Александр Яковлевич Протасов, в котором, как и в нем самом, трудно отыскать педагогическую жилку. По язвительному замечанию одного из современников, главной заботой воспитателей было исключительно физическое состояние воспитанников, потому Протасов каждый день представлял шефу обстоятельный доклад, где главным образом говорилось о том, сколько раз на дню цесаревич посещал уборную. Это ёрническое утверждение не совсем справедливо, ведь, так или иначе, «битву за тело» Александра воспитателям удалось выиграть — великий князь рос физически крепким, не подверженным заболеваниям.

А вот «битву за душу» воспитанника Салтыков и Протасов выиграть не сумели, да и не слишком стремились. Однако прежде чем переходить к рассказу о подлинном и главном воспитателе нашего героя, необходимо всё-таки сказать несколько слов об общем характере образования его и Константина. Великих князей в возрасте от одиннадцати до пятнадцати лет наполняли сведениями, относящимися к изучению родной страны: знакомили с картами России в целом и отдельных губерний, описаниями почв, флоры и фауны, промышленности и промыслов, сведениями о судоходных реках, дорогах и крепостях, о народах и их обычаях, о финансах, образовании, состоянии войск и т. п. Что касается знаний сугубо научных, мальчикам полагалось понимать, что они в принципе существуют, не погружаясь в их суть. Говоря языком современной педагогики, они должны были овладеть теми компетенциями, которые помогли бы им

извлечь необходимые знания из любого учебного предмета. Отсюда странные только на первый взгляд, но вполне ожидаемые при таком подходе к делу слова Александра, с гордостью заявлявшего: «Знаю всё, не учась».

Упомянем также об учителях-предметниках, работавших с великими князьями. Русскую историю и литературу им читал интереснейший и образованнейший человек своего времени Михаил Никитич Муравьев. К сожалению, лектор совершенно не умел спросить с учеников, жестко проконтролировать их занятия, а потому особых успехов в этих предметах великие князья не достигли. Математику преподавал швейцарец Шарль Франсуа Массон де Бламон, географию и естествознание — известный немецкий путешественник Петер Симон Паллас, физику — Людвиг (Логгин Федорович) Крафт, французский язык (поначалу только его) — Фредерик Сезар Лагарп, английский язык и Закон Божий — протоиерей Андрей Афанасьевич Самборский.

Последний педагог оказался фигурой необычной и по-своему примечательной. А. А. Самборский 14 лет исполнял обязанности священника при российской миссии в Лондоне. Он был женат на англичанке Елизавете Филдинг, брил бороду и ходил в цивильном платье, на что получил разрешение от самой императрицы. Будучи наставником великих князей, Самборский одновременно отправлял должность настоятеля Софийского собора в Царском Селе. Богословских споров этот священник не любил, в тонкости церковных смыслов не вникал, но обрядность исполнял истово. Ему вполне хватало того, что он прекрасно знал Евангелие и учил воспитанников «находить во всяком человеке своего ближнего».

Церковному начальству (и не только начальству) не слишком нравились поведение и внешний вид странного протоиерея. Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил пытался увещевать подчиненного священника: «Знаешь ли, что из Киева пишут? Неурожай в хлебе оттого, что ты бороду бреешь, новую ересь заводишь! Брадобрение подает повод и к возмущениям народным. Что ты умничаешь? Отрасти бороду, или предам и предаю тебя суду Божию»^{32}. Гневные слова и угрозы ничуть не смущали Андрея Афанасьевича — он отвечал на них в духе опытного царедворца, прямо показывая, кто для него являлся высшим церковным авторитетом: «Одобрения и беспристрастные свидетельства высочайших особ должны теперь положить единый и ясный смысл на оные многообразные толкования»^{33}. И, видимо, «свидетельства высочайших

особ» действительно ему помогали; во всяком случае, никакого церковного наказания он не понес. Помимо прочего, Самборский был подлинным знатоком сельского хозяйства и даже издал учебное пособие «Описание практического английского земледелия». Он, как и все другие учителя, получил ясное указание от императрицы, которого твердо придерживался: «К учению не принуждать детей и за учение не бранить. Буде учатся хорошо своею охотою, тогда похвалить. Детям трудно иметь прилежание»^{34}.

Истины ради необходимо сказать, что оба воспитателя, Салтыков и Протасов, помимо заботы о физическом состоянии подопечных, пристальнейшим образом следили и за нравственным развитием великих князей. При этом два закаленных военачальника порой вели себя, как привередливые английские дамы более поздней Викторианской эпохи, пугаясь самых невинных вещей. Однажды Паллас задумал провести урок ботаники в парке Павловска. Воспитатели, с ужасом узнав, что ученый собирается рассказывать Александру и Константину о размножении цветов, запретили ему упоминать о таком «неприличии», как тычинки и пестики, и тем более об участии пчел и прочих насекомых в процессе опыления растений. Опасный для нравственности подрастающих мальчиков урок был сорван.

Шутки шутками, но перелистаем пару записей в дневнике Протасова. «Замечается в его высочестве (Александре. — *Л. Л.*), — пишет генерал в 1792 году, — лишнее самолюбие, а оттого упорство во мнениях своих... Из сего открывается некоторая хитрость, ибо в сокрытии истины и в желании быть всегда правым неминуемо нужно приступать к подлогам. Насмешки, лень праздность также много водворились в нем». «Лишнее внимание к мелочам и модам, — продолжает чуть позже Протасов, — отводит его от упражнений, приличных его положению»^{35}.

Неужели всё действительно обстояло так плохо — или воспитатели сгущали краски, приняв желание отстаивать собственное мнение за «излишнее самолюбие», скуку на некоторых уроках и остроту ума за пустое зубоскальство? Чтобы найти ответы на эти и другие вопросы, нам никак не обойтись без разговора о Фредерике Сезаре Лагарпе. Как уже упоминалось, он появился в Петербурге по протекции барона Гримма — постоянного корреспондента Екатерины II. Первоначально Лагарп должен был выполнять обязанности учителя французского языка, но, ознакомившись с планом воспитания детей, составленным императрицей, позволил себе сделать к нему ряд важных дополнений, явно

понравившихся государыне. Она поняла, что использовать такого человека только в качестве учителя французского языка — непозволительная роскошь, и назначила его еще одним воспитателем великих князей.

Первое время между Лагарпом и Александром (с Константином у нового воспитателя сложились далеко не такие близкие отношения) существовало значимое препятствие — языковой барьер. Как ни странно, великий князь совершенно не говорил по-французски. Хотя что же здесь удивительного? Его первой нянькой была англичанка (представительницы этой нации вообще считались лучшими в мире няньками), а потому английский язык мальчик усвоил чуть ли не раньше, чем русский. Лагарп же, в свою очередь, совершенно не говорил по-русски. К счастью, учитель умел неплохо рисовать, и они с Александром начали обучать друг друга с помощью картинок. Обычно Лагарп рисовал некий предмет, ученик писал русское его название, а учитель делал то же самое по-французски. Благодаря редкой способности Александра к иностранным языкам, а может быть, и необычной методике преподавания, языковой барьер был вскоре преодолен. Чему же учил швейцарец будущего императора России? Вернее, о чем они вели многочасовые беседы?

Лагарп оказался тем человеком, который опроверг, пусть и с оговорками, отрицательное мнение Ш. Массона о судьбе екатерининского плана воспитания внуков. «Если бы, — писал Массон, — этому плану следовали, Александр и Константин Павловичи наверняка стали бы царственными отпрысками, получившими лучшее образование в Европе... Однако воспитательный план Екатерины постигла та же участь, что и «Наказ» Уложенной комиссии... Воспитание великих князей было поручено людям, которые были едва ли в состоянии прочесть план, букве которого они должны были следовать и духом которого они должны были проникнуться»^[36]. Трудно сказать, следовал ли Лагарп букве екатерининского плана, но духом его, несомненно, проникся.

Швейцарский республиканец воспитывал (причем делал это не из предосторожности, а по убеждению) не либерала-западника, но мягкого диктатора, верящего в безусловную силу закона, оправдывающего возмущение толпы против «богоустроенной», но сеющей несправедливость власти, а потому ведущего страну железной рукой к царству (в прямом смысле этого слова) свободы и справедливости. Лагарп учил подопечного любви к ближнему, уважению человеческого достоинства, старался убедить его в том, что все люди рождаются равными и что наследственная власть есть дело случая, которым еще необходимо уметь воспользоваться.

Первое место среди учебных предметов он отводил истории, особенно

истории Древнего Рима. Она должна была формировать у воспитанника нравственно безупречный образ мыслей, научить его тому, что каждый человек обязан уважать законы; тирания же, основанная на угнетении людей, неприемлема, а главное — не слишком надежна, поскольку безопаснее править людьми, подчиняющимся добровольно. Монархия, прикрывающаяся лишь божественным законом, есть обман, поддерживаемый теми, кто озабочен исключительно оправданием собственной власти. Правитель должен работать на благо сограждан, не предаваясь лени и праздности. В этих наставлениях, при всей их справедливости и нравственной высоте, таилась некая опасность.

Исторические примеры, на которых Лагарп воспитывал Александра, бесспорные сами по себе, оказались, как это ни парадоксально, опасным оружием в руках педагога. Ведь они воспевали образцовые ценности и характеры, вряд ли применимые к политической практике конца XVIII века. Оторванность древнеримских образцов от российских реалий выглядела порой просто вопиющей. Однако воспитанник-то воспринимал эти образцы всерьез, без каких бы то ни было оговорок, а потому они способствовали появлению у него сомнений и даже комплексов относительно собственных сил и возможностей.

До сведения Екатерины «доброжелатели» поспешили довести не только это, но и «либеральные» высказывания Лагарпа, а заодно и то, что он продолжает поддерживать тесные отношения со швейцарскими и французскими единомышленниками. Выслушав возмущенные голоса придворных, императрица рассудила по-своему, сказав Лагарпу: «Месье, будьте якобинцем, республиканцем, всем, кем вам заблагорассудится; я полагаю, что вы честный человек, этого мне достаточно»^[37]. Екатерине в первую очередь важны были не политические взгляды учителя, а то, насколько он проникся духом ее плана воспитания внуков, а с этим, по ее мнению, всё обстояло более чем благополучно. Разногласия между ней и воспитателем начались позже и были связаны совсем не с педагогическими проблемами.

Как уже упоминалось, Екатерина II попыталась использовать Лагарпа в интриге, направленной против своего сына: попросила педагога подготовить Александра к принятию им статуса наследника престола. Наставник отказался участвовать в готовящемся императрицей дворцовом перевороте и тем самым решил свою участь. Расстались с ним в 1794 году по-хорошему, как и полагалось в Екатерининский век: присвоили чин полковника русской армии, выдали тысячу дукатов, назначили пенсион согласно чину и выпроводили из России. Необходимо учесть, что с

отъездом Лагарпа Александр потерял не только любимого учителя и наставника, но и пример для подражания человека, чьи моральные правила и строгая совесть служили верным компасом в жизни юноши. Между воспитателем и воспитанником действительно установились не просто доверительные отношения, но и некая внутренняя связь, разрывать которую оказалось трудно, больно и небезопасно для великого князя.

Вчитаемся в одно из покаянных писем Александра учителю. Вряд ли укоризненные сентенции Протасова или Салтыкова, при всей их формальной правоте, могли подвигнуть подростка на столь эмоциональный выплеск, а вот отголоски разговоров с Лагарпом в его послании слышатся совершенно явственно: «Вместо того, чтобы себя поощрять и удвоить старания... я день ото дня становлюсь всё более неприлежен, более неспособен... Полный самолюбия и лишенный соревнования, я чрезвычайно нечувствителен ко всему, что не задевает моего самолюбия. Эгоист, лишь бы мне ни в чем не было недостатка, мне мало дела до других. Тщеславен, мне бы хотелось выказаться и блистать за счет ближнего... Тринадцать лет я такое дитя, как в восемь, чем более я подвигаюсь в возрасте, тем более приближаюсь к нулю. Что из меня будет? Ничего, судя по наружности. Благоразумные люди, которые будут мне кланяться, будут из сострадания пожимать плечами, а может быть, будут смеяться на мой счет, потому что я, вероятно, буду приписывать своему отличному достоинству те внешние знаки уважения, которые будут оказывать моей особе»^{38}.

Лагарп оказался третьим, помимо бабки и родителей, полюсом, который неудержимо притягивал Александра и диктовал ему образ мыслей и характер поведения. В разговорах с наставником, как уже отмечалось, не было игры в галантного кавалера или офицера-профессионала. Здесь великий князь становился истинным сыном века Просвещения, погружавшимся в обсуждение важнейших проблем своего времени: монархия и республика, крепостное право и свободный труд, деспотизм власти и права человека, религия и атеизм, угодничество придворных советников и истинная, часто нелюбимая дружба с немногими близкими по духу людьми. Обмен мнениями между воспитателем и воспитанником не прекратился и после отъезда Лагарпа из России, причем в письмах Александра по-прежнему звучат отголоски их петербургских бесед.

«Как часто я вспоминаю, — пишет он учителю в 1796 году, — Вас и о всём, что Вы говорили... Но это не могло изменить принятого мною намерения отказаться впоследствии от носимого мною звания. Оно с

каждым днем становится для меня всё более невыносимым... Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встречаешь честного человека»^{39}. Как бы в продолжение, но в то же время в противовес этому пассажиру — письмо 1797 года: «Мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены... если когда-либо придет и мой черед царствовать, то вместо добровольного изгнания себя я сделаю несравнимо лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу... Это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законной властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена и нация избрала бы своих представителей»^{40}. Ах, как великому князю хотелось добыть заветную «розу без шипов», как он верил в возможность вырастить подобный «цветок» на российской почве!

Гораздо позже, в 1814 году, Александр подвел своеобразный итог своим отношениям со старым наставником, во всеуслышание заявив: «Всем, что я знаю, и, возможно, всем, чем я дорожу, я обязан господину Лагарпу». Последний пережил воспитанника на 13 лет, храня о нем (периода отрочества и юношества) не просто теплые, а восторженные воспоминания (правда, в последние годы жизни Александра мнение старого воспитателя о нем заметно изменилось). Понятно, что в России деятельность швейцарского педагога оценивалась далеко не однозначно, и в этих оценках звучат по большей части негативные ноты.

Для Павла Петровича, например, он навсегда остался «грязным якобинцем» и «опасным революционером». Вступив на престол, грозный император вычеркнул имя Лагарпа из списка кавалеров ордена Святого Владимира, прекратил выплату ему пенсии и приказал генералу Римскому-Корсакову попытаться, схватив Лагарпа в Швейцарии, под строгим конвоем препроводить его в Петербург. Очевидно, дальше воспитателя наследника ждало заключение в крепость или сибирская ссылка. К счастью, карательная экспедиция в Швейцарию так и не состоялась.

Свои претензии к Лагарпу предъявил и Иван Андреевич Крылов, написавший пространную басню под названием «Воспитание льва»: отец-лев зачем-то отдал сына на воспитание птицам, которые научили львенка лишь одному полезному делу — вить гнезда.

*Тут ахнул Царь и весь звериный свет,
Повесил головы Совет,
Алев-старик поздненько спохватился,*

*Что львенок пустякам учился
И не добро он говорит:
«Что пользы нет большой тому знать птичий быт,
Кого зверьми владеть поставила природа,
И что важнейшая наука для царей:
Знать свойства своего народа
И выгоды земли своей»^{41}.*

Итак, отметим первую претензию к Лагарпу и Екатерине II: Александра учили не тому, что было необходимо и реально осуществимо в России. Пойдем далее. «Лагарп, — писал Николай Иванович Греч, — был человек умный, основательный ученый, правдивый, честный, но республиканец в душе и революционер... Такой человек не годился в воспитатели наследнику самодержавного престола... Лагарп старался внушить своему питомцу правила чести, добродетели, милосердия и терпимости, но не мог передать ему любви к отечеству...»^{42} Стало быть, возьмем на заметку второе: Александра учил иностранец, не то чтобы не любивший, а попросту не знавший России и к тому же проникнутый опасными политическими убеждениями.

Но и это еще не всё. «По-видимому, — отмечал Адам Чарторыйский, — Лагарп не вел с великим князем серьезных занятий... Великий князь вынес из его преподавания лишь самые поверхностные, неглубокие знания и не усвоил ничего... законченного. Лагарп внушил ему любовь к человечеству, к справедливости и даже к равенству и всеобщей свободе... Но они запечатлелись в уме Александра лишь в виде общих фраз»^{43}. Оказывается — и это третий упрек Лагарпу — главного героя нашей книги учил человек, в принципе подходящий на роль педагога, внушал ученику то, что нужно, но почему-то не довел дело до конца, не смог требовательно спросить с великого князя, в результате чего все эти необходимые знания остались в сознании воспитанника в виде весьма поверхностных суждений.

Даже в современной исторической литературе можно встретить утверждения, которые ставят в вину Лагарпу появление у великого князя недоверчивости, подозрительности, желания блистать. Это кажется нам уж совсем несправедливым, поскольку подобные выводы базируются на чересчур буквальном, «лобовом» понимании слов швейцарского наставника. Получается, если он говорил, что «безопаснее править людьми, подчиняющимися добровольно, а не по принуждению», то вынуждал

Александра всеми силами притворяться и очаровывать окружающих, чтобы заставить их добровольно попасть под обаяние власти. А если Лагарп предупреждал ученика о том, что государи в связи со своим статусом редко могут иметь надежных друзей, то тем самым порождал в его душе недоверчивость и подозрительность^[44]. Вряд ли подобные выводы можно принять на веру без серьезных оговорок. Скорее уж все эти негативные качества появились в характере Александра под воздействием двух других «полюсов притяжения» — Зимнего дворца и Гатчины.

Лагарп действительно не решил до конца поставленных перед ним императрицей и самим собой задач. Александр многое из преподававшегося ему усвоил поверхностно и в силу этого не мог применить полезные сведения на практике. Однако виноваты ли в этом только методы воспитателя, его политические пристрастия и иностранное происхождение? Лагарп рассчитывал, что получит возможность образовывать великого князя не спеша, что называется, «с чувством, с толком, с расстановкой». Наделе же всё получилось совершенно иначе. В 1793 году состоялось бракосочетание Александра и Елизаветы. Колокольный звон, продолжавшийся три дня, и общенациональные празднества, растянувшиеся на две недели, возвестили не только об этом событии, но, по сути, и об окончании регулярной учебы великого князя.

К тому же Екатерина II начала обременять подросткового внука придворными обязанностями, постоянно отрывала его на участие во всевозможных торжествах и мероприятиях — какая уж тут учеба! Лагарпу оставалось пользоваться только свободными от этих занятий часами, чтобы раскрывать перед учеником идеи, понятия и целые темы хотя бы в самом общем виде. Это, безусловно, способствовало появлению у Александра верхоглядства, желания скользить по поверхности. Тем не менее воспитатель сумел познакомить его с важнейшими идеями столетия, научил отличать необходимую для блага граждан жесткость от разрушающего связь трона и общества деспотизма, показал плюсы и минусы самодержавия и народоправства.

Александрю оставалось попытаться применить свои знания на практике, а для этого найти собственное место в меняющемся на глазах мире, выработать стратегию и тактику поведения в нем, наметить первые шаги к достижению намеченной цели. Для того чтобы достичь всего вышеперечисленного, необходимо было обсудить и проанализировать идеологию и практику будущего царствования с избранным кругом доверенных лиц, желательно сверстников будущего правителя, поскольку в разговорах именно в такой компании легче оттачиваются позиции молодого

человека и, что не менее важно, закладываются основы его собственной политической «команды».

Разговоры о том, что у наследника престола и монарха в силу их исключительного положения не может быть истинных и верных друзей, основываются на некоем умозрительном выводе, порожденном сугубо формальной логикой. А люди и тем более времена, являясь непредсказуемо разными и своевольными, такой логике поддаются с большим трудом или не поддаются вовсе. В сентиментальные и предромантические годы конца XVIII века понятие дружбы приобрело чуть ли не сакральное значение, стало едва ли не определяющим в жизни молодых людей, хотя порой за дружбу принималось простое приятельство. Это модное поветрие, а может быть, спасительное явление никак не могло обойти стороной главного героя нашей книги.

Более того, возникает вопрос: не являются ли друзья его юности очередным (если мы не сбились со счета, четвертым) полюсом, определявшим характер и жизненные позиции великого князя? С ними, сверстниками и единомышленниками, Александр был полностью на равных, в их отношения совершенно не вмешивалась внутрисемейная соподчиненность, не влияла жесткая иерархия, характерная для пары учитель — ученик. С прямою беспощадной юности они судили о недавнем прошлом, всегда негативно оценивали настоящее и мечтали о счастливом будущем. Пусть многим взрослым эти приговоры, оценки и мечтания казались горячечными и скоропалительными, но они многое могут поведать о своих создателях и носителях.

Их было четверо, выходцев из пусть и не самых старинных, но, безусловно, знатных фамилий, в той или иной степени проникшихся духом Просвещения и переполненных либеральными идеями. Первый, Виктор Павлович Кочубей, приходился племянником канцлеру Российской империи и министру иностранных дел Александру Андреевичу Безбородко. Он сблизился с Александром в 1792 году, а потому может считаться его самым старинным приятелем. В 16 лет Кочубей стал атташе русской миссии в Швеции, а заодно получал образование в Стокгольмском университете. Затем он изучал политэкономию и право в Лондоне, а философию — в Париже. Здесь он даже опубликовал небольшую работу, посвященную правам человека и методам их защиты. В 1792 году, когда Кочубею исполнилось 24 года, он был назначен на важный пост чрезвычайного посланника в Константинополь и с успехом трудился на дипломатической ниве.

Самым молодым из друзей юности Александра Павловича оказался

граф Павел Александрович Строганов. Его отец был настолько богат, что не знал ни размеров своего состояния, ни даже точного числа принадлежавших ему крепостных. Младший Строганов получил прекрасное домашнее образование, для завершения которого в 1790 году отправился в Париж вместе со своим воспитателем республиканцем Шарлем Жильбером Роммом. В революционном Париже Строганов стал членом Якобинского клуба, надел фригийский колпак, отдал бывшие при нем деньги и драгоценности на дело революции и завел роман (как же русскому аристократу без этого?) с предводительницей парижских женщин Анной Жозефой Теруань де Мерикур. В 1791 году по требованию Екатерины II он был возвращен в Россию и отправлен на безвыездное жительство в одно из отцовских подмосковных имений. В 1796 году запрет на выезд из имения был снят, и Строганов, познакомившись с Александром, оказался в его ближайшем окружении.

Князь Адам Ежи Чарторыйский был выходцем из старинной польской фамилии, состоявшей в родстве с королевской семьей. Чарторыйские открыто заняли антирусские позиции во время восстания Тадеуша Костюшко (1794), а потому позже жили в Петербурге на положении то ли заложников, то ли просителей (они добивались снятия секвестра с их огромного имущества в Польше). Молодой князь провел некоторое время в Англии, изучая политический строй этого государства, побывал в Германии и Франции, водил знакомство с Гёте и Дэвидом Юмом. С 1796 году он входит в кружок друзей Александра и делается его постоянным собеседником. Он не скрывал от наследника, что его интерес к русским делам связан исключительно с будущим Польши: реформы, проведенные в империи, должны были, по его мнению, помочь полякам обрести независимость.

Наконец, четвертым и старшим по возрасту членом этого кружка являлся Николай Николаевич Новосильцев, приходившийся Строганову двоюродным братом. Во время войны со Швецией (1788–1790) он служил в армии, а затем занимал разные посты в Коллегии иностранных дел. Новосильцев слыл эпикурейцем и гурманом (особенно в отношении спиртных напитков), но при этом считался знатоком права, экономики, дипломатии. Нелишним будет упомянуть, что Николай Николаевич прекрасно владел пером и был мастером в составлении государственных бумаг.

В разговорах и письмах, посланных друзьям с верной оказией, Александр вполне откровенно высказывался о тех общих проблемах, которые занимали и тревожили его. Так, в одной из бесед с Чарторыйским

он признался, «что ненавидит деспотизм везде, в какой бы форме он ни проявлялся, что любит свободу, которая, по его мнению, равно должна принадлежать всем людям; что он чрезвычайно интересовался Французской революцией; что, не одобряя этих ужасных заблуждений, он всё же желает успеха республике и радуется ему»^[45].

Другую, не менее важную для себя проблему Александр поднял в письме Кочубею 1796 года:

«Двор — неподходящее для меня место. Я испытываю страдания всякий раз, когда обязан присутствовать на церемониях, и расстраиваюсь при виде той подлости, которую творят ежечасно, чтобы добиться отличий, за которые я не дал бы и гроша. Я чувствую себя несчастным, будучи вынужден пребывать в обществе людей, которых я не желал бы иметь и в качестве прислуги... Как может статься, чтобы один и тот же человек мог одновременно править и устранять несправедливость? Это совершенно невозможно не только для человека средних способностей, каковым я являюсь, но равно и для гения...

Мой план состоит в том, чтобы, отрекшись от этого трудного жребия... поселиться с женой на берегу Рейна, где я вел бы спокойную и простую жизнь... Я знаю, Вы будете меня осуждать, но я не могу поступить иначе, ибо чистая совесть — мое главное правило»^[46].

За строчками этого письма видится человек, явно негативно относящийся к самодержавной форме правления, достаточно скромный, честный, с брезгливостью воспринимающий придворные нравы и интриги. Можно сказать, что Александр, воспитанный, чтобы править, покамест страшится неограниченной власти и не желает иметь с ней ничего общего. Но это скоро пройдет, не может не пройти под давлением, прежде всего, внешних обстоятельств.

Семнадцатого ноября 1796 года Екатерина II умерла от апоплексического удара, и на престол вступил ее сын Павел Петрович, ставший императором Павлом I. Вскоре после его воцарения друзья Александра, заподозренные в либеральных настроениях, претивших новому монарху, оказались разосланы или сами разъехались из Петербурга. Новосильцев отправился в Англию, Кочубей уволился с поста вице-канцлера и предпринял длительное путешествие по странам Европы, Чарторыйского заставили покинуть Россию (он был назначен российским послом в Сардинии, в случае отказа от этого поста ему открыто пригрозили ссылкой в Сибирь). Поблизости от Александра остался лишь Строганов, но, как показали дальнейшие события, связи между друзьями ничуть не

ослабли.

Что в остатке, или Загадки воцарения

После восшествия на престол Павла I Александр был официально объявлен наследником престола, и у него началась совершенно иная жизнь. Каким же увидела Россия своего будущего владыку? «Нос у него, — вспоминала графиня София Шуазель-Гуфье, — был прямой и правильной формы, рот небольшой и очень приятный, склад лица округленный, так же, как и профиль, очень напоминавший профиль его красивой августейшей матери. Его плешивый лоб (плешивый — явное преувеличение, хотя Александр действительно рано начал лысеть из-за постоянного ношения париков. — Л. Л.), придававший всему лицу его открытое спокойное выражение, золотисто-светлые волосы, тщательно зачесанные, как на красивых головах... античных медалей. В тоне его и манерах проявлялось бесчисленное количество различных оттенков... В ранней молодости государь, к сожалению, испортил себе слух от сильного выстрела артиллерийского снаряда, с тех пор он всегда плохо слышал левым ухом и, чтобы расслышать, наклонялся направо»^{47}. Можно добавить, что Александр был близорук, а потому двойной лорнет постепенно становился неотъемлемой частью его облика.

Сделавшись наследником престола (цесаревичем), Александр немедленно стал объектом пристального внимания современников, которых интересовал не только и не столько внешний вид, сколько черты характера, нравственные качества и политические предпочтения будущего главы империи. Если с внешними данными великого князя всё уже давно было ясно (недаром в семье его называли «наш ангел» — он действительно напоминал одно из воздушных творений Рафаэля), то черты его личности, манера поведения ставили современников в тупик. «Характер Александра, — справедливо отмечал П. А. Вяземский, — был не из одного слоя образован: в нем оттенков было много. За порою обаяния могла последовать пора отрезвления, за порою доверчивости — пора не только охлаждения, но и мнительности... Царю трудно быть постоянно идеалистом»^{48}.

На склоне лет Вяземский посвятил давно умершему императору две строфы, пытаясь подвести итог собственным впечатлениям от характера монарха, а заодно надеясь найти отгадку его личности:

*Сфинкс, не разгаданный до гроба!
О нем и ныне спорят вновь.
В его любви сверкала злоба,
А в злобе слышалась любовь.
Дитя осьмнадцатого века,
Его страстей он жертвой был,
И презирал он человека,
А человечество любил ^{49}.*

Обратим особое внимание на две последние строки стихотворения — они нам еще пригодятся.

Другие современники событий, надеясь решить ту же задачу, что и князь-поэт, чаще всего останавливались на какой-то одной догадке, а то и вовсе отделялись красивыми, но не слишком содержательными фразами типа «Александр взял от деда и отца впечатлительность и противоречивость, от Екатерины — хитрость и приспособляемость, от матери — холодный эгоизм и рассудочность»; «Искренний как человек Александр был изворотлив, как грек, в области политики»; наконец, наиболее знаменитое «Александр тонок, как булавка, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская». Внимательный мемуарист Н. И. Греч попытался подвести итог многолетним спорам о нашем герое: «Александр был задачей для современников, едва ли он будет разгадан потомством. Природа одарила его добрым сердцем, светлым умом, но не дала ему самостоятельного характера, и слабость эта... превращалась в упрямство. Он был добр, но притом злопамятен; не казнил людей, а преследовал медленно... о нем говорили, что он употреблял кнут на вате». «Вообще, — повторяет Греч чуть ниже, — Александр был злопамятен и никогда в душе своей не прощал обид, хотя часто из видов благоразумия и политики скрывал и подавлял в себе это чувство»^{50}.

Перед искушением разгадать загадку «русского сфинкса» редко кому удавалось устоять. Вот и Греч, начав с признания ее неразрешимости, всё-таки попытался покопаться в душе нашего героя, однако ничего, кроме запоминающегося образа «кнут на вате», извлечь не смог. Не лучше обстояли дела и у других мемуаристов того времени. «Он (Александр. — Л. Л.), — восторженно и одновременно сокрушенно замечала бывшая фрейлина его жены Роксандра Скарлатовна Эдлинг, урожденная Стурдза, — одушевлен был благожелательством чистым и великодушным и видел

вокруг себя лишь притворство и пронырство; понятно, что сердце его затворилось для действительности и стало потихоньку питаться философскими химерами того века... Ему приходилось угождать то одной, то другой стороне и беспрестанно согласовывать несхожие вкусы, так что он с ранних лет научился скрывать свои чувства»^{51}. Оставим в стороне «затворенное сердце» Александра, а вот замечание о влиянии на него «философских химер века» очень интересно, и нам придется не раз к нему возвращаться.

Может быть, хотя бы упоминавшимся ранее приятелям великого князя удалось приблизиться к разгадке его личности или, на худой конец, нащупать какие-то опорные точки для решения этой задачи? Самым настойчивым и внимательным из них оказался А. Чарторыйский, а потому остановимся на нескольких его наблюдениях. «По своим воззрениям, — писал князь, — он являлся выучеником 1789 года, он всюду хотел видеть республики и считал эту форму правления единственной отвечающей желаниям и правам человечества (на языке того времени так обозначалось не только население Земли, но и такое понятие, как гуманизм. — Л. Л.)... Он утверждал, между прочим, что наследственность престола была несправедливым и бессмысленным установлением, что передача верховной власти должна зависеть не от случайностей рождения, а от голосования народа, который сумеет выбрать наиболее способного правителя»^{52}.

Трудно сказать, разделял ли князь убеждения своего царственного приятеля; во всяком случае, он сожалел, что тому не хватало огня, подъема, веры в самого себя, и признавал, что «его искренность, прямота, способность увлекаться прекрасными иллюзиями придавали ему обаятельность, перед которой невозможно было устоять»^{53}. Знаменитая «бабушка» российской мемуаристики Елизавета Петровна Янькова, будучи женщиной незатейливой, но наблюдательной, подметила еще одну немаловажную черту в характере Александра. Он показался ей человеком очень суеверным, обращавшим внимание на множество примет, а потому не слишком уверенным в себе. Так, проснувшись поутру, он сначала обувал именно левую ногу и непременно с нее вставал с постели. Притом обязательно подходил к окну и, как бы ни было холодно, с четверть часа стоял у открытого окна. На языке великого князя это называлось «брать воздушную ванну»^{54}. Впрочем, последнее могло свидетельствовать не столько о суеверности Александра, сколько о его приверженности к пунктуальности и здоровому образу жизни.

По воспоминаниям современников, великий князь действительно был

аккуратистом, никогда не появлялся на людях небрежно одетым, а его письменный стол всегда отличался идеальным порядком. Он до крайности любил симметрию, даже мебель в его апартаментах расставлялась по заранее продуманному им плану. Кроме того, Александр всю жизнь оставался очень мнительным человеком. Как-то его всерьез обеспокоила даже глупая сплетня, будто у него искусственные ляжки, сделанные из ваты для красоты и внушительности фигуры.

А что же историки? Обратимся к работам двух признанных мастеров исторического портрета, посвященных нашему герою. «Из воспитания своего, — писал В. О. Ключевский, — великий князь вынес скрытность, внушавшую недоверие к нему, склонность казаться, а не быть самим собой, скрытое презрение к людям, круг политических идей и чувств, которые должны были наделать ему чрезвычайно много хлопот»^[55]. А. А. Кизеветтер дополнял коллегу и учителя: «Александр вовсе не был мягок и податлив, его уступчивость чисто кажущаяся. Временами он уступал потому, что был равнодушен к поднимаемым вопросам, не казавшимся ему важными. Иногда (и сознательно) надевал маску уступчивости в тех случаях, когда хотел ввести окружающих в заблуждение. Иными словами, уступчивость царя, с одной стороны, была результатом юности его души и ума, с другой, точно рассчитанным орудием политики»^[56].

Итак, Александр оказался лукав, двуличен, злопамятен, упрям, скрытен, полон презрения к людям, ленив, суеверен, неправильно образован и дурно воспитан (в самом широком смысле этого слова). Ну и что же тут загадочного? Вы можете понять, чем этот, в общем-то, уважаемый потомством правитель отличался от наиболее отрицательных персонажей российской истории? Давайте пока — именно пока — условимся о двух вещах. Первое: речь вряд ли стоит вести о поиске исключительно негативных черт в характере Александра. Этого не следует делать хотя бы потому, что с той же легкостью мы можем набрать неменьшее количество отзывов мемуаристов и историков, свидетельствующих о его позитивных качествах. Второе: может быть, необходимо обратить внимание на «протеизм» великого князя (Протей у древних греков был богом-«хамелеоном», легко меняющим обличья и манеру поведения) и говорить именно о нем, а значит, о тех конкретных обстоятельствах, которые этот «протеизм» вызывали, поддерживали и в ходе которых он проявлялся с наибольшей ясностью.

Только при таком рассмотрении событий слабости и негативные черты характера нашего героя обретут подлинную плоть и кровь, а не будут иметь

вид анекдота или желания свести счеты с ним задним числом. Вот, скажем, бывший камер-паж Петр Михайлович Дараган пишет, что Александру Павловичу были свойственны «некоторая картинность» движений, «мерный твердый шаг», «картинное отставление правой ноги» и даже «держание шляпы так, что всегда между двумя раздвинутыми пальцами приходилась пуговица от галуна кокарды»^{57}. И чего стоит это замечательное наблюдение, если мы так и не узнаем из него, при каких обстоятельствах всё это было свойственно нашему герою, на каком этапе его жизни появилась такая привычка, как она воспринималась окружающими? И вообще было ли это свойственно одному Александру или он как наследник, а потом и император был просто заметнее своих не менее «картинно-театрализованных» подданных?

Современному читателю поведение образованного дворянина 1810-х годов, безусловно, кажется театральным, постоянно рассчитанным на публику. Однако подчеркнутое внимание к слову, жесту, поведению в целом, которое и придает ему в наших глазах характер постоянного пребывания в кулисах и игры на сцене, еще не означает неискренности. Оно, скорее, связывалось у дворянина того времени с восприятием себя как исторического деятеля в полном смысле этого слова. Именно осознание себя историческим лицом заставляло оценивать собственную жизнь как цепь сюжетов для будущих историков, литераторов, художников. То есть к оценке собственной жизни у образованного человека постоянно примешивалась оглядка на потомков — зрителей того спектакля, что «разыгрывают» на сцене Истории великие люди, и, конечно, судей. От этого поведение людей конца XVIII — начала XIX века, вдохновленное не только реально происходившим с ними, но и представлениями о том, как они будут выглядеть в глазах грядущих поколений, становилось малопредсказуемым.

И еще одно замечание, высказанное историком А. Н. Сахаровым: главное заключается всё-таки не в описании характера государственного или общественного деятеля любого ранга, а в том, чтобы получить ответы на вопросы: какие государственные цели преследовал он в те или иные периоды своей жизни, с помощью кого и посредством чего он пытался их осуществить, какие средства для этого использовал? Условившись о сказанном выше, вернемся к хронологической последовательности нашего повествования.

После воцарения Павла I декорации на российской, особенно столичной, сцене сменились мгновенно и, казалось, бесповоротно. «На нас всех, — вспоминал граф Евграф Федотович Комаровский, — напало какое-

то уныние. Иначе и быть не могло, ибо сии новые наши товарищи не только были без всякого воспитания, но многие из них самого развратного поведения; некоторые даже ходили по кабакам, так что гвардейские наши солдаты гнушались быть у них под командою»^{58}. Такие же впечатления от происходивших перемен сложились у Гаврилы Романовича Державина: «Тотчас во дворце приняло всё другой вид, загремели шпоры, ботфорты, и, будто по завоевании города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом».

Подобные негативные отклики с видимым удовольствием поддержал гвардеец и поэт Сергей Никифорович Марин, который, не скрывая сарказма, писал:

*Ахти-ахти-ахти попался я впросак!
Из хвата-егеря я сделался пруссак.
И, каску променяв на шляпу треугольну,
Веду теперь я жизнь и скучну, и невольну.
Наместо, чтоб идти иль в клуб, иль в маскарад,
Готов всегда бежать к дворцу на вахтпарад.*

Царствование Павла I — это, прежде всего, судорожное и непрерывное администрирование. С ноября 1796 года по март 1801-го было издано 2179 указов — всего в два раза меньше, чем при Екатерине II за 34 года ее правления. Причем важные распоряжения причудливо переплетались с малозначащими, а то и просто вызывавшими недоумение. Зачем-то было запрещено ношение фраков, круглых шляп, жабо, сапог с отворотами, танцевать вальс, носить прически «а-ля Титус»^[2]. В немилость попали бакенбарды и даже ноты иностранных музыкальных произведений. Последнее, честно говоря, совсем уж непонятно. Что в них могло быть страшного для режима или нравственности подданных? Князь И. М. Долгоруков отмечал, что напуганный разгулом «черни» в годы Французской революции Павел считал чудовищем и русский народ. «Отсюда, — пишет князь, — проистекала в нем ненависть к наукам, омерзение к просвещению и колеблемость во всех действиях самодержавия, словом, смесь его добрых склонностей и тиранств никто не поймет вовеки»^{59}.

Павел Петрович имел обыкновение вставать в три-четыре часа утра. Вскоре после этого должны были начинать работу все департаменты. По сигналу барабана солдаты приступали к учению, а чиновники, зевая,

бежали в присутственные места. Трудно сказать насчет всей России, но Петербург безоговорочно подчинялся режиму дня императора, причем регламенту оказалось подвластно буквально всё. В столице улицы выравнивались строго по линейке, и горе тому хозяину, который вздумал строить свой дом, отступив от «красной линии». Фасады домов и дворцов тоже имели узаконенные образцы; даже цвет, в который красили дома, был строго предписан «сверху». Говорили, что Павел заказал макет Петербурга, на котором не только улицы, площади, но и фасады домов и даже вид со двора были представлены с геометрической точностью. Теперь монарх имел возможность в подробностях «моделировать» не только внешний вид столицы, но и хозяйственный быт своих подданных.

Особенно тяжело пришлось представителям первого сословия, которое, по мнению императора, было совершенно «распущенно» Екатериной II. Павел отменил губернские дворянские собрания, облагал помещиков новыми налогами, ссылал офицеров и чиновников за малейшие проступки, вновь начал применять к дворянам, пусть и в индивидуальном порядке, телесные наказания. По подсчетам Н. Я. Эйдельмана, за четыре с половиной года правления «русского Гамлета» состоялся 721 гражданский процесс, из них 44 процента было возбуждено против дворян, значительная часть которых оказалась в тюрьме или была отправлена в ссылку^[60]. Атмосфера совершенно необъяснимых, а потому наводящих ужас репрессий сгущалась с каждым днем, смущая умы подданных. «Отец мой, — вспоминала София Шуазель-Гуфье, — в то время уже с год изгнанный в Казань, однажды обедал в многочисленном обществе у местного губернатора, когда во время трапезы внезапно доложили о прибытии фельдъегеря. Все гости побледнели: губернатор дрожащими руками раскрыл адресованный на его имя пакет, в котором, к общему успокоению, заключался орден для одного из стоявших в Казани генералов»^[61].

Новый император нагрузил Александра целым рядом обязанностей и поручений. Наследник сделался шефом гвардейского Семеновского полка, военным губернатором Петербурга, членом Сената, инспектором кавалерии и пехоты Санкт-Петербургской и Финляндской дивизии, главой Военной коллегии. Все эти должности требовали оперативности, жесткости, гатчинской хватки, которых у Александра не было и не могло быть. Великий князь Константин Павлович оказался более подготовлен к требованиям отца, и тот не раз ставил его в пример старшему брату. К тому же Константин участвовал в знаменитом Итальянском походе А. В. Суворова и даже заслужил похвалу фельдмаршала. Когда сын вернулся из

похода, Павел присвоил ему титул цесаревича, что, конечно, уязвило самолюбие старшего цесаревича.

С наследником же император чем дальше, тем больше обращался как с человеком не просто бездарным, но и коварно стремящимся занять его место на престоле. Он постоянно делал Александру обидные выговоры, осыпал упреками, а то и бранью. В дополнение к этому Павел запретил супруге старшего сына переписываться с родными, и Елизавета Алексеевна не раз признавалась графине Головиной, что у нее возникает чувство, будто она попала в сумасшедший дом. Тут-то наследнику и пригодилось его давнее гатчинское знакомство с Алексеем Андреевичем Аракчеевым. Именно он вместо наследника престола ежедневно занимался строевой подготовкой личного состава Семеновского полка и подвластных великому князю дивизий, составлял рапорты об общем состоянии столичного гарнизона и о прибытии в Петербург иностранных гостей.

Елизавета Алексеевна тем временем писала с оказией матери: «Иметь честь не видеть императора — это всегда кое-чего стоит... разговоры о нем и его общество противны мне еще больше, ибо всякий, кто бы он ни был, кто произносит в его присутствии что-либо, что имеет несчастье быть неприятным Его Величеству, может ожидать грубости в свой адрес»^{62}. Резко отзывалась жена Александра и о порядках, установившихся при дворе: «...нужно всегда склонять голову под ярмом; было бы преступлением дать вздохнуть один раз полной грудью. На этот раз всё исходит от императрицы, именно она хочет, чтобы мы все вечера проводили с детьми и их двором, наконец, чтобы и днем мы носили туалеты и драгоценности... чтобы был «дух двора» — это ее собственное выражение»^{63}.

Неудивительно, что в конце концов против Павла объединились не только противники его зигзагов во внешней политике, но и люди, желавшие ограничить власть императора аристократической конституцией, а также гвардейские круги, которые руководствовались неприязнью, а то и личной ненавистью к Павлу как гонителю служилого дворянства. Таким образом, Павел, десятилетиями ожидавший престола, совершенно утратил связь со своим поколением, а потому его политический вес становился всё менее значительным. Теоретик, отработавший концепции управления страной в тиши Гатчины, слишком спешил: не убеждал, а приказывал, не давая себе труда подбирать действительно нужных и верных людей. Все недовольные, естественно, мечтали и надеялись объединиться вокруг наследника престола, и эти надежды имели под собой некоторое основание. Историки

подозревают, что Павел, разбирая вместе с Безбородко бумаги матери, изъял и уничтожил ее завещание в пользу Александра. При этом исследователи опираются на глухие слухи об упомянутом событии, распространившиеся среди людей, недовольных императором в первые месяцы XIX века. Именно такие слухи придавали недовольству столичного дворянства внешне законный характер.

Между тем тучи продолжали сгущаться, причем не только над наследником престола, но и над всеми членами царствующей фамилии. Павел говорил, к примеру, своему фавориту графу Кутайсову, что императрицу он намерен отправить в Холмогоры, Александра заточить в Шлиссельбургскую крепость, а Константина — в Петропавловскую. Впрочем, монарх разрабатывал и другие, не менее радикальные варианты расправы с родными, предполагая, что Марию Федоровну достаточно скрыть за стенами Смольного монастыря, Александра посадить в Петропавловку, а Константина отправить в Сибирь командовать каким-нибудь заштатным полком. В начале 1801 года Павел от слов перешел к делу — вызвал в Петербург тринадцатилетнего племянника своей супруги Евгения Вюртембергского, желая женить его на своей дочери Екатерине и объявить наследником престола вместо Александра.

При этом Павел никак не хотел замечать, что тучи нависли не только над его домашними, но и над ним самим. Ранее упоминалось, что с идеей заговора против отца Александр впервые был ознакомлен бабкой Екатериной II, поэтому сам по себе такой вариант развития событий не оказался для него совсем уж неожиданным. Тогда он уклонился от участия в перевороте, задуманном бабкой, теперь же речь пошла о судьбе и благополучии матери и брата наследника, да и его самого. В заговор Александр втягивался постепенно, исподволь, «обрабатывали» великого князя люди умные и многоопытные. Всё началось, пожалуй, с бесед Александра с графом Никитой Петровичем Паниным о будущем политическом устройстве государства. Закончились эти разговоры тем, что граф взял с наследника обещание ввести в России конституцию и сразу же после вступления на престол ограничить самодержавную власть.

В эти месяцы изменилось и отношение самого Александра к вопросу о занятии им трона. Во время одной из бесед он признался: «Я действительно чувствую, что надо в первое время взять на себя бремя власти, но только для того, чтобы произвести преобразования»^[64]. Вообще напряжение в стенах дворца и вокруг него, видимо, стояло в воздухе. Ощущая его, Елизавета Алексеевна писала матери: «Я, как и многие, ручаюсь головой, что часть войск имеет что-то на уме или что они, по

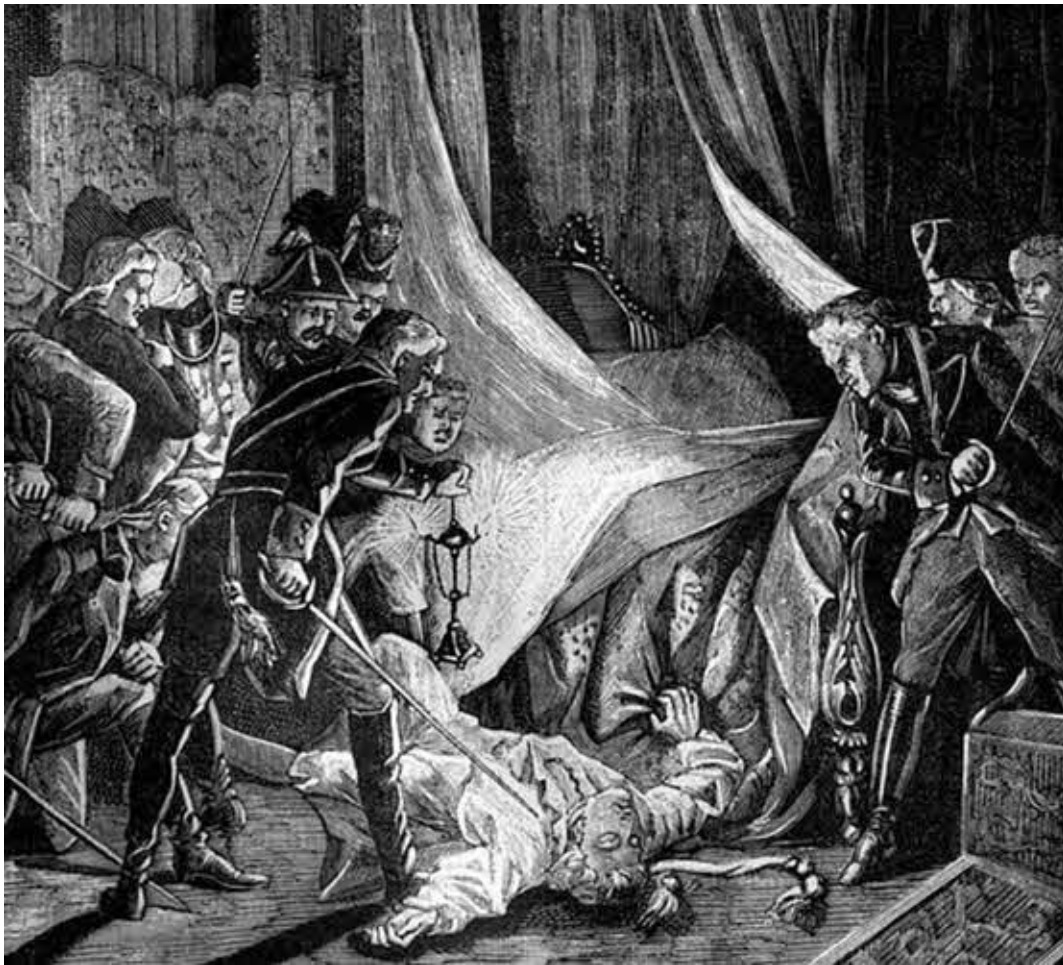
крайней мере, надеялись получить возможность, собравшись, что-либо устроить. О! Если бы кто-нибудь стоял во главе их! О, мама, в самом деле он (Павел I. — Л. Л.) тиран»^{65}. Вожаки у заговорщиков вскоре нашлись, а во главе их встал генерал-губернатор Петербурга Петр Алексеевич Пален.

Мы не будем описывать детали организации заговора и самого дворцового переворота 11 марта 1801 года, тем более что это блестяще сделано в книге Н. Я. Эйдельмана «Грань веков». Нас интересуют только степень участия в этих событиях и реакция на них как Александра Павловича, так и его ближайшего окружения. «Сперва, — вспоминал Пален, — Александр был, видимо, возмущен моим замыслом; он сказал мне, что вполне сознает опасности, которым подвергается империя, а также опасности, угрожающие ему лично, но он готов всё выстрадать и решился ничего не предпринимать против отца. Я не унывал, однако, и так часто повторял мои настояния, так старался дать ему почувствовать настоятельную необходимость переворота, возраставшую с каждым новым безумством, так льстил ему или пугал его насчет его собственной будущности, предоставляя ему на выбор — или престол, или же темницу и даже смерть, что мне наконец удалось пошатнуть его сыновью привязанность и даже убедить его установить вместе с Паниным и со мною средства достижения развязки»^{66}.

Существуют свидетельства — правда, не до конца надежные, — что последним доводом, склонившим Александра к вступлению в заговор против отца, стал некий обманный ход Палена. Генерал-губернатор столицы будто бы сказал великому князю, что видел на столе императора приказ, в котором говорилось о расправе с Марией Федоровной, Александром и Константином. После этого у нашего героя не оставалось выбора: ему приходилось жертвовать сыновними чувствами к отцу ради спасения других родственников. Если Пален действительно сообщил наследнику о существовании подобного документа, то это был далеко не последний обман с его стороны.

«Я обязан, — писал Пален, — в интересах правды сказать, что великий князь Александр не соглашался ни на что, не потребовав от меня предварительного клятвенного обещания, что не станут покушаться на жизнь его отца; я дал ему слово... я обнадежил его намерения, хотя был убежден, что они не исполнятся. Я прекрасно знал, что надо завершить революцию или уже совсем не затевать ее... что если жизнь Павла не будет прекращена, то двери его темницы скоро откроются, произойдет страшнейшая реакция и кровь невинных, как и кровь виновных, вскоре

обагрит и столицу, и губернии»^[67].



Убийство Павла I.

Гравюра Ж. Утвайта по рисунку Ф. Филиппото

Взяв с Палена клятву, что Павла только заставят отречься от престола, но сохранят ему жизнь, Александр не бросился в заговор очертя голову. Как тонко заметил один из заговорщиков, великий князь *знал* о заговоре, но в то же время *не хотел о нем знать*. Как бы то ни было, именно по настоянию наследника выступление заговорщиков перенесли с 10 на 11 марта. Дело в том, что 10-го в карауле Михайловского замка стоял 2-й батальон Преображенского полка, преданный Павлу, 11-го же в караул заступал 3-й

батальон семеновцев, верный Александру, а его должен был сменить эскадрон Конногвардейского полка, которым командовал великий князь Константин Павлович. Желая подстраховаться со всех сторон, Александр лично попросил стать в караул вне очереди абсолютно преданного ему поручика Константина Марковича Полторацкого.

Покои Александра и Константина в саркофагоподобном Михайловском замке, окруженном рвом с подъемными мостами, находились как раз над покоями Павла I, и царские сыновья, полностью одетые, вместе с Елизаветой Алексеевной за полночь с тревогой ожидали исхода дела. После убийства императора в дворцовых покоях разыгралось несколько тяжелых и безобразных сцен. По получении трагического известия Александр впал в абсолютное отчаяние, напоминавшее истерику. Полторацкий вспоминал, как вошедший в покои наследника Пален «очень тихо сказал несколько слов... Александр воскликнул в ответ: «Как вы осмелились? Я этого никогда не требовал и не разрешал», — и без чувств упал на пол. Нового императора привели в сознание при помощи нашатырного спирта, и Пален, опустившись на колени, сказал ему: «Ваше величество, теперь вам не время... 42 миллиона людей зависят от вашей твердости»^{168}. По словам других мемуаристов, всё было гораздо проще и грубее. В ответ на истерику Александра Пален, отнюдь не коленопреклоненный, скомандовал: «Хватит ребячиться, ступайте царствовать, немедленно отправляйтесь показать себя гвардейцам»; честно говоря, это больше похоже на правду.

Пока сын предавался отчаянию, его мать попыталась начать собственную игру. Узнав о смерти мужа, Мария Федоровна кричала гренадерам: «Итак, нет больше императора, он пал жертвой изменников. Теперь — я ваша императрица, я одна ваша законная государыня, защищайте меня, идите за мной!»^{169} В течение пяти часов она пыталась овладеть положением и не признавала старшего сына монархом. Когда ей сообщили, что император Александр в Зимнем дворце и хочет ее видеть, она закричала: «Я не знаю никакого императора Александра! Я желаю видеть моего императора!»^{170} Трудно сказать, что руководило Марией Федоровной — властолюбие или жажда мщения; но не будем забывать и о том, что еще в 1780-х годах Павел Петрович предписывал супруге, как она должна вести себя в случае смерти Екатерины II в отсутствие его самого в Петербурге: объявить себя правительницей до возвращения мужа. Поэтому после переворота 11 марта она действовала всего лишь согласно полученным предписаниям. Так или иначе, но заговорщикам пришлось

запереть Марию Федоровну с ее приближенной баронессой Ливен в соседней с покоями Павла комнате и не выпускать оттуда, пока всё не успокоилось. Александр, узнав о поведении матери, смог лишь вымолвить: «Только этого еще и не хватало!»

Действительно, чего-чего, а забот и тяжелейших размышлений на него обрушилось огромное количество. Он прекрасно понимал, что теперь, что бы он ни говорил и как бы ни оправдывался, его имя навсегда запачкано грехом отцеубийства. А тут еще очень не вовремя подоспело письмо Лагарпа, который довольно бестактно советовал бывшему воспитаннику: «Убийство императора посреди его дворца, в лоне его семьи нельзя оставить безнаказанным, не поправ законы божеские и человеческие, не скомпрометировав достоинство императора»^[71]. Александр бросался от самооправданий к самообвинениям, приходил в отчаяние. Он пенял вернувшемуся в Россию Чарторыйскому: «Если бы вы здесь были, ничего этого не случилось бы: имея вас подле себя, я не был бы увлечен таким образом», — и впадал в беспросветную тоску. Тот же Чарторыйский свидетельствует: «Нередко запирался он в отдельном покое и там, предаваясь скорби, испускал глухие стоны, сопровождавшиеся потоками слез»^[72].

Отчаяние нового монарха было тем сильнее, что события 11 марта поразили его не только своей трагичностью — они показали ему, насколько хрупка власть самодержца, насколько он уязвим перед лицом недовольства своего ближайшего окружения. Это не могло не то что не насторожить, а попросту не испугать нашего героя, и этот испуг он пронесет через всю жизнь. При сравнении мартовских событий 1801 года в России с действиями революционеров в 1789–1793 годах во Франции приходишь к достаточно грустным выводам. Да, в обеих странах были убиты законные монархи, но в Париже Людовик XVI был казнен, осужденный представителями народа, и за этим последовали принятие конституции и установление республики; в Петербурге же Павел I был убит кучкой заговорщиков (среди которых оказался и его старший сын) ради восстановления привилегий дворянства и укрепления традиционного режима. Впрочем, в России, несмотря на внешнюю схожесть событий, всегда происходило несколько иное, чем в Европе^[3].

А в это время на улицах Петербурга царило совершенно другое настроение. Очевидец писал: «Это одно из тех воспоминаний, которых время никогда истребить не может: немая, всеобщая радость, освещаемая ярким солнцем... ни слова о покойном, чтобы и минутно не омрачить

сердечного веселия... ни слова о прошедшем, всё о настоящем и будущем... Первое употребление, которое сделали молодые люди из данной им воли, была перемена костюма: не прошло и двух дней после известия о кончине Павла, круглые шляпы явились на улицах; дня через четыре стали показываться фраки, панталоны, жилеты... все, желавшие вступить в службу, без затруднения в нее принимались»^{73}.

Посмотрим, что же изменилось в империи кроме костюмов, общего настроения публики и условий трудоустройства дворян.

Глава вторая

ЗАГАДКИ УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРИЕЙ

*Послушать: век наш — век свободы,
Но в сущность глубже загляни —
Свободных мыслей коноводы
Восточным деспотам сродни.*

Петр Вяземский

Екатерининские «орлы», павловские «гатчинцы»

и собственная «команда»

В марте 1801 года Россия получила молодого 24-летнего монарха, выглядевшего внешне весьма привлекательно, если не сказать больше. «Александр, — дает его портрет историк Д. Кинг, — высокого роста, остроумный, с изысканными манерами. Над высоким лбом курчавились светло-коричневые волосы, а лицо было окаймлено бакенбардами. На его щеках часто появлялся румянец, что нередко принимали за стыдливость или застенчивость, и совершенно напрасно»^{74}.

Его преклонение перед социальными завоеваниями Французской революции по-прежнему давало о себе знать, приводя порой к анекдотическим ситуациям. Вскоре после вступления Александра I на престол Наполеон направил в Петербург своего адъютанта генерала Дюрока с поздравлениями и пожеланиями успехов российскому коллеге. Александр и Константин Павловичи, желая поприветствовать генерала, как им казалось, в привычной для него форме, обратились к посланцу Наполеона, как к представителю революционной Франции: «Гражданин Дюрок». Генералу подобное обращение совершенно не понравилось, и он обиженно заявил: «Решительно, в России отстали от времени!»^{75}

Вступление Александра на престол сопровождалось потоком од, гимнов, песен и т. п. Напечатано их было более полусотни, а количество оставшихся в рукописях не поддается учету (по словам князя И. М. Долгорукова, «все рифмачи выпустили своих пегасов из заключения, чтобы на них скакать куда глаза глядят»). Но дело было не в славословии, а в ожидании россиянами нового курса Зимнего дворца. Первые мероприятия молодого императора оказались вполне предсказуемыми и не могли вызвать негативной реакции подданных. Был снят запрет на вывоз товаров из России и ввоз их в нее, объявлена амнистия беглецам, укрывающимся за границей (за исключением тех, кто совершил серьезные уголовные преступления). Тогда же разрешили свободный въезд в страну и выезд из нее (вечный и верный признак российской «оттепели!»), позволили открывать частные типографии, в которых можно было свободно печатать книги и журналы, сняли запреты на употребление иностранных слов и европейской одежды.

В апреле было велено уничтожить виселицы, установленные для устрашения подданных в городах возле публичных мест, а также восстановлена в полном объеме Жалованная грамота дворянству. После закрытия Тайной экспедиции Сената возвратились на службу около двенадцати тысяч прощтрафившихся и сосланных при Павле чиновников и офицеров. Говорят, что при упразднении Тайной экспедиции один из заключенных, выйдя из камеры Петропавловской крепости, сделал на ее дверях надпись: «Свободно от постоя». Узнав об этом, Александр сказал: «Желательно, чтобы навсегда». В мае 1801 года от телесных наказаний наконец-то освободили священнослужителей, сняли шлагбаумы на въезде в те города и села, где не стояли военные гарнизоны.

Первые указы Александра Павловича импонировали и «старикам», и «молодым друзьям» царя. Первые увидели в них желание царя очистить Россию от сумрачного налета павловского царствования и полностью восстановить сияние екатерининского правления. Вторые надеялись, что указы монарха предвещают появление в империи новой политической элиты, то есть возвышение представителей именно их поколения. Екатерининские «орлы» ратовали за ускорение административных реформ, дабы перераспределить власть монарха в пользу зрелых и опытных политиков. «Молодежь» заводила разговоры о конституции, но, с ее точки зрения, новые порядки должны были победить несколько позже, чтобы в данный момент случайно не возвысить «стариков». А о чем думал и на что рассчитывал сам император?

Он потихоньку приходил в себя после трагических событий 11 марта и

наслаждался атмосферой, вызванной его воцарением. «В манифесте своем о вступлении на престол, — вспоминал очевидец событий Фаддей Венедиктович Булгарин, — юный император объявил, что намерен управлять Россией в духе в Бозе почившей бабки своей, императрицы Екатерины II, и эти слова, как электрический удар, потрясли все сердца!.. Знакомые обнимались и целовались, как в первый день Святого праздника... Во всех семействах провозглашались тосты за его вождевленное здравие; церкви наполнены были молещиками»^{76}. Напрасные ожидания — отношение Александра к правлению бабки было достаточно критичным.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ
МЫ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ
Императоръ и Самодержецъ
ВСЕРОССИЙСКІЙ,
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ подданнымъ НАШИМЪ.

Судьбамъ Вышняго угодно было прекратить жизнь любезнаго Родителя НАШЕГО Государя Императора ПАВЛА ПЕТРОВИЧА, скончавшагося скоропостижно апоплексическимъ ударомъ въ ночь съ 11 го на 12 е число сего мѣсяца. Мы воспріемля наследственно Императорскій Всероссийскій Престолъ, воспріемлемъ купно и обязанность управлять Богомъ НАМЪ врученный народъ по законамъ и по сердцу въ Воцѣ почивающей Августѣйшей Бабки НАШЕЙ Государыни Императрицы ЕКАТЕРИНЫ Великой, коея память НАМЪ и всему Отечеству вѣчно пребудетъ любезна, да по Ея премудрымъ намѣреніямъ шествуа достигнемъ вознести Россію на верьхъ Славы и доставити ненарушимое блаженство всѣмъ вѣрнымъ подданнымъ НАШИМЪ, которыхъ чрезъ се призываемъ запечатлѣти вѣрность ихъ къ НАМЪ присягою предъ лицомъ всевидящаго Бога, прося Его да подастъ НАМЪ силы къ снесенію бремени нынѣ на НАСЪ лежащаго. Данъ въ Санктшербургѣ Марта 12 го дня 1801 года.

На подлинномъ подписа-
но собственною ЕГО ИМ-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА рукою тако:

АЛЕКСАНДРЪ



Печатаемъ въ Санктше-
шербургѣ при Сенатѣ
Марта 12 дня 1801 года.

Манифест о вступлении на престол Александра I. 12 марта 1801 г.

Он всячески старался намекнуть подданным, что его царствование будет многим отличаться от предыдущих. Думая о «несчастной России»,

доставшейся ему в наследство, он хотел предотвратить новые бедствия (значит, предвидел их?). Для этого надо было подчинить «частные интересы общей пользе» (кажется, слышится намерение Петра Великого — вот как интересно перекликаются через многие десятилетия идеологические установки Романовых), а дальше — поставить во главу угла закон, который обязательно должен исполняться.

Поэтому уже в проекте манифеста о вступлении на престол, в котором по традиции говорилось: «По сродному нам к верноподданным нашим милосердию», — император зачеркнул эти слова, сказав: «Пусть народ это думает и говорит, а не нам этим хвастаться». В продолжение этой истории уже 5 июня 1801 года Александр издал указ, поручавший Сенату представить монарху доклад о сущности своих прав и обязанностей. Этот указ был, по словам литературоведа А. Н. Пыпина, «первый шаг... к тому, чтобы испытать общественное мнение и приготовить умы к предстоящим переменам»^{77}. В другой раз сенатор Дмитрий Прокофьевич Трощинский поднес на подпись монарху рескрипт с обычным началом: «Указ нашему Сенату». «Как, — сказал с удивлением государь, — нашему Сенату? Сенат есть священное хранилище законов; он учрежден, чтобы нас просвещать. Сенат не наш, он — Сенат империи». С этого времени в заголовке начали писать по-новому: «Указ Правительствующему Сенату»^{78}.

Собственно, о желании монарха провозгласить наступление новых времен свидетельствовала и медаль, выбитая по случаю его коронации: на аверсе было изображение государя, а на реверсе — обломок колонны с надписью «Закон», увенчанной императорской короной и окаймленной словами: «Залог блаженства всех и каждого». При воцарении Александра I награды и раздачи были весьма скромны, а крестьян не было роздано вовсе. Монарх пресек возможное недовольство своего окружения, заявив: «Большая часть крестьян в России — рабы, считаю лишним распространяться об унижении человечества и о несчастье подобного состояния. Я дал обет не увеличивать число их и потому взял за правило не раздавать крестьян в собственность»^{79}. Попутно заметим, что Александра Павловича по самым разным поводам напрасно подозревали в излишней прижимистости. Наоборот, путешествуя, он не скупясь раздавал множество драгоценных вещей — табакерки, кольца, фермуары, наименьшая стоимость которых составляла, по свидетельству очевидца, 300 или 400 франков.

Скромность, умеренность, желание радовать подданных гуманностью власти сквозили не только в словах монарха, но и во многих его действиях.

Скажем, Николай Михайлович Карамзин во время прогулки с Александром Павловичем в Царском Селе попросил его о звании камер-юнкера для одного из знакомых. «Государь... начал писать на песке тростью и написал: «Быть по сему»... «Но это, государь, написано на песке!» — заметил Карамзин с улыбкою. «Что я написал на песке, то напишу и на бумаге!»^[80]. Действительно, просьба историографа была удовлетворена. Или другой, еще более яркий случай: «Возле моста на Фонтанке стоял катер генерала Малютин (командира гвардейского Измайловского полка. — Л. Л.). Он сидел в нем с дамами и несколькими мужчинами, а на мосту находились полковые музыканты и песенники... Шампанское лилось рекой, а громогласное ура\ раздавалось под открытым небом. В это самое время государь император подъехал на дрожках... и спросил у полицейского офицера: «Что это значит?» «Генерал Малютин гулять изволит!» — ответил полицейский офицер, и государь император приказал поворотить лошадь и удалился»^[81].

Александр заботился также и о том, чтобы варварские традиции и установления, доставшиеся ему в наследство, если не исчезли, то, во всяком случае, не бросались бы подданным в глаза. Однажды он попытался обратиться в свою веру командира гвардейского корпуса Федора Петровича Уварова. «Выезжая сегодня в город, — сказал ему царь, — я обогнал лейб-гренадерский батальон, шедший на ученье, и с ужасом увидел, что за батальоном везут воз палок (шпицрутенов. — Л. Л.). На это Уваров отвечал, что без этого, к прискорбию, обойтись нельзя. Тогда государь сказал ему: «Вы хоть бы приказали прикрыть эти палки рогожею»^[82]. Солдатам от этого, конечно, легче бы не стало, но грубость власти была бы не так заметна.

Однако даже в первые месяцы царствования Александра не обошлось без недовольных. Оно и понятно: власть в России всегда находится под микроскопом, а то и под прицелом разных политических сил. Некая госпожа де Ноасевиль ехидно сообщала в письме знакомым о своем впечатлении от церемонии венчания нового монарха на царство в Московском Кремле: «Я видела, как этот молодой государь шел в соборе, предшествуемый убийцами своего деда, окруженный убийцами своего отца и сопровождаемый, по всей вероятности, своими собственными убийцами»^[83]. Приверженец аристократической конституции граф Семен Романович Воронцов говорил о начале правления Александра с долей юмора, правда, не скрывавшей его тревоги: «...наши соотечественники воображают, что они добились свободы только потому, что им дозволено

носить круглые шляпы и сапоги с отворотами и... так легкомысленно забывают об ужасном деспотизме, под которым должны трепетать»^{184}.

Со сторонниками ограничения абсолютной власти императора странным образом сходились в оценках приверженцы сохранения традиционного порядка. «Суровость Павла, — писал Дмитрий Павлович Рунич, — сменилась необузданной распущенностью. Либерализм обратился в моду... Увы, что за свобода! Александр должен был лавировать. Его мать была недовольна им, дворянство тоже, сторонники его отца ненавидели его... Запрещение носить круглые шляпы и панталоны возбудило ненависть к Павлу и среди знати, и среди незнати... Разрешение наряжаться шутами, обмен рукопожатиями, болтовня без удержу заставили полюбить Александра...»^{185} Нельзя сказать, чтобы автор этой филиппики мог похвастаться глубиной анализа да и просто логикой мышления. В отношении подданных к отцу и сыну вряд ли всё сводится к разрешенной или запрещенной одежде или возможности говорить то, что хочется. Из его слов также невозможно понять, какие, собственно, чувства возбудил в душах россиян Александр: недовольство, ненависть или любовь? Поэтому оставим на время в стороне отзывы радующихся или критикующих подданных и проследим за действиями самого нашего героя.

Новый император, прежде всего, удалил от трона заговорщиков, убивших Павла, правда, сделал это как-то выборочно. Если вспомнить о его разговорах с Паниным и Паленом, то данный шаг представляется совершенно логичным, да и с нравственной точки зрения выглядит абсолютно оправданным, ведь они его попросту обманули. При этом серьезно никто из заговорщиков не пострадал. Панин жил в своих имениях Дугино и Марфино и только при Николае I получил разрешение наезжать в Москву. Пален провел остаток жизни в родовом имении в Лифляндии, периодически навещая Ригу. Офицеры Владимир Яшвиль, Яков Скарятин, Иван Татаринов, Евсей Горданов, братья-князя Платон, Николай и Валериан Зубовы были удалены в свои деревни. Генерал Петр Талызин внезапно умер, то ли отравившись, то ли будучи отравленным. Леонтий Беннигсен, Владимир Мансуров, Александр Аргамаков продолжали служить и достигли немалых чинов. Кто-то из них, как Беннигсен, был нужен Александру в качестве опытного военачальника, кто-то не являлся непосредственным участником убийства Павла, а потому подлежал прощению.

Новизна порядков, отличие нового царствования от предыдущих подчеркивались даже чисто внешними, но весьма важными для

самодержавного режима жестами. Александр решительно уклонился от следования принятому придворному этикету, от подчеркнутой роскоши двора Екатерины II или претенциозной церемониальности павловского царствования. Этот его шаг шокировал одних и немало удивил других. Мария Федоровна с негодованием писала старшему сыну: «Вы... с самого восшествия на престол уничтожили весь блеск, который в глазах простонародья возвышал бы Вас, Вы же во многом снизили до других. Мало-помалу, дорогой Александр, это отразилось на общественном мнении, подданные привыкли смотреть на Государя, как на обыкновенного смертного, и его положение от этого теряет... Ваши появления в обществе утратили свой блеск»^{86}.

Даже людям, расположенным к императору, не всегда нравилось его слишком, с их точки зрения, демократичное поведение. Тогдашний посланник Сардинского королевства в России Жозеф де Местр пишет: «Государь... ведет себя как частное лицо; дипломатический корпус теперь не приглашают на торжественные обеды, ибо Императору пришлось бы тогда сидеть на возвышении и держаться как монарху, а ему милее обычный стул. После обеда он приносит извинения камердинеру за доставленное беспокойство»^{87}. Дипломата поддерживала горячая поклонница Александра С. Шуазель-Гуфье: «...если мне позволят сказать правду, я нашла, что он (монарх. — Л. Л.) недостаточно величественен, слишком любезен, слишком заставляет забывать о своем высоком положении... Я не могла привыкнуть к преувеличенным любезностям, выражениям уважения и почтения, с которыми он обращался к женщинам...»^{88} Может быть, с женщинами дело и обстояло таким образом, однако свою власть новый монарх всячески старался охранять и отстаивать.

В первые дни царствования скромный чиновник Василий Назарович Каразин написал Александру письмо, в котором изложил программу предстоящих реформ: установление прочных законов, созыв представителей народа для выслушивания мнений сословий, уменьшение налогов, урегулирование крестьянских повинностей в пользу помещиков. Монарх идеи письма одобрил, но оставил его без последствий. Составленная группой лиц по просьбе Александра I к моменту его вступления на престол «Всемиловнейшая грамота, Российскому народу жалуемая», задумывавшаяся как манифест о воцарении монарха, официальным актом так и не стала, открыв собой длинный ряд бумаг нового царствования, попавших, что называется, под сукно.

Между тем документ этот очень интересный и достаточно показательный. «Грамота» распространяла на всех подданных право собственности, свободы мысли, слова, вероисповедания и рода деятельности, обещала реформу суда и законодательства, защищала принцип презумпции невиновности и даже признавала суверенитет народа. По сути, «Грамота» была той идеологической платформой, на которой пытались объединиться главные политические течения начала XIX века: дворянско-олигархическое, правительственное и дворянско-революционное. Недаром ее авторами и редакторами являлись А. Р. Воронцов, А. Н. Радищев, М. М. Сперанский, Н. Н. Новосильцев, В. П. Кочубей и А. Чарторыйский.

Пятнадцатого сентября 1801 года состоялась коронация Александра I, в ходе которой народ вдоволь кормили и поили, простили 25 копеек ежегодной подушной подати — и всё. Никакой «Грамоты Российскому народу» опубликовано не было, как не случилось и никакой реформы Сената. Дело не в том, что нашего героя не устроили основные положения «Грамоты» — с ними-то он был в принципе согласен. Однако он ясно чувствовал, что к задумкам его самого и его друзей уже пристроились те, кто хотел продлить свое влияние на трон и на новых законных основаниях подчинить себе монарха. Не менее важно и то, что Александр надеялся вписать свое имя на скрижали Истории, стать героем, подобным прославленным главам государств Древней Греции и Рима.

Его мечты полностью совпадали с теми советами, которые давал коронованному воспитаннику Лагарп: «Во имя Вашего народа сохраните в неприкосновенности возложенную на Вас власть, которой Вы желаете воспользоваться только для его величайшего блага. Не дайте сбить себя с пути из-за того отвращения, которое внушает Вам неограниченная власть»^[89]. Он советовал взяться за просвещение народа, разработать уголовное и гражданское уложения и уделить особое внимание третьему сословию, чтобы противопоставить его дворянству. Крепостное право, по его мнению, сразу уничтожить нельзя, но крестьян можно освободить путем проведения ряда осторожных мероприятий. Император во многом был согласен с учителем, тем более что чувствовал в себе силы сделаться настоящим политическим лидером нации, то есть проявить умение разглядеть потребности государства и общества, а также своевременно и адекватно на них реагировать.

Много лет спустя В. П. Кочубей подал Николаю I записку, в которой попытался объяснить тогдашнее настроение его старшего брата. «Он понял, — писал министр, — что для России, сделавшей в течение столетия

огромные успехи в цивилизации и занявшей место в ряду европейских держав, существенно необходимо согласовать ее учреждения с таким положением дел. Он сознавал, что учреждения, которые были хороши лет 100—50 тому назад, не могут годиться для государства, которое, всё более и более развиваясь, испытывает потребности, неведомые в прежние времена... Этими истинами, несомненными для людей беспристрастных... был всецело проникнут и государь»^{90}. Вряд ли Кочубею удалось в чем-то убедить Николая Павловича, но кое-что он венценосцу, безусловно, прояснил.

Постепенно у Александра I выработался тот дневной режим, которого он старался придерживаться на протяжении всей жизни. Воспользуемся подсказкой неизвестного очевидца событий: «Он встает каждое утро в 6 часов, работает до 10, присутствует на разводе и катается перед обедом с час верхом или в кабриолете. Пообедав наскоро с ее величеством, причем к столу приглашаются некоторые высшие сановники, он удаляется в свой кабинет и работает там до 8 часов. Затем посвящает час или два обществу и ложится в 11 часов»^{91}.

Мы уже упоминали о том, что Александр в своей деятельности руководствовался двумя основными идеями. Во-первых, стремясь отделить преступления Французской революции от ее справедливых принципов, он пытался доказать своим подданным, что законно-свободные учреждения легче всего могут возникнуть в России именно «по манию царя». Такое развитие событий позволит ей обойтись без революционной ломки и смуты и утвердит «истинное благосостояние народов», населяющих империю. Проще говоря, монарх надеялся отыскать особый «русский путь» буржуазной эволюции страны, реализовав несомненные достижения революции и избежав ее издержек. Во-вторых, государем владела идея искупления страшного греха отцеубийства за счет будущего процветания отечества под его скипетром. Эта тема постоянно возникала в беседах Александра с окружающими в первые годы после переворота 11 марта.

Рождался удивительный парадокс власти: монарх был готов ограничить абсолютизм, но на практике не мог воспользоваться ничем другим, кроме собственной неограниченной власти, поэтому любые попытки посягнуть на нее встречали с его стороны решительный отпор. Не будем забывать и еще об одном обстоятельстве, заставлявшем его охранять незыблемость трона: он постоянно опасался покушений на свою жизнь со стороны консервативного или, наоборот, радикального крыла дворянского сословия. Угроза справа могла привести к гибели царя, требования же,

раздававшиеся слева, грозили разрушить систему самодержавия как таковую и похоронить все его начинания.

Кем наш герой ощущал себя на троне — точнее, каким он хотел предстать в глазах своих современников? Это далеко не праздный вопрос, поскольку каждый самодержец «лепит» свой образ согласно тем представлениям, которые он выработал, будучи наследником престола, или возникшим у него в первые годы царствования. Поговорив в основном об отрицательных качествах Александра, скажем несколько слов и о позитивных составляющих его характера. Он обладал большой работоспособностью, твердой, хотя и не выставляемой напоказ, волей и упорством, доходившим, как у всех Романовых, до упрямства. Монарх был мужественным, красивым человеком и имел острый природный ум. Александр обладал тем нечасто встречающимся, но весьма полезным для правителя качеством, которое французы называют шармом, и имел дар, входя в мелочи, быстро схватывать суть дела. И еще одно наблюдение. Окружающий мир его явно не удовлетворял, и он был готов — как ему казалось, смиренно — взяться за его преобразование.

Молодой император отнюдь не стремился выглядеть в глазах подданных божеством, он вообще не слишком верил в божественное происхождение монаршей власти. А вот образ ангела, спустившегося на землю ради установления образцового государственного устройства, казался ему вполне приемлемым, а вернее, достаточным для решения поставленных задач. Ведь ангел — не божество, но в то же время он поднят над смертными; ангел близок к людям и в то же время отдален от них. Ему свойственны те черты, которые казались императору особенно привлекательными: кротость, смирение, красота и неодолимое желание делать всё и всех вокруг себя лучше, справедливее.

Эти соображения, безусловно, интересны и по-своему важны, но представляются слишком отвлеченными и оторванными от реальной политики. А как обстояло дело с этим далеко не ангельским, но завораживающим и затягивающим человека занятием? «Из писем его, — размышлял П. А. Вяземский, — мы видим, что еще во дни ранней молодости он не сочувствовал деятелям и высокопоставленным лицам, которые значились тогда при дворе и у кормила государства. Он уже толковал о прииске новых людей; ему нужна была другая атмосфера, нужен был воздух более чистый и легкий. Ему было душно в той среде, в которой был он заперт; он жаждал перевоспитать себя, пересоздаться... в сотовариществе»^[92]. Здесь мы вплотную подходим к разговору о той собственной политической «команде», которую Александр попытался

собрать вокруг трона в противовес уже сложившимся ранее группировкам.

Его, естественно, не мог удовлетворить Непременный совет, состоявший при императоре и включавший в себя екатерининских вельмож и павловских «выдвиженцев». Члены Совета, с точки зрения монарха, находились под гнетом привычного мышления и традиций управления империей, несовместимых с «духом времени» (хотя столь категоричное мнение Александра в отношении членов Совета далеко не всегда было справедливым). Созданный им своеобразный противовес Совету — Негласный комитет, или кружок «молодых друзей» — начал заседать летом 1801 года и просуществовал (с 1803 года с большими перерывами в заседаниях) до 1805-го.

Состоял он из уже знакомых нам персонажей: Новосильцев, Строганов, Кочубей, Чарторыйский — и был призван обсудить как важнейшие проблемы российской жизни, так и наметить, хотя бы в общих чертах, пути их решения. Негласный комитет разделил стоящие перед ним задачи на три группы, пытаясь: 1) изучить действительное состояние государства; 2) произвести административные реформы; 3) увенчать эти преобразования конституцией, которая и гарантировала бы сохранность сделанных изменений. Скажем сразу, что обсуждать пришлось не только эти проблемы, но и саму возможность их решения в тогдашней России, а также предупредим читателя, что дальше самого общего обсуждения некоторых статей конституции дело не пошло.

Однако это совсем не означает, что собрания «молодых друзей» превратились в пустую говорильню. В противном случае консервативное дворянство вряд ли стало бы беспокоиться. А оно не просто беспокоилось — ожидало от Негласного комитета самых что ни на есть радикальных перемен. «Самый недалновидный человек, — писал Д. П. Рунич, — понимал, что вскоре наступят новые порядки, которые перевернут вверх дном весь существующий строй. Об этом уже говорили открыто, не зная еще, в чем состоит угрожающая опасность. Богатые помещики, имеющие крепостных, теряли голову при мысли, что конституция уничтожит крепостное право и что дворянство должно будет уступить шаг вперед плебеям. Недовольство высшего сословия было всеобщим»^{93}.

С ним был согласен бывший генерал-прокурор, ныне член Непременного совета Александр Андреевич Беклешов: «Они, пожалуй, и умные люди, но лунатики. Посмотреть на них, так не удивишься: один ходит по самому краю высокой крыши, другой по оконечности крутого берега над бездной; но назови любого по имени, он очнется, упадет и

расшибется в прах»^[94]. Это мнение разделял и внимательный, умный наблюдатель Ж. де Местр: «Император — философ и, ежели позволено так выразиться, философ утрированный... Всё, что окружает его, всё, что пользуется его доверием, всё это исповедует новые идеи»^[95]. Что же именно обсуждалось в Негласном комитете?

Начиналось всё очень таинственно и напоминало, согласно духу эпохи, нехитрую театральную постановку. Два-три раза в неделю после обеда в общей комнате император удалялся в свои покои, его гости разъезжались по домам, а четыре человека крадучись проходили во внутренние помещения дворца, где их ожидал Александр. На этих импровизированных встречах-заседаниях обсуждались два важнейших, с точки зрения «молодых друзей», вызова времени: отмена крепостного права и введение в стране представительного правления. Члены Негласного комитета понимали, что обе эти проблемы неразрывно связаны между собой. Дарование конституции без отмены крепостного права превращало бы ее введение в пошлый фарс. О каких гражданских и политических правах подданных можно было бы говорить, если бы бесправными оставались миллионы крепостных?

С другой стороны, лишая дворянство его главной привилегии (владение крепостными), Зимний дворец был обязан возместить ему эту потерю, поделившись частью собственной власти. Такой шаг не только стал бы компенсацией за понесенный первым сословием ущерб, но и придал бы больше устойчивости всему государственному кораблю, освободив все сословия, позволив избежать ужасов революции, гражданской междоусобицы, одновременно защитив права человека и гражданина. Правда, начались заседания Негласного комитета не с вопроса о конституции, а с обсуждения проекта реформы Сената, поданного монарху графом Петром Васильевичем Завадовским. Было решено отложить этот вопрос до того момента, когда сенатор и тайный советник Г. Р. Державин сделает замечания (свое мнение, помимо старого сановника, представили граф А. Р. Воронцов и князь П. А. Зубов). Кроме того, генерал-прокурор князь Алексей Борисович Куракин и сенатор Сергей Кузьмич Вязьмитинов успели высказаться против реорганизации Сената до издания нового свода законов. На том, собственно, всё и закончилось.



Александр

Что касается крепостного права, то на заседаниях комитета речь почти не шла о его экономической нецелесообразности и преимуществах свободного труда. Создается впечатление, что императору и «молодым друзьям» было просто стыдно за то, что подобное варварское установление всё еще существует в отечестве. Может быть, поэтому ликвидация крепостного права виделась им поначалу делом довольно простым.

Александр записывал в дневнике, что начать следует с опубликования указа, «который позволил бы самым разным людям покупать земли, даже с деревнями, но с тем условием, что крестьяне этих деревень обязуются платить оброк с тех земель, на которых они проживают, и что в случае неудовлетворенности они свободны уйти туда, где им покажется лучше... По прошествии некоторого времени... будет возможно опубликовать указ, обязывающий не покупать земли и деревни кроме как на вышеупомянутых условиях... Что касается власти, то она должна подавать пример, переводя государственных крестьян на положение свободных...»^{96}.

Вынашивая такие прекрасные мечты, государь о многом просто не подозревал. Скажем, он вообще не знал, что в России существует закон, позволяющий продавать крестьян, как скот, разлучая мужей, жен и детей. Позже он запретил публиковать объявления о продаже крестьян (хотя сама продажа по-прежнему отнюдь не воспрещалась), торговать ими на ярмарках, ссылать в Сибирь за незначительные проступки. Александр прекратил массовые пожалования казенных крестьян в частные руки, но только Центральной России. На окраинах империи практика пожалований продолжалась и рассматривалась как водворение общего «благоустройства» государства. Здесь крепло не только местное помещичье землевладение, но и крупное землевладение дворянства пришлое, в массе своей вельможного. Это вело к ликвидации местных привилегий и установлению единого для всего государства шаблона социально-экономических отношений.



Александр И. Ф. Крюгер. 1837 г.

Реакция дворянства на первые не то чтобы действия, а просто слухи о готовящихся переменах показала, что задуманные верховной властью

реформы встретят на своем пути серьезные и опасные препятствия. Тем не менее в 1803 году издается указ о «вольных хлебопашцах», позволявший помещикам отпускать крепостных на волю с пашней без обязательного одобрения Сената. Шаг в сторону радикальных действий был сделан совсем небольшой, однако и он вызвал панику у большинства душевладельцев. Члены Негласного комитета — реальные и трезвые политики — вряд ли надеялись на то, что после появления указа помещики бросятся наперегонки освобождать свою «крещеную собственность». Действительно, в течение первой половины XIX века на волю по этому указу было отпущено около 47 тысяч крестьян — менее одного процента от общего числа крепостных. Для членов комитета распоряжение о «вольных хлебопашцах» оказалось чем-то вроде разведки боем. После его обнародования стало окончательно понятно, что быстро, с наскока проблему крепостничества решить не удастся, работа в этом направлении требовалась долгая и серьезная. Причем работа не только административно-техническая, но и политико-психологическая.

Несколько ранее был опубликован еще один указ, позволявший покупать незаселенные земли представителям разных сословий, тем самым нарушавший многовековую монополию дворянства на владение земельными угодьями. Он прошел почти незамеченным — и напрасно, поскольку способствовал осторожному развертыванию новых, капиталистических порядков в аграрном секторе российской экономики. Затем пришел черед и административных преобразований, так как намечавшиеся реформы требовали изменений в структуре государственных органов. С 1802 года коллегии — органы исполнительной власти, введенные еще Петром I, — начинают заменяться министерствами. Коллегиальный принцип принятия решений, традиционная неповоротливость прежних учреждений явно пришли в противоречие с желанием самодержца укрепить вертикаль власти, добиться ее большей централизации и управляемости.

Каждое министерство включало в себя канцелярию, товарища (заместителя) министра и несколько департаментов под началом директоров. Александр I учредил и Комитет министров, который мог собирать министров и их товарищей для решения конкретных вопросов, требующих усилий разных ведомств. Однако император созывал его нерегулярно, оставляя за собой право решать споры между министрами в рабочем порядке, а с 1807 года вообще перестал бывать на его заседаниях. Тем не менее, когда в 1805 году государь надолго покинул страну, именно Комитет министров решал все внутривластные вопросы. Но

министры, к сожалению, не стали единой командой, поскольку в их числе к тому времени оказались и «молодые друзья» императора, и вельможи екатерининского царствования.

Подобная ситуация сложилась потому, что Зимний дворец, задумывая столь важные преобразования, хотел иметь возможность быстро маневрировать, менять политический курс по собственному желанию. Да и надежда сохранить таким образом равновесие в «верхах», не дав преимуществ ни консерваторам, ни либералам, играла свою роль. Вообще же введение министерств оказалось мерой поспешной и недостаточно зрелой, поскольку совершенно не была связана с существовавшими правами Сената, Непременного совета и немногих коллегий, оставшихся после введения новых учреждений.

Обсуждались в Негласном комитете и возможные способы проведения реформ. В истории человечества известны два возможных пути перемен: преобразование политического режима и социально-экономических отношений в стране «сверху», когда власть опирается исключительно на мощь развитого, во всех смыслах, государственного аппарата — или реформы, проводимые при поддержке значительной части общества (с опорой на общественное мнение). В первые годы XIX века общественное мнение России находилось в зачаточном состоянии, теории и требования представителей различных общественно-политических лагерей только начинали выкристаллизовываться. Лагарп, по просьбе бывшего воспитанника навестивший Петербург, довольно точно указал «молодым друзьям» на это обстоятельство.

«Таким образом, — писал он, — реформа необходима, но ей будут противиться те, кто извлекал или надеется извлечь пользу из злоупотреблений, и в частности: 1) все сановники, 2) подавляющая масса дворянства, за редкими исключениями, 3) большая часть купечества... 4) почти все взрослые мужчины, чьи привычки, толкающие их в противоположном направлении, трудно поменять... За реформу: 1) Александр I, видящий в самодержавной власти, которой он наделен по закону своей страны, лишь верное средство дать русскому народу гражданские свободы, 2) ряд более просвещенных, по сравнению с остальными, дворян... 3) часть купечества, не вполне, однако, сознающая, чего она хочет, 4) некоторые маловлиятельные литераторы, 5) возможно, также младшие офицеры и простые солдаты»¹⁹⁷.

Лагарп советовал в этих условиях не торопиться, избегать в государственных документах даже слов «свобода», «воля», «освобождение», не говорить открыто о целях правительственной

политики. Иными словами, речь шла о временном (правда, никто не знал, на какой период) отстранении общества от участия в решении судеб страны. Швейцарец настаивал на необходимости развивать систему образования, затем предлагал провести судебную реформу и кодификацию законов. Всё это было логично, поскольку исподволь готовило страну к грядущим переменам, но требовало времени и сильной власти. Как справедливо отмечал Н. Я. Эйдельман, преобразованиям «сверху» в России как бы предшествовало очередное «просвещение сверху». Оно проявлялось во многих отношениях: в запрете объявлять о продаже крестьян и указе о «вольных хлебопашцах», в появлении нового, весьма либерального цензурного устава (1804) и работе частных типографий, в открытии университетов и вообще в выстраивании системы высшего и среднего образования^[98]. Именно таким образом шла подготовка умов и душ к «эмансипации» россиян, в том числе крепостных крестьян.

С 1803 года в России действительно начинает выстраиваться четкая система среднего и высшего образования. Европейская часть империи делится на шесть учебных округов, каждый во главе с университетом и попечителем. В губернских городах открываются гимназии, готовившие учащихся к поступлению в университеты, а на уровне уезда — училища, чьим выпускникам открывалась дорога в гимназии. Низшей ступенью образования делаются приходские училища, обучение в которых продолжалось год (в уездном училище — два года, в гимназии — четыре). Плюс к этому открылись лицеи, приравненные то ли к средним, то ли к высшим учебным заведениям особого типа: в 1804 году — Демидовский в Ярославле, в 1811-м — Царскосельский, в 1817-м — Ришельевский в Одессе, в 1820 году — Нежинская гимназия (станет лицеем в 1832-м). В результате в 1801 году в России насчитывалось 427 средних учебных заведений с 21 533 учащимися, а в 1825-м — около шестисот гимназий и училищ с 69 626 учениками. Правительство явно пыталось взять курс на подготовку просвещенной, образованной молодежи.

Полного согласия по основополагающим вопросам не было даже в самом Негласном комитете. Строганова, стоявшего на позициях активного конституционализма, поддерживал более осторожный в этом вопросе Чарторыйский; Новосильцев же и Кочубей ратовали, скорее, за законное (то есть правильное, более современное) функционирование существующего государственного аппарата. А сам Александр I... Монарх колебался, и эти колебания воспринимались окружающими совершенно по-разному. Тот же Строганов готовил своеобразный заговор внутри Негласного комитета, опасаясь неустойчивости мнений императора. «Его должно поработить, —

говорил он, — чтобы иметь необходимое на него влияние... Эта мягкость его характера существенно обязывает не терять времени, чтобы другие не предупредили нас. По милости своего характера он, естественно, должен предпочитать тех, которые легко схватывают его мысль, способны выразить ее и способны ясно и даже, если возможно, изящно изложить его мысль»^{99}.

Опасения Строганова были, в общем-то, небеспочвенными. Во время перерывов в работе Негласного комитета Александр часто прогуливался с некоторыми далеко не либерально настроенными сановниками (генерал-адъютантами Федором Петровичем Уваровым и Евграфом Федоровичем Комаровским, помощником начальника Военно-походной Его Императорского Величества канцелярии Петром Михайловичем Волконским, адъютантом Петром Петровичем Долгоруковым) и выслушивал их мнения по самым разным вопросам, которые заметно отличались от мнения «молодых друзей». Надо сказать, что для решения многих текущих практических задач Александр постоянно общался с вельможами екатерининского времени Г. Р. Державиным, А. Р. Воронцовым, Д. П. Трощинским, А. А. Беклешовым. Их присутствие у трона должно было символизировать связь с XVIII столетием и правлением царственной бабки Екатерины II. Император ее вельмож не любил, но терпел и тщательно отсортировывал. Он вообще, по выражению историка искусств В. С. Турчина, частенько «держал людей как бы про запас, и те, исполнив что-то ему нужное, появлялись и исчезали, кто в ссылке, кто в историческом небытии (порой о некоторых и вспоминается с трудом, откуда взялись и куда делись)»^{100}.

С вельможами прежних времен была солидарна и императрица-мать, которая со своей стороны всячески старалась «излечить» сына от реформаторской горячки. Внешне тот пропускал слова советчиков мимо ушей, но кто знает, что творилось в его душе и откладывалось в голове?

Он действительно хотел перемен и был способен их провести. «Александр, — писала баронесса Жермена де Сталь, — человек выдающегося ума и редкой образованности, и я не думаю, чтобы он мог найти в государстве министра, более, нежели он сам, способного разбираться в делах и направлять их к цели». Далее она делает еще одно очень важное замечание: «Он сказал мне о своем желании (которое за ним признаёт весь мир) улучшить положение крестьян, еще закованных цепями рабства. «Государь, — сказала я, — в вашем характере есть залог конституции для вашего государства, и ваша совесть тому порукой». Он

ответил: «Если бы это было так, то я был бы ничем иным, как счастливою случайностью»^{101}. Здесь вновь слышатся отголоски размышлений Александра о несправедливости наследственной передачи власти, о том, что народ сам сумеет выбрать достойного главу государства. Правда, слышится и потаенная гордость оттого, что он сумел стать такой «случайностью».

Чем дольше продолжались заседания Негласного комитета, тем более явственно монарх ощущал возрастающее давление консервативно настроенных сановников. Независимо от того, был ли государь «залогом конституции» или «счастливой случайностью», но он не без оснований опасался разделить судьбу своего отца. Александр не знал, как взяться за реформы, не имея достаточного количества сторонников, и одновременно боялся, что преобразования слишком рано ударят по его самодержавным прерогативам (являвшимся, по его мнению, единственной гарантией проведения реформ). Можно, конечно, говорить, как это делалось ранее и делается порой до сих пор, о слабых характеристиках императора, его двуличности, склонности к показному либерализму (Ю. Н. Тынянов замечательно назвал систему взглядов Александра в эти годы «мечтательным вольнодумством»). Однако правильнее, на наш взгляд, сослаться на понимание им масштабности задач, стоявших перед страной, и той ответственности, которая ложилась на его плечи.

Сказанное выше объясняет, почему император наотрез отказался обсуждать проекты отмены крепостного права, представленные ему князем Платоном Александровичем Зубовым, графом Николаем Семеновичем Мордвиновым или графом Сергеем Петровичем Румянцевым. Последний, к примеру, обратился к государю в 1802 году с предложением разрешить помещикам освобождать крестьян не поодиночке, а целыми общинами с выделением им достаточного количества пахотной земли (так родилась идея, использованная в 1861 году при отмене крепостного права). Александр ограничился частным указом, разрешавшим Румянцеву отпустить своих крестьян на волю на указанных условиях (из этого, в конце концов, и получился указ о «вольных хлебопашцах»). Дело здесь не только в неуверенности и опасениях нашего героя. Не менее важно и то, что он хотел быть *единственным* инициатором реформ, *единственным* носителем прогресса и источником благоденствия подданных.

Самодержавие было необходимо Александру Павловичу не только для повышения самооценки, но и, повторимся, для проведения реформ. В те годы он никак не мог бы согласиться с мнением современного историка И. Ф. Худушиной: «Самодержавная власть сама по себе не способна к

самоограничению. Ей по определению как бы задан ход в единственном направлении — концентрация власти»^{102}. Ему эта власть казалась универсальным ключом к достижению прогресса всегда и во всём. Александр, скорее, присоединился бы к мнению Дениса Ивановича Фонвизина, в свое время заметившего, что Россия — это «государство, где люди составляют собственность людей, где каждый, следовательно, может быть завсегда или тиран, или жертва»^{103}. Монарх поддержал бы эту негативную оценку, потому что именно с подобным положением дел и собирался бороться с помощью отмены крепостного права и дарования стране конституции.

Правда, пока с конституцией дела обстояли ничуть не лучше, чем с ликвидацией личной зависимости крестьян от помещиков. Российское дворянство, как и другие слои населения, не ощущало потребности в политических правах. Освобожденное указом «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» (1762) от обязательной государственной службы, первое сословие тем самым отстранялось и от возможного вмешательства в политические дела. У него были весомые основания для того, чтобы довольствоваться своей судьбой: права личной безопасности и частной собственности худо-бедно снимали обиду от политического бесправия. Более того, для российского дворянства термин «конституция» всё еще представлялся жупелом, поскольку в нем виделось лишь средство для захвата власти несколькими олигархическими семействами, а значит, и причина возникновения смуты и гражданской розни. Историческая память о Смутном времени начала XVII века потускнеет и почти пропадет гораздо позже — в первые десятилетия XX столетия, когда придет время еще более страшных смут.

Сам Александр I до конца жизни считал себя республиканцем, однако хорошо видел те опасности, которые несло с собой республиканское устройство. «Я люблю конституционные учреждения, — говорил он, — и думаю, что всякий порядочный человек должен любить их. Но можно ли вводить их безразлично у всех народов? Не все народы готовы в равной степени к их принятию»^{104}. Кто-то из историков заявил, что Александр не сумел выработать четких представлений о том, чего он хочет, что он был, конечно, человеком скрытным, но в данном случае ему попросту нечего было скрывать. На наш взгляд, скрывать монарху приходилось очень многое, гораздо больше того, что оставалось на поверхности, что видели или о чем догадывались окружающие.

Однако вернемся к Негласному комитету и попробуем подвести итоги

его деятельности. Противников у этого неофициального учреждения было великое множество, и они постарались, чтобы память о нем осталась у потомков весьма негативной. «Государь, — писала Р. С. Эдлинг, — окруженный молодыми людьми без дарований и опытности, казалось, желал нетерпеливо получить известность в Европе... Напускной вид размышления и даровитости (интересно, как можно изображать даровитость? — Л. Л.), внушительное молчание, пышные изречения модного свободомыслия ослепляют толпу... Государь любил их, потому что они находились при нем в его молодости и по некоторому согласию с ними в правилах и понятиях, которые он усвоил себе своею молодою и страстную душою»^{105}.

Мнение светской дамы поддерживал умный и опытный сановник С. В. Воронцов: «Произвести столь существенные изменения в наиболее обширной во всём мире империи, среди народа свыше 30 миллионов, неподготовленного, невежественного и развращенного, и сделать это в то время, когда на всем континенте происходит брожение умов, это значит, не скажу рисковать, но наверное привести в волнение страну, вызвать падение трона и разрушение империи»^{106}. Ж. де Местр, будучи в целом солидарен с критиками деятельности Негласного комитета, иногда переходил к обличению страны в целом и ее народа в частности. «Добродетели монарха, — отмечал он, — высоки, но они не в ладу с природой нации... Французы, итальянцы, испанцы и др. превозносили бы такого государя до небес. Здесь же он явно не на месте»^{107}.

Даже князь Адам Чарторыйский, во многих случаях отдававший должное Александру, писал о его участии в Негласном комитете неодобрительно: «Часто случалось, что он мысленно строил планы, которые ему нравились, но которые нельзя было осуществить в действительности. На этом идеальном фундаменте он возводил целые фантастические замки, заботливо улучшая их в своем воображении»^{108}.

Скажем прямо, Негласному комитету не удалось решить ни одной из поставленных перед ним задач. Однако это ни в коем случае не означает, что его занятия были абсолютно бесполезными и бесплодными. Вопросы, поднимаемые «молодыми друзьями», весьма точно соответствовали вызовам, брошенным России временем. Эхо дискуссий, происходивших в дальних покоях государя, широко разносилось в столичном обществе, побуждая его обсуждать эти вызовы, предлагать свои решения проблем, другими словами, пробуждая и возбуждая то общественное мнение, которого так не хватало в этот момент Зимнему дворцу.

Прислушаемся к оценке, данной деятельности Негласного комитета его членом, одним из активных российских государственных деятелей начала XIX века А. Чарторыйским: «Хотя эти собрания долгое время представляли собой простое препровождение времени в беседах, не имевших практических результатов, всё же надо сказать правду, что не было ни одного внутреннего улучшения, ни одной полезной реформы, намеченной или проведенной в России в царствование Александра, которые не зародились бы на этих именно тайных совещаниях»^{109}. Однако время тайных бесед и разговоров заканчивалось, да и самому императору не терпелось взяться за реальные дела, приближавшие его к намеченным целям.

Время Сперанского

Названия данного и нескольких следующих разделов нашей книги требуют некоторого пояснения, так как они явно выпадают из строгой хронологии царствования Александра I. Пребывание нашего героя на российском престоле и ранее было принято делить на определенные периоды — то на шесть, как в известной биографии, написанной Н. К. Шильдером, то на четыре, как в популярном курсе истории России XIX века А. А. Корнилова, то на два или три, как в советской и постсоветской историографии. В подобном делении царствования Александра Павловича на первый план выходили те приоритеты, которые верховная власть ставила во главу своих задач и конкретных действий. Мы, считая данный подход в целом справедливым, хотим лишь несколько оживить, так сказать, «очеловечить» его, добавив к политике некоторую долю психологии. Именно этой цели служат имена М. М. Сперанского, А. А. Аракчеева, вынесенные в заголовки разделов, или А. Н. Голицына, тоже важной и значимой для нашего повествования фигуры.

Появление на политической сцене России и тем более стремительное возвышение Михаила Михайловича Сперанского вызвало весьма противоречивые отклики современников. К примеру, внимательный, хотя и ехидный мемуарист Ф. Ф. Вигель писал о новом фаворите императора: «Он не любил дворянства, коего презрение испытал он... он не любил религию, коей правила стесняли его действия и противились обширным его замыслам; он не любил монархического правления, которое заслоняло ему путь на самую высоту; он не любил отечества, ибо почитал его недовольно

просвещенным и его недостойным»^{110}.

П. А. Вяземский с аристократическим снисхождением отзывался о том же персонаже гораздо спокойнее и более взвешенно: «Сперанский одарен был великими и разнообразными способностями... редактор он был искусный, даже изящный... Докладчиком должен он был быть превосходным, приятным и вкрадчивым. Ум его не был глубокий, сосредотачивающий, а легко податливый на все стороны, ум, охотно и свободно объемлющий всё, что представлялось глазам его». «Некоторые из деятелей того времени, — продолжал Вяземский, — может быть, ближе знали Россию, нежели Сперанский, так сказать, одним шагом выступивший из семинарии в среду государственных дел. Но молодой государь изверился в достоинствах старых деятелей... Он хотел вино новое влить в мехи новые, а вино преобразований, новых учреждений, новых порядков бродило в то время и просилось наружу»^{111}.

Для того чтобы оценить фигуру Сперанского и понять характер его взаимоотношений с императором, необходимо хотя бы коротко остановиться на основных вехах жизненного пути этого незаурядного человека. Сын сельского священника, проживавшего в окрестностях Владимира-на-Клязьме, он не мог рассчитывать ни на что другое, кроме как пойти по стопам отца. Тот, когда Михаилу исполнилось десять лет, отвез его во Владимир, где определил в епархиальную семинарию. Здесь мальчик получил фамилию Сперанский^[4], поскольку ни его далекие предки, ни отец фамилии вообще не имели, да и зачем она священнику? Став лучшим учеником семинарии, Михаил увлекся светскими науками, прежде всего математикой. На выходе из семинарии он обратился к знакомому отца А. А. Самборскому (как мы помним, одному из наставников Александра Павловича в бытность его великим князем) с просьбой составить ему протекцию для поступления в Московский университет.

Вместо этого Самборский помог Михаилу оказаться в Петербургской духовной семинарии, ставшей чуть позже академией. Блестяще закончив ее, Сперанский был оставлен здесь же для преподавания естественно-научных дисциплин, математики и философии. Покинуть же духовное поприще и сделаться блистательным чиновником ему помог случай. В 1795 году князю Алексею Борисовичу Куракину потребовался домашний секретарь для ведения его обширной переписки. Митрополит Гавриил посоветовал попробовать в этом качестве Сперанского, который вскоре стал еще и обучать русскому языку сына князя и его племянника Сергея Уварова (будущего министра народного просвещения и автора знаменитой триады

«православие, самодержавие, народность»).

Оценив таланты молодого священника, Куракин предложил ему перейти на статскую службу, и в январе 1797 года тот был зачислен в генерал-прокурорскую канцелярию с чином титулярного советника. Это назначение и стало отправной точкой в восхождении Михаила Михайловича к вершинам власти. В апреле того же года он уже коллежский асессор (VIII класс по Табели о рангах, дававший право на потомственное дворянство). На этом его карьерный рост не остановился: в январе 1798 года он стал надворным советником, в сентябре — коллежским советником, а в декабре 1799-го получает чин статского советника (V класс по Табели о рангах); теперь к нему обращаются «Ваше высокородие». Кроме того, он назначен на должность правителя канцелярии Комиссии о снабжении Петербурга необходимыми припасами, а председателем ее являлся наследник престола великий князь Александр Павлович. Менее чем за три года домашний секретарь одного из вельмож превратился в заметного сановника Российской империи (его чин соответствовал чину армейского бригадира или посту вице-губернатора).

В 1800 году Сперанский становится крупным помещиком, владельцем двух тысяч десятин земли в Саратовской губернии, но апогей его карьеры впереди. После вступления на престол Александра I Михаил Михайлович сделался статс-секретарем нового императора, а в июне 1801 года получил чин действительного тайного советника (IV класс по Табели о рангах, соответствующий армейскому генерал-майорскому). После учреждения министерств В. П. Кочубею, ставшему министром внутренних дел, была поручена разработка последующих административных реформ. Кочубей то ли выпросил у Куракина, то ли переманил к себе на службу Сперанского, сделав его директором канцелярии своего министерства. Здесь Михаил Михайлович занялся подготовкой проектов реформ, заказчиком которых, естественно, выступал сам государь.

В 1806 году регулярно прихварывавший Кочубей стал посылать на доклады к царю Сперанского. После докладов между монархом и талантливым чиновником зачастую происходил долгий разговор на самые разные, в том числе и политические темы. В 1808 году Михаил Михайлович стал «присутствующим» в Комиссии по составлению законов. Отныне его жизнь оказалась связанной с составлением разнообразных законопроектов. Над чем же именно работал Сперанский? До поры это оставалось тайной для всех, кроме Александра I. Между тем карьерный рост Сперанского продолжался. В конце 1808 года он был назначен товарищем министра юстиции, а в 1809-м получил чин тайного советника

(III класс по Табели о рангах) и именовался уже «Ваше превосходительство».

С просьбами об устройстве тех или иных дел к нему начинают обращаться даже члены царской фамилии. Так, сестра императора Екатерина Павловна просила Сперанского о награждении чином своего библиотекаря и, к изумлению сановного Петербурга, получила отказ. Негодование сановников не знало границ. «Как смеет этот дрянной попович, — восклицал граф Федор Васильевич Ростопчин, — отказывать сестре своего государя, когда должен почитать за милость, что она обратилась к его посредничеству?!»^[112] Посмел-таки, да, собственно, это и неудивительно. Сперанский ощущал не только в себе, но и за собой мощную силу. Его влияние на государственные дела в 1809–1811 годах сделалось почти безграничным. Оно чувствовалось в делах администрации и суда, в финансах и законотворчестве, в сфере просвещения и культуры, в придворной жизни и внешней политике России.

О ненависти Михаила Михайловича к дворянству, в которой, как мы помним, его упрекал Вигель, вряд ли стоит говорить всерьез. Сперанский понимал, что первое сословие является в России самым образованным, организованным и материально независимым слоем населения. Но к отдельным группам дворянства он действительно был явно неравнодушен. Прежде всего, это относилось к царедворцам, в оценке которых он был совершенно солидарен с «архивным юношей» Владимиром Алексеевичем Мухановым, несколько позже написавшим о царедворцах: «Им нужна монополия тех благ, которые исходят от двора. Царедворец, как змея, при каждом случае испускает свой яд. Если он был тяжело болен и вы ему оказывали участие или какие-либо важные услуги, он не помнит, что вы делали для него, а знает только, что должен вас топить. Чем он действует для вас вреднее, тем он с вами любезнее»^[113]. Дело было не только в нравственной низости придворной среды — ее представители для Сперанского являлись тунеядцами, бездельниками, занятыми лишь интригами и участием в пустых церемониях.

В результате в апреле 1809 года из-под его пера появляется проект указа «О неприсвоении званиям камергеров и камер-юнкеров никакого чина, ни военного, ни гражданского», обязывающий придворных, если они хотят получать какое-то жалованье, вступить в действительную службу в течение двух месяцев после его издания. Однако это были лишь «цветочки». В августе того же года последовал указ, гласивший, что для получения чина коллежского асессора (и выше) отныне недостаточно

прослужить энное количество лет в предыдущем чине — необходимо «свидетельство из одного из состоящих в Империи Университетов, что он обучался в оном... наукам, Гражданской службе свойственным», или выдержал экзамен в этих науках. Данный указ являлся развитием прежних решений Зимнего дворца о воспитании просвещенного чиновничества, но бюрократии среднего уровня от понимания этого легче не становилось. Добавим к сказанному, что Сперанский успел «порадовать» и душевладельцев. По его инициативе был введен налог на владение крепостными, больно ударивший по помещикам.

Однако известность и слава звезды российской бюрократии связаны отнюдь не с этими указами, кстати говоря, так и не заработавшими в полную силу. В октябре 1809 года Михаил Михайлович по распоряжению императора создает «Введение к Уложению государственных законов» — документ, который должен был заметно повлиять на характер политического режима Российской империи. Желание царя в данном случае полностью совпало со взглядами самого Сперанского. «Никакое правительство, с духом времени не сообразное, — писал он, — против всемогущего его действия устоять не может». Развитие Европы, по его мнению, представляло собой «переход от феодального правления к республиканскому», и никто не мог противиться этому процессу: «Тщетно власть державная силилась удержать его напряжение; сопротивление ее воспалило только страсти, произвело волнение, но не остановило перед ома»^{114}.

Интересно, что во «Введении» — ни в названии, ни в тексте — не употребляется слово «конституция». При этом документ действительно мог бы изменить тот традиционный порядок, при котором все ветви власти сосредоточивались в руках государя. Однако начнем по порядку.

Согласно «Введению», население империи делилось на три категории: дворянство, люди среднего состояния и народ рабочий (крепостные крестьяне, мастеровые, ремесленники, домашние слуги). Определенными гражданскими правами должны были обладать все жители страны, включая крепостных. Политическими же правами, то есть возможностью принимать участие в управлении государством, наделялись только две первые категории населения. В документе строго соблюдался принцип разделения властей, и хотя самодержавная власть сохраняла при этом широкие полномочия, но это было иное самодержавие, если можно так выразиться, в некоторой степени коллегиальное.

Законодательную власть представляла Государственная дума, опиравшаяся в своей деятельности на целую сеть губернских и уездных

дум. Без ее одобрения ни один закон не мог быть издан, и плюс к этому она контролировала деятельность высших органов власти. Судебную систему страны возглавлял Сенат («Верховное судилище»), являвшийся вершиной другой пирамиды, состоявшей из губернских и уездных судов. Исполнительной властью наделялись министерства и их высший орган — Комитет министров. Власть самодержца ничем не ограничивалась, но теперь он был вынужден искать приемлемое соглашение и с Государственной думой, и с Сенатом, и с Комитетом министров. При этом нельзя было допустить того, чтобы все ветви власти вновь сходились только в руках императора. Поэтому планировалось появление Государственного совета, который вместе с монархом согласовывал бы деятельность различных ветвей управления страной.

Ограничение власти самодержца должно было сопровождаться обузданием произвола бюрократии при помощи упорядочения всех частей государственного механизма. Реально же в Российской империи появился только Государственный совет как законосовещательный орган при монархе, реализация остальных частей проекта Сперанского-Александра I оказалась отложена на неопределенное время (точнее, на 100 лет, вплоть до появления манифеста 17 октября 1905 года). Государственный совет так и не приобрел того веса и авторитета, которые были прописаны в проекте. Именно поэтому в 1810–1825 годах в 159 из 242 дел, рассмотренных Государственным советом, Александр I утвердил мнение большинства, а в 83 — мнение меньшинства (причем в четырех случаях это было мнение одного человека). Всё вышесказанное позволило историку Н. М. Дружинину сделать следующий неутешительный вывод: «В 1801–1820 гг. российское самодержавие пыталось создать новую форму монархии, юридически ограничивающую абсолютизм, но фактически сохраняющую единоличную власть государя»^{115}.

Отметим также точку зрения Н. Я. Эйдельмана — он считал, что Сперанский «пытался примирить новые идеи с существующими порядками, поэтому выборность он всё время уравнивал правом властей, правом царя утверждать или отменять решения выборных органов. Так министры... ответственны перед законодательным органом, думой, однако назначаются и сменяются царем. Судей, а также присяжных должны выбирать местные думы, но царская власть всё это контролирует и утверждает. Зато император и предлагает законы, и окончательно их утверждает; однако ни один закон не имеет силы без рассмотрения в Государственной думе»^{116}.

Добавим, что Государственный совет был открыт 1 января 1810 года, а к 1 сентября предполагалось избрать Государственную думу и окружные и губернские ее аналоги. По сути, это привело бы к появлению двухпалатного парламента, что должно было стать совершенно новым шагом в политическом развитии страны. Мало того что со временем подобное учреждение могло бы послужить прекрасной школой для всех общественных сил, но даже сами разговоры о его возникновении, а также слухи о нем уже сделались подобной школой.

В январе 1810 года Сперанский был назначен государственным секретарем (в связи с открытием заседаний Государственного совета), оставаясь при этом директором Комиссии по составлению законов и товарищем министра юстиции. Он начал управлять канцелярией Государственного совета, от которой во многом зависела эффективность работы нового органа. Судя по тому, что канцелярии не было предоставлено даже собственного помещения и ее сотрудники работали в основном на дому, эффективность деятельности Государственного совета не слишком заботила верховную власть. Да и иметь дело последней приходилось с особым контингентом чиновников. П. А. Вяземский в связи с этим вспоминал об одном знакомом, который с умилением говорил: «Мой сын именно настолько глуп, насколько это нужно, чтобы успеть и на службе, и в жизни; менее глупости было бы недостатком, а более было бы излишеством. Во всём нужны мера и середка, а мой сын на них и попал»^[117]. Такие «попавшие на середку» составляли большинство тружеников государственного аппарата.

К началу 1811 года неутомимый и целеустремленный Михаил Михайлович подготовил и реформу Сената, отделив его судебную функцию от административной. Он предложил образовать два Сената — Судебный (частью избираемый, частью назначаемый царем) и Правительствующий. Реформа была одобрена Государственным советом и монархом, но в жизнь так и не проведена. Сделано это было по просьбе самого Сперанского, желавшего, чтобы преобразования совершились в полном объеме, а не по частям («прелести» последнего варианта он уже испытал во время учреждения Государственного совета).

Стоит, пожалуй, поговорить еще и о том, как относились к планам политико-административных реформ их авторы, Сперанский и Александр I, какие надежды с ними связывали. Для Михаила Михайловича всё должно было начаться с открытия Государственного совета; в мае 1810 года предполагалось обустроить новую вертикаль исполнительной власти, к сентябрю — судебной. Он понимал, что прежде всего необходимо

позаботиться о создании проводников политики правительства на местах — в его проекте появилась система дум и судов в губерниях и уездах.

На 15 августа назначались выборы депутатов в Государственную думу. В монархии Сперанский видел именно то, чем она реально и была: не самую удобную и не самую практичную форму правления, отягощенную пышным культом императора. Он хотел заменить *деспотическое* правление *истинно монархическим*, в котором власть царя была бы строго подчинена законам (в этом желании вновь слышатся отголоски идей французских просветителей), то есть готовил тихую буржуазно-бюрократическую революцию в России. Заметим, кстати, что государственному секретарю удалось по ходу дела спасти империю от финансового краха, ведь еще в 1810 году государственные расходы в два раза превышали доходы. Сперанский решительно замедлил этот процесс с помощью продажи казенных земель, введения в 1810 году жесткого протекционистского таможенного тарифа и новых налогов.

Александра же проекты преобразований привлекали прежде всего историческими масштабами, позволяя ему чувствовать себя на авансцене жизни России, да что там России — всей Европы. Он говорил о любимых планах с редкостным красноречием, нимало не заботясь о полном их несоответствии реальной действительности. Ему нравилась именно отвлеченная красота задуманного. В этом он совершенно не совпадал со своим основным помощником — человеком трезвым, педантичным и прагматичным^{118}. Когда же дело доходило до мелочной, скучной, незаметной со стороны работы, наполненной юридической терминологией, монарх всячески старался от нее отстраниться. Думается, именно Александру принадлежит удачная фраза, обозначающая цель его царствования: «усчастливливание России» (и красиво, и гуманно, и ничего конкретно не означает).

А «усчастливливать» было что, ведь безобразий по-прежнему хватало. В 1806 году в Курской губернии насчитывалось 609 нерешенных дел (некоторые лежали с 1799-го). Новгородский губернатор Жеребцов за восемь лет правления оставил 11 тысяч нерешенных дел, иркутского губернатора Трескина и его жену если и интересовали дела, то только относящиеся к материальному благополучию собственной семьи. Они составили приданое каждому из восьми своих детей в пуд ассигнациями (видимо, считать деньги губернаторской чете было уже лень, и их взвешивали при помощи безмена).

Император же забавлялся своими маленькими хитростями, скажем, стравливал у себя в кабинете не любивших друг друга сановников. Е. Ф.

Комаровский запомнил разговор с государем: «Ты видишь, каковы были лица на Беклешове и Трощинском, когда они вышли от меня?.. Я приказал, чтобы по генерал-прокурорским делам они приходили с докладом ко мне вместе, и позволяю спорить при себе сколько им угодно, а из сего извлекаю для себя пользу»^{119}. Что же тут удивительного, если Александр считал: «Интриганы в государстве так же полезны, как и честные люди, а иногда первые даже полезнее последних». Он, к сожалению, забыл о том, что честных людей, когда в них появляется потребность, может и не оказаться в наличии, зато интриганы, есть нужда в интригах или нет, находятся всегда. Последнее наглядно подтвердила история падения Сперанского. Правда, хотя на первый взгляд она выглядит традиционной и незамысловатой, в ней далеко не всё сводится к придворной интриге.

Человек, являющийся в глазах подавляющего числа дворянства выскочкой, удерживающийся на вершине власти только благодаря расположению к нему императора, потерял это расположение, что и привело к его естественному падению. Какие уж тут тайны? Однако даже если говорить только об отношениях между Александром I и Сперанским, то и в них таилось несколько загадок. Конечно, будучи первым советником и помощником монарха, Михаил Михайлович нажил немало врагов. Он умудрился восстановить против себя и аристократию, возмущенную возвышением плебея, и придворных, и чиновничество, и широкие круги дворянства, напуганного не только его конституционными планами, но и реально ущемленного введением налога на владение поместьями и крепостными. К тому же симпатии Сперанского к Франции (точнее, к Наполеону), не скрывавшиеся им, вызывали опасения у посланников Англии, Австрии, Швеции.

Интрига против государственного секретаря объединила многих заметных персонажей: министра полиции Александра Дмитриевича Балашова, начальника канцелярии его министерства барона Якова Ивановича де Санглена, недавно перешедшего со шведской службы на русскую барона Густава Морица Армфельда — сенатора, председателя Комитета по финляндским делам, барона Густава Розенкампа, любимую сестру царя великую княжну (с 1809 года — принцессу Ольденбургскую) Екатерину Павловну и др. В результате операция по дискредитации Сперанского оказалась широкомасштабной и продуманной до мельчайших деталей. В первую очередь до сведения Александра I с разных сторон довели слух о том, что его помощник принадлежит к тайному обществу иллюминатов и даже является главой данной масонской организации. Распространение этих слухов сопровождалось подметными письмами,

расходившимися в тысячах экземпляров. В них Сперанский обвинялся не только в желании свергнуть существующий режим, но и в прямой измене — шпионаже в пользу Наполеона.

Чуть позже Балашов и Армфельд в ходе назначенной Сперанскому встречи предложили ему создать секретный комитет для управления делами государства за спиной монарха. Тот, не восприняв предложение всерьез, просто отмахнулся от него, ничего не рассказав Александру I. Провокаторы же донесли царю, что инициатором этой встречи, а значит, и автором идеи о создании секретного комитета являлся именно государственный секретарь и что после установления в России нового политического порядка он хочет провозгласить себя диктатором. Позже Сперанского обвинили еще и во взяточничестве. Говорили, будто помимо имений он владеет одиннадцатью каменными доходными домами в Петербурге и огромными капиталами. Дома действительно существовали, но принадлежали купцу Злобину, сын которого Константин являлся свояком Сперанского (какая знакомая картина!).

Домов же, находившихся в собственности Михаила Михайловича, в природе не существовало; во всяком случае, их наличие никак документально не подтверждается.

Наконец, царю стали доносить о непочтительных отзывах о нем его ближайшего помощника. Так, Балашов нашептывал монарху, что Сперанский будто бы говорил: «Вы знаете подозрительный характер государя. Всё, что он делает, он делает наполовину. Он слишком слаб, чтобы править, и слишком силен, чтобы быть управляемым»^{120}. Михаил Михайлович действительно был невоздержан и ироничен в отзывах об Александре I — не только в разговорах, но и в переписке, которая тщательно перлюстрировалась полицией. Подобные известия, конечно, огорчали и обижали монарха, но гораздо больше его настораживало другое. Будучи доверенным лицом государя, Сперанский наводнил своими людьми важнейшие министерства, тем более что в новых органах исполнительной власти требовались толковые и дельные чиновники, а приискивал их именно государственный секретарь. Постепенно он сделался самым информированным лицом в окружении Александра Павловича, что, в общем, неудивительно.

Скажем, Михаилу Михайловичу было поручено вести переписку с дипломатом Карлом Васильевичем Нессельроде, в которой французские государственные деятели обозначались вымышленными именами (позже это представили шпионским шифром). Но дело даже не в этом — Сперанский требовал, чтобы ему передавали вообще все секретные бумаги

и донесения раньше, чем канцлеру Румянцеву. Понятно, что у императора стали возникать подозрения, поскольку информированность государственного секретаря начала выходить далеко за рамки его компетенции. По справедливому замечанию историка В. А. Томсинова, рядом с законным государем-самодержцем появился государственный секретарь-самодержец, что никак не могло устроить монарха.

Кроме обиды и опасений, в отношениях Александра Павловича к Михаилу Михайловичу в 1811 году постепенно появилось еще и чувство неловкости, неудобства, тщательно скрываемого стыда. Александр I в 1811 году уже многим отличался от Александра образца 1806-го и даже 1809 года. На протяжении ряда предыдущих лет он вел откровенные и весьма опасные разговоры со своим доверенным сотрудником. Теперь этот сотрудник сделался живым укором монарху, да и, судя по размаху интриги против него, человеком, опасным для трона. О том же писали проницательные очевидцы событий, в частности Ж. де Местр: «Сей господин Сперанский — великий обожатель Канта... Такие люди погубят Императора, как погубили уже многих. При нынешнем состоянии умов малейшее недовольство может привести к неисчислимым бедам»^{121}. Действительно, на протяжении всего царствования Александра Павловича правительство больше опасалось не крестьянских бунтов и волнений, а мятежа свободных людей, и судьба Сперанского являлась для верховной власти слишком мелкой монетой, чтобы ради нее стоило сильно рисковать.

В день своего падения государственный секретарь работал с монархом до 11 часов вечера. Затем Александр сказал: «Довольно поработали! Прощай, Михаил Михайлович! Доброй ночи! До свидания!» — и перекрестил его. Приехав домой, Сперанский нашел там Балашова, опечатававшего его бумаги. Затем последовала высылка государственного секретаря в Нижний Новгород. Внимательный и проницательный П. А. Вяземский заметил по этому поводу: «В замыслах Сперанского не было ничего преступного и, в юридическом смысле, государственно-изменнического, но было что-то предательское в личных отношениях Сперанского к государю». Впрочем, далее мотив предательства уступает в размышлениях Вяземского место другим соображениям: «Неограниченная доверенность Александра не встречала в любимце и сподвижнике его полной взаимности... Кажется, не подлежит сомнению, что в окончательных целях не было единства между императором и министром: сей последний хотел идти далее и в особенности скорее»^{122}.

Противники Сперанского встретили его отставку с нескрываемой

радостью. «Не знаю, — писал Ф. Ф. Вигель, — смерть лютого тирана могла бы произвести такую всеобщую радость... Все были уверены, что неоспоримые доказательства в его виновности открыли, наконец, глаза обманутому государю; только дивились милосердию его и роптали. Как можно было не казнить преступника, государственного изменника, предателя!»^{123} Были, правда, и другие мнения. «Царь — всё! — писал И. М. Долгоруков по поводу ареста Сперанского. — Он закон! Он истина! Он Бог земной! На что правда, если государю угодно назвать ее ложью? Что в заслугах, если они перестали быть угодны двору? Пролей свою кровь за ближних, принеси ему живот свой на жертву, но, если монарх косо на тебя взглянул, не ожидай признательности сограждан. Все тебя давят и клянут! И после этого мы хотим, чтоб у нас были патриоты»^{124}.

Правда, «обманутый государь» расценивал произошедшее совершенно иначе. Своему давнему приятелю Александру Николаевичу Голицыну он говорил: «Если бы у тебя отсекли руку, ты, наверное, кричал бы и жаловался, что тебе больно; у меня прошлой ночью отняли Сперанского, а он был моей правою рукою»^{125}. Трудно сказать, были ли эти слова искренними или являлись лишь позой, игрой на публику; но то, что монарх по-иному смотрел на случившееся со статс-секретарем, сомнений не вызывает. В его беседе с Н. Н. Новосильцевым прозвучало: «Вы считаете его (Сперанского. — Л. Л.) изменником? Вовсе нет, на самом деле он виноват только по отношению ко мне одному, виноват в том, что отплатил на мое доверие и мою дружбу самой черной, самой отвратительной неблагодарностью... Удаляя его от себя, я сказал ему так: «В любое другое время я потратил бы два года, чтобы проверить... все дошедшие до меня сведения... Но время и обстоятельства не позволяют мне этого ныне... Вы оказались под подозрением, которое навлекли на себя вашим образом действий и речами... Мне важно, в случае несчастья, не оказаться виноватым в глазах моих подданных»^{126}.

О том же монарх говорил и Я. И. де Санглену: «...в отношении к государству нужно было отправить Сперанского... Это доказывается радостью, которую отъезд его произвел в столице, верно, и везде... Люди мерзавцы! Те, которые вчера утром ловили еще его улыбку, те ныне меня поздравляют и радуются его высылке... О, подлецы! Вот кто окружает нас, несчастных государей»^{127}. Знаток Александровской эпохи А. А. Кизеветтер считал: «Сперанский напугал Александра, показав ему в конкретно воплощенном виде его смутную и бесформенную мечту. И сочиненные Сперанским параграфы встали перед умственным взором

Александра как живой укор его мечтательной пассивности, как предъявляемый к уплате точно подведенный счет»^{128}.

На наш взгляд, самодержца подвела уверенность в том, что он может сделать с обществом всё, что пожелает. В мелочах и на короткое время такое действительно удается, но когда речь идет о продолжительном сроке и важных вещах, подобная мечта неизменно остается мечтой, приносящей жестокое разочарование и обязательные поиски виновного. Кроме того, у монарха, желавшего перемен, к делу реформ примешивалась изрядная доля самолюбия и других личных страстей (желание настоять на своем, невнимание к конкретным обстоятельствам), а они — плохие помощники для реформатора. Был ли подвержен тем же «недугам» Сперанский? Безусловно. Он порой сознавал схематичность и абстрактность своих планов, но это были его планы, и поэтому они должны были быть воплощены несмотря ни на что. Недаром еще в юношеском дневнике Сперанский записал: «Я сам себя едва ли понимаю». Может быть, до конца он так себя и не понял.

Михаил Михайлович вернется после ссылки в Петербург в 1821 году и делается управляющим Комиссией по составлению законов и членом Государственного совета, но душевных бесед с Александром I больше не будет, да и разговоров о реформах существующего строя тоже. Более того, свою деятельность до 1812 года он станет считать трагической ошибкой.

Если же посмотреть на дело в более общем, более теоретическом плане, то придется констатировать, что зачастую на основе того факта, что философские и социально-политические идеи Просвещения были хорошо известны значительной части русского общества конца XVIII — начала XIX века, исследователями делается скоропалительный вывод, что эта часть общества воспринимала идеологию просветителей достаточно адекватно. Но открывающееся нам несоответствие слова и дела, заявленного и исполненного, заставляет усомниться в безусловной правоте этого вывода. Без прочного усвоения идеалов гуманизма, понимания границ и сути свободы одно лишь знание идей было не только недостаточным фактором, но и оказывалось просто непригодным для решения задач, стоявших перед Россией в начале столетия. В те годы страна имела несколько вариантов развития: аристократическая конституция, буржуазно-демократическая конституция, дальнейшее укрепление самодержавия. По удачному выражению историка И. Ф. Худушиной, «Россия выбрала не тот путь, который, возможно, был лучшим, но тот, который ей больше соответствовал»^{129}. Каким же

оказался этот путь?

Новый игрок на политическом поле.

Часть первая

Годы царствования Александра I, помимо всего прочего, сделались временем становления российского общества как новой политической силы в империи. Именно в первой четверти XIX века выкристаллизовываются общественно-политические лагеря, разрабатываются собственные идеологические концепции, пока еще близкие к правительственной идеологии и во многом так или иначе совместимые с ней. Именно в 1801–1825 годах само понятие «общественное мнение» начинает играть важную роль и для «верхов» России, и для заметной части дворянства. Поэтому необходимо внимательнее присмотреться как к становлению этого нового игрока на российской политической сцене, так и к отношению к нему Александра I.

Создание возможности существования общества как самостоятельной субстанции долго не осознавалось российской политической элитой как первостепенная задача. На протяжении этого времени понятие «свобода» ассоциировалось у нее с «вольностью», а последняя представляла собой исключительно «свободу от». Дворяне старались освободиться от царской службы, податные сословия — от прикрепления к определенному месту жительства и налогового бремени, частновладельческие крестьяне — от отличной зависимости. Может быть, поэтому гражданский долг заменялся в обществе идеей служения царю, понятие о правительстве пряталось за привычным для всех словом «начальство»; в самодержавии далеко не всегда угадывали деспотизм, а в крепостничестве — рабство нового времени.

Особенно характерно это было для представителей первого сословия, которое и составляло «образованное общество», стоявшее у истоков формирования общественно-политических лагерей и господства общественного мнения. Поэтому дворянская оппозиционность престолу переплеталась с верноподданничеством, либеральность порой заметно соприкасалась с охранительством, революционность не исключала, скажем, преклонения перед Петром I. Что же тут удивительного? Не будем забывать, что в свое время Уложенная комиссия Екатерины II насчитывала

более пятисот депутатов, но крепостнические порядки критиковали только два из них, а об изъятии крепостных крестьян из-под власти помещиков позволил себе заявить и вовсе только один депутат.

Оставив на время в стороне объективные предпосылки формирования общества как самостоятельной политической единицы, отметим, что Александр I был первым и последним российским монархом, открыто ратовавшим за либеральные преобразования. Его установки нашли понимание, прежде всего, среди дворянской молодежи, но вызвали широкий и заинтересованный отклик не только у нее. Не будем сбрасывать со счетов и последствия наступления эпохи романтизма, который вызвал непримиримый конфликт между индивидуальностью и обществом. Романтик, в каком бы обличье он ни выступал, отвергал общепринятые ценности, идеологию, авторитеты, стиль поведения. При этом он находился в непрерывном и напряженном поиске друзей и единомышленников.

На одном из заседаний Негласного комитета Александр Павлович вынужден был признать, что разговоры о реформах приняли всеобщий характер. Да и как могло быть иначе, если в первые годы XIX века в России были напечатаны переводы сочинений Ж. Ж. Руссо, А. Смита, Ч. Беккариа, Ф. М. Вольтера, И. Бентама, Ш. Л. Монтескье, Г. Т. Рейналя. Некоторые из них выходили с купюрами, а то и с искажениями, но сути дела это не меняло. Скажем больше: если в начале царствования Александра I общественное мнение впервые с таким энтузиазмом обратилось к сюжетам внутренней политики, то правительство вынашивало более смелые планы, чем самые передовые люди тогдашнего общества. Что же обсуждали в то время последние?

Сюжеты были более чем знакомые: аграрно-крестьянское законодательство, ограничение произвола верховной власти, изменение сословных отношений, реорганизация суда. Именно эти идеи в одинаковой степени волновали почти всех, кто интересовался общественно-политическими темами. При этом сами по себе экономика, финансы обсуждались редко. Вся деятельность общества Александровской эпохи затрагивала, так сказать, область надстроечную. На этой почве оно начинает заметно политизироваться. По словам князя И. М. Долгорукова, «публика вся как бы проснулась; даже и дамы стали вмешиваться в судебные диспуты, рассуждать о законах, бредить о конституциях»^[130].

Действительно, свободные разговоры велись на любые, в том числе и самые рискованные темы. Будущий декабрист Михаил Александрович Фонвизин с удивлением вспоминал: «...никогда в России не бывало такой свободы в выражении своих мнений, как при Александре... Эту свободу

пользовались члены тайного общества и, явно высказывая свои политические убеждения, нередко заставляли молчать самых горячих абсолютистов очевидностью тех истин, которые провозглашали»^{131}. Его свидетельство не только подтверждает, но и усиливает Михаил Иванович Пущин: «Мне случилось [в ресторане] у Андрие слышать за обедом, что один пистолетный выстрел в Петербурге подымет всю Европу и деспотам придется искать убежища в Азии или в свободной Америке»^{132}. Причем подобная крамола звучала из уст не политических заговорщиков, а самой обычной публики.

И дело не только в разговорах. Члены политизирующегося общества начинали ощущать свою ответственность за всё происходившее в стране. И в этом немалую роль сыграли события Отечественной войны с Наполеоном. К примеру, в июле 1812 года Алексей Петрович Ермолов писал Петру Ивановичу Багратиону: «Конечно, мы счастливы, существуя под кротким правлением Государя милосердного, но нынешние обстоятельства, состояние России, выходящее из порядка обыкновенных дел, поставляют и нас в обязанности и в соотношения необыкновенные: не одному уже Государю давать надобно будет людям... отчет в делах своих»^{133}.

Правительство не предпринимало практически никаких мер против подобных разговоров, некоторые запреты начались только после Семеновской истории. Скажем, в 1820 году в «Историческом журнале» была опубликована небольшая статья, в которой отмечалось значение ликвидации крепостного права в Остзейском крае и содержался робкий намек на желательность постепенного уничтожения рабства во всей России. Цензор, профессор Никифор Евтропиевич Черепанов, был снят с должности, а затем уволен с поста декана словесного отделения Московского университета. Но разговоры на острые темы не прекратились — они лишь ушли из светских салонов в частные кружки, то есть стали более тайными и, может быть, менее влияющими на общество, но не менее опасными для власти. В терпимом до поры отношении «верхов» к свободе слова можно при желании усмотреть их верность идеям просветителей: общественное мнение являлось одним из краеугольных камней концепции модных философов. Но можно подойти к этой проблеме и с другой стороны — говорить о пренебрежении власти взглядами нарождающегося российского общества.

Скажем, П. А. Строганов необычайно резко оценивал возможности и уровень развития первого сословия. «Дворянство у нас, — писал он с

досадой, — состоит из множества людей, которые... не получили никакого воспитания и все мысли которых устремлены на то, чтобы видеть только волю императора. Этот класс — самый невежественный, самый ничтожный, самый тупой. Вот приблизительная картина того дворянства, которое живет в деревнях». Не лучше, с его точки зрения, обстояло дело и со служилым дворянством. «Хотят, — продолжал Строганов, — чтобы сословие, совершенно лишенное общественного духа, начинало бы дело, требующее именно общественного духа, умелой последовательной политики и смелости. В стране с деспотическим режимом — читал я где-то — изменения значительно более легки и менее опасны, так как они зависят от воли одного лица, за которым все остальные следуют, как бараны»^{134}.

С ним абсолютно не соглашался Михаил Леонтьевич Магницкий, тогда еще либерал и приверженец Сперанского. В ноябре 1808 года он представил Александру I записку о важности общественного мнения, где подчеркивал, что «не дерзкие общественные говоруны потрясают государства, их потрясает общественное мнение и люди, им управляющие»^{135}. Когда же в российском обществе начались противоречия по политическим проблемам? Пожалуй, различные его группы неодинаково отнеслись уже к факту создания министерств. Так, приверженцы традиционных порядков считали министерства «презрением и неуважением к закону», а указ о «вольных хлебопашцах» расценивался ими как ограничение поместной системы и создание независимого конкурента дворянству в виде свободного крестьянина.

Группировка убежденных консерваторов, противостоявших «дней Александровых прекрасному началу», остро реагируя на возможность преобразований, сформировалась раньше, чем кружки либералов и тем более радикалов. Это и понятно: последним не надо было противостоять задумкам хозяина Зимнего дворца — наоборот, они приветствовали его начинания, а потому не ощущали необходимости в немедленной самоорганизации. Таким образом, либерализм задумок государя породил реальный консерватизм Александровской эпохи. Если попытаться перечислить видных деятелей консервативного лагеря, то к ним необходимо отнести вдовствующую императрицу Марию Федоровну, великого князя Константина Павловича, великую княжну Екатерину Павловну, Александра Семеновича Шишкова, Александра Андреевича Беклешова, Дмитрия Павловича Рунича, Гаврилу Романовича Державина, Александра и Алексея Борисовичей Куракиных, Николая Михайловича Карамзина.

Именно Карамзин сделался идеологом тверского салона Екатерины Павловны, а позже стал считаться отцом русского консерватизма. Еще в оде «Историческое похвальное слово Екатерине II» (1801), переданной молодому императору через Д. П. Троицкого, он изложил свою политическую программу. То есть уже тогда Карамзин пытался играть роль наставника монарха. Собственно, эту программу можно выразить одной фразой: «Все гражданские учреждения должны быть согласованы с характером народа; что хорошо в Англии, то будет дурно в другой стране»^{136}.

Екатерина Павловна познакомилась с Карамзиным в 1809 году и тут же пригласила его в Тверь, где поселилась, выйдя замуж за принца Ольденбургского. У «тверской полубогини» имелись свои расчеты: ненавистному ей Сперанскому необходимо было противопоставить не менее крупную фигуру, и Карамзин подходил на эту роль как никто другой. Он выступил против Михаила Михайловича именно тогда, когда тот работал над «Введением к уложению государственных законов». В ответ на проект государственного секретаря Екатерина Павловна попросила Карамзина написать специальную записку, предназначенную Александру I, с изложением политических позиций консерваторов, подкрепленных убедительными историческими примерами. В марте 1811 года «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении» была представлена монарху, но встречена им весьма прохладно. Свидетельствам современников на этот счет можно полностью доверять, ведь взгляды Карамзина, изложенные в «Записке», шли вразрез с позицией Александра Павловича и политической практикой, защищаемой им в те годы.

Интересно и показательно, что уже через пять лет, в 1816-м, награждая историографа лентой ордена Святой Анны, император сказал, что делает это не столько за его «Историю государства Российского», сколько за «Записку о древней и новой России»^{137}. Положим, с «Историей» более или менее понятно: Александру, одному из немногих российских монархов, понадобилась история (ее важность как инструмента государственной политики предчувствовала еще Екатерина II). Поэтому карамзинская «История государства Российского» появилась очень вовремя и далеко не случайно. История, по мнению монарха, должна быть зеркалом великих дел, которое постоянно предоставляло бы читателю образцы для подражания и «средства достигнуть славы, ими предполагаемой, или превзойти оную». А вот что именно могло понравиться Александру

Павловичу в программном документе Карамзина — это вопрос. Посмотрим, каковы были основные позиции консерваторов, изложенные в «Записке».

Отдав вначале должное способностям и образованию Александра I, Карамзин намечает два возможных пути его царствования: следование образцам, выдвинутым Павлом I, или восстановление разрушенной им системы Екатерины II. Таким образом, в «Записке» нет и речи о собственном пути Александра. Далее в ней критикуется внешняя политика, проводимая Россией в первые годы XIX века, в частности, говорится, что российский монарх сделался слепым орудием в руках Наполеона. Карамзин отмечает экономические и политические потери, связанные с разрывом Петербурга с Лондоном, критикует образование герцогства Варшавского и даже протестует против присоединения Финляндии.

Однако главный удар в «Записке» направлялся против внутривластных мероприятий молодого монарха. Историограф не мог простить ему отказа следовать курсом, проложенным Екатериной II и выдержавшим, по его мнению, проверку 34-летней практикой. Все начинания первого десятилетия XIX столетия виделись Николаю Михайловичу незрелыми и не соответствующими российским традициям; в частности, поднимаемый Зимним дворцом вопрос о варварстве крепостного права представлялся ему надуманным и чрезвычайно опасным. «Мне кажется, — пишет Карамзин, — что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им вовремя свободу, к которой надобно готовить человека исправлением нравственным».

Историограф ставит царя выше закона и утверждает, что не бояться государя — значит не бояться и закона. При этом, защищая самодержавие, он не забывает и об интересах дворянства — «братства знаменитых слуг великокняжеских и царских». С неменьшей энергией Карамзин отстаивает и позиции духовенства, второго столпа, поддерживающего трон, резюмируя: «Дворянство и духовенство, Сенат и Синод как хранилища законов, над всеми государь, единственный законодатель, единственный источник властей — вот основание Российской монархии, которое может быть утверждено или ослаблено правилами царствующих»^[138]. Таким образом, Карамзин задолго до Сергея Семеновича Уварова сформулировал собственную триаду: самодержавие, православие, отечество. При этом отношение Александра I к Николаю Михайловичу всегда оставалось настороженным, близости между ними так и не возникло. Чтобы понять причины этого, придется поближе познакомиться со взглядами Карамзина.

Самое интересное, что позиции монарха и историографа во многом совпадали. И тот и другой считали себя республиканцами в душе; оба (правда, Александр I только с 1810-х годов) видели путь к становлению цивилизованного государства не столько в просвещении, сколько в исправлении нравственности сограждан. Действительно, Карамзин теоретически предпочитал республиканское устройство монархическому. Однако, по его мнению, развитие цивилизации, становление рыночных отношений, финансовой системы привели к искажению и падению подлинного республиканского строя. Иными словами, монархическое правление более отвечало тогдашнему уровню развития нравственности и просвещения людей.

Поэтому, по его мнению, постепенная трансформация самодержавного режима (а он не должен оставаться неизменным!) должна идти в направлении уменьшения самовластия царей и установления «просвещенной» формы их правления. Говоря иначе, самодержавие — это не произвол властей, а господство твердых законов, ведущих к просвещению подданных и смягчению политического режима; постепенный переход от самодержавия к конституционной монархии, а от нее — к республике, граждане которой в полном объеме осознают свои права и обязанности (но никак не раньше!). Именно в этом Карамзин видел столбовой путь не только для России, но и для человеческой цивилизации в целом.

Опять-таки особых разногласий с позицией Александра I вроде бы не наблюдается. Однако за большинством начинаний монарха-реформатора историограф видел не просвещение общества, не исправление его нравственности, а бюрократизацию государственных порядков, укрепление деспотизма одного лица, берущие свое начало со времен правления Петра I. Да, Карамзин противопоставлял растущей бюрократизации, «расчеловечиванию» политического режима наивную мысль о «добром и правильном» патриархальном управлении, но всё-таки пытался, пусть даже и наивно, по-донкихотски, бороться со страшным злом.

Позиции историографа и монарха и во многом близки, однако Александр не столько понимал, сколько ощущал, что Карамзин требовал от него некоего образцового правления, противопоставлял реальным политическим шагам высокие принципы отвлеченной монархии, которым государь при всём желании соответствовать не мог. На новом этапе повторялась ситуация с древнеримскими примерами, в свое время приводимыми великому князю его учителем Лагарпом и угнетавшими ученика своей недостижимостью. Поэтому, принимая на вооружение те

политические установки, которые содержались в «Записке о древней и новой России», монарх, тем не менее, не ощущал в Карамзине подлинного единомышленника. Желание же Николая Михайловича выступать в качестве царского наставника и советника еще больше отдаляло от него Александра, не терпевшего подобного наставничества.

Поэтому вряд ли полностью справедлив вывод исследователей, считающих, что с Карамзиным «произошло то, что должно было произойти. Певец монархии слился с монархией и, более того, поселился в Петербурге, принявшись за издание своей «Истории» и чрезвычайно расширив связи в высшем свете»^[139]. Приверженцем и певцом монархии историограф стал еще до воцарения Александра I, но он был певцом образцового монархического государства, а потому его понимание долга и возможностей государя далеко не во всем совпадало со взглядами Александра Павловича.

Российский консерватизм, как и любое другое общественное движение, не был течением монолитным, состоявшим из согласных всегда и во всем единомышленников. Многолетним оппонентом Карамзина внутри консервативного лагеря выступал адмирал А. С. Шишков. Причина их противостояния заключалась не только в том, что Карамзин являлся консерватором-западником, а Шишкова называют основателем национального консерватизма и чуть ли не предшественником славянофилов. Дело здесь гораздо интереснее и глубже. Поначалу два столпа консерватизма схватились на литературно-языковой почве, возглавив литературные объединения: Карамзин — «Арзамас», Шишков — «Беседу любителей русского слова»^[5]. За кулисами этой борьбы стояло их отношение не только к изменениям в литературном языке, но и к народной духовной традиции вообще, а также к новым идеям, предложенным европейскими мыслителями, и событиям, во многом вызванным идеологией просветителей.

В первые годы после воцарения Александр I имел предубеждение в отношении Шишкова, с открытым забралом выступавшего против проектов преобразований этого времени. Адмирал являлся истинным охранителем, защитником стародавних традиций, устоявшегося уклада жизни и ее привычных ценностей. Начало александровского царствования он расценил, помимо прочего, как продолжение преклонения Павла I перед прусскими порядками, которые сам он ненавидел. Особое негодование Шишкова в этот момент вызывала деятельность Негласного комитета, о членах которого он писал: «...молодые наперсники Александровы,

напыщенные самолюбием, не имея ни опытности, ни познаний, стали все прежние в России постановления, законы и обряды порицать, называть устарелыми, невежественными. Имена вольности и равенства, приемлемые в превратном и уродливом смысле, начали твердиться перед молодым царем»^{140}.

В ответ Александр I в 1810 году не включил Шишкова в списки членов сформировавшегося Государственного совета, заявив: «Я лучше соглашусь не царствовать, чем сделать его членом Государственного совета»^{141}. Однако когда разразилась гроза 1812 года, государственным секретарем вместо Сперанского стал именно Шишков. Поневоле возникает вопрос: почему он, а не более яркий и уважаемый просвещенным обществом Карамзин? Наверное, потому, что всего год прошел с того момента, как монарх ознакомился с отнюдь не порадовавшей его «Запиской о древней и новой России». Кроме того, Шишков имел военный опыт (он участвовал в Русско-шведской войне 1788–1790 годов), вследствие чего вызывал в армии большее доверие, чем штатский Карамзин (у последнего не было даже административного опыта). Не будем забывать и о том, что высокий стиль писаний Шишкова больше подходил для манифестов и реляций, чем новый и не всегда понятный для масс литературный язык Карамзина.

Думается, что на решение императора повлияло и еще одно обстоятельство: консерватизм адмирала заметно отличался от установок историографа. Для Шишкова самодержавный режим не был лишь одним из этапов на пути становления цивилизованного государства, а являлся самодостаточной ценностью. Поэтому любые кардинальные перемены расценивались им и его единомышленниками как предательство монархического принципа, шаг к гибели монархии, а значит, и России. Подобные взгляды далеко не во всём отвечали задумкам Александра I, но на данном этапе он предпочитал их этико-политическим построениям Карамзина, уводившим Зимний дворец слишком далеко от окружавшей его реальности.

Дискуссиями между карамзинистами и сторонниками Шишкова спектр российского консерватизма не исчерпывался. Существовала еще так называемая аристократическая группировка, ярким представителем которой являлся российский посол в Англии Семен Романович Воронцов. Образованнейший вельможа считал наиболее подходящим для России режим, существовавший от Петра Великого до Екатерины II, негативно оценивая екатерининские реформы. Он, как и его брат-канцлер Александр Романович, был последовательным приверженцем максимальной передачи

власти в руки аристократического дворянства. В этом братья видели единственную надежную защиту от действий радикалов и связанных с ними революционных потрясений. Проект конституции, созданный А. Р. Воронцовым и переданный Александру I, является ярким свидетельством зарождавшегося аристократического консерватизма.

Возвращаясь к событиям 1812 года, следует признать, что консервативная «партия» с ее беспримысленным девизом безоглядной любви к отечеству, защиты православия и престола в этот момент оказалась вне конкуренции. Другой позиции у трона в грозную годину быть не могло, и Александр I это прекрасно понимал. Общее настроение в стране сложилось такое, что консерваторы чувствовали себя победителями. Да и умонастроение государя после Заграничных походов в чем-то совпадало с их позицией. В результате неожиданным цензурным ударам подверглись многие учебники, долгие годы использовавшиеся в гимназиях и училищах: «Руководство к познанию всеобщей политической истории», «Краткое начертание всемирной истории» (многострадальные учебники истории!); начались нападки на книгу преподавателя Царскосельского лицея Александра Петровича Куницына «Право естественное» и даже на работу «О должностях человека и гражданина», авторство которой приписывали Екатерине II.

Пастору Петеру Зедельгельму за изданный на немецком языке краткий катехизис было запрещено занимать должность учителя в Харьковском учебном округе. В апреле 1820 года Комитет министров постановил отозвать из всех германских университетов обучавшихся там русских студентов, но император счел подобную меру преждевременной. Однако уже в феврале 1823-го россиянам всё-таки было запрещено обучаться в четырех германских университетах, признанных наиболее опасными для юношества (о других охранительных мероприятиях будет сказано в свое время).

Тем не менее император не сразу и не во всё пошел на поводу у консерваторов. Он предпочел проводить «политику качелей», которая продолжалась вплоть до 1820–1821 годов, но вряд ли могла надолго обмануть представителей дворянского авангарда. Заметное сближение Александра I с консервативным лагерем, постепенное прекращение в «верхах» разговоров о необходимости реформ, сохранение крепостничества, расцвет «аракчеевщины» привели к ответной реакции — формированию нового, либерально-революционного, общественно-политического течения, проявившегося в скрытых формах, но успешно вербовавшего в свои ряды новых и новых сторонников.

Время Аракчеева

Алексей Андреевич Аракчеев вошел в число доверенных лиц Александра Павловича намного раньше Сперанского. Однако мы договорились, что не все разделы книги носят сугубо хронологический характер, а потому не будем путать годы надежд нашего героя, его веры в человеческий разум с периодом вынужденно трезвого подхода к проблемам и связанного с этим разочарования в стремлении людей к прогрессу. Прежде чем размышлять об изменении приоритетов Александра I, необходимо познакомиться с его очередным любимцем.

Аракчеев происходил из незнатного и небогатого рода тверских дворян, а потому всего в жизни добился, подобно Сперанскому, собственными силами. В 1783–1787 годах он учился в Артиллерийском и инженерном шляхетском кадетском корпусе, где отличался не только успехами в математике и плац-парадном мастерстве, но и неприятным, колючим характером, за что частенько бывал бит товарищами. Зато когда Алексей дорос до звания сержанта, то, по воспоминаниям генерала Д., «со всеми обходился неприязненно... сам, в свою очередь, стал бить всех». Правда, подобные неприятности случались у него только с однокашниками, по отношению к корпусному начальству он был неизменно искателен и услужлив.

После окончания корпуса Аракчеев был оставлен в нем для преподавания математики и основ артиллерийского дела. Кроме того, ему было поручено заведование богатой корпусной библиотекой. Молодой преподаватель вскоре написал такое дельное учебное пособие «Краткие артиллерийские записки в вопросах и ответах», что молва упорно приписывала этот труд директору корпуса генералу Петру Ивановичу Мелиссино, не веря, что столь полезную брошюру мог составить недавний выпускник корпуса. В конце 1780-х годов графу Н. И. Салтыкову понадобился учитель для сына, и Мелиссино порекомендовал ему Аракчеева. Когда чуть позже освободилось место старшего адъютанта директора корпуса, то именно по протекции Салтыкова Алексей Андреевич занял эту вакансию (к большому неудовольствию Мелиссино, питавшему простительную слабость к аристократии, но не смевшему отказать в просьбе графу, а потому вынужденному видеть возле себя представителя захудалого рода).

В 1792 году наследник престола великий князь Павел Петрович попросил прислать ему в Гатчину грамотного специалиста по

артиллерийскому делу, и Мелиссино с огромным облегчением поспешил избавиться от нового старшего адъютанта, не предполагая, что предопределяет тем самым не только его карьеру, но и судьбу. Менее чем через год Аракчеев — уже майор артиллерии, а в 1796-м — артиллерийский подполковник. Он быстро заработал нелестное прозвище «гатчинский капрал», поскольку никто так не муштровал своих солдат и не спрашивал с подчиненных столь придирчиво и строго. Вместе с тем артиллерия гатчинских войск была приведена им в образцовое состояние.

Знакомство и сближение Аракчеева с великим князем Александром Павловичем состоялось в 1794 году. 23-летний «гатчинский капрал» всячески помогал пятнадцатилетнему старшему сыну Павла Петровича, страховал его во время подготовки к учениям и частенько спасал от отцовского гнева. После воцарения Павла I Аракчеев в 27 лет становится комендантом Санкт-Петербурга и въезжает в апартаменты в Зимнем дворце, расположенные рядом с царскими покоями. Ему пожаловано две тысячи душ крестьян, проживавших в Новгородской губернии в селе Грузино и расположенных близ него деревнях. В 1797 году он сделался генерал-квартирмейстером всей армии, сохранив все прежние должности. По словам генерала Карла Федоровича Толя, жизнь офицеров по квартирмейстерской части стала «преисполнена отчаяния»: с семи часов утра до семи вечера с двухчасовым перерывом на обед несчастные корпели над старыми планами и составляли новые, столь же ненужные.

Аракчеев недаром считался главной пробивной силой павловских преобразований в гвардии и армии. Он жесточайшими мерами, бормоча под нос, как заклинание: «Только и делается, что из-под палки», восстанавливал воинскую дисциплину среди гвардейских офицеров, давно о ней забывших. Во времена Екатерины II они куда больше думали о балах и театрах, чем о службе. Офицеры не только позволяли себе появляться в свете во фраках. Обычной стала картина, когда на смену караула командир ехал позади своего взвода в коляске, закутанный в шубу и спрятав руки в муфту. С воцарением Павла I и появлением Аракчеева в качестве коменданта столицы эти маленькие радости жизни закончились. Офицеры были вынуждены заняться обучением личного состава, а штабных Алексей Андреевич засадил за чертежные доски и заставил чертить карты и планы. Гвардейские казармы засияли чистотой, самоуправство командиров прекратилось, их начали «подтягивать» — с помощью жесткого давления, мелочных придинок, а то и отборной ругани.

В 1799 году Алексей Андреевич в чине генерал-лейтенанта был назначен инспектором артиллерии и командиром гвардейского

Артиллерийского батальона. Находясь на этом посту, он к 1805 году сделал артиллерию отдельным родом войск. Произведенная им реформа была столь успешна, что русская артиллерия стала одной из лучших в мире. В 1799 году Аракчеев был возведен в графское достоинство (двумя годами ранее ему был пожалован титул барона), девиз же «Без лести предан» на рисунке его герба начертал лично Павел I. Новоиспеченный граф всю жизнь так успешно поддерживал миф о своей необразованности, что все охотно поверили в него. Между тем в Грузии библиотека Аракчеева насчитывала 11 тысяч томов по самым разным отраслям знаний. Кстати, в этом поместье стояли два бюста Павла I, причем один из них — в нише стены собора. Надпись на его пьедестале гласила: «Сердце мое чисто и дух мой прав перед тобою», что после убийства Павла заговорщиками звучало демонстративным укором в адрес Александра I.

Нельзя не упомянуть и о том, что на предложение Павла I шпионить за старшим из великих князей Аракчеев ответил решительным отказом, заявив, что не желает быть орудием несогласия между отцом и сыном. Он добавил также, что на такие дела вообще не способен (последнее, как увидим позже, вряд ли справедливо). Мы еще будем иметь возможность убедиться, что граф был редкостным формалистом, человеком грубым, придирчивым, но надо отметить сразу, что ужасные подробности о вырывании им усов у солдат и тому подобные страсти — это наговоры его противников, почему-то забывших о том, что Аракчеев частенько наказывал офицеров за чрезмерную жестокость с рядовыми. Заодно необходимо отметить, что обучение солдат в конце XVIII — первой половине XIX века не имело никакого отношения к реальной боевой подготовке, что и отмечали опытные военачальники.

Однажды, будучи на учениях, генерал-фельдмаршал Иван Петрович Салтыков отозвался об офицерах павловского времени: «Они были скудны в стратегии, жалки в тактике и никуда не годны в практике»^{142}. Мало что изменилось и в последующие времена. Во всяком случае, генерал-аншеф Петр Александрович Толстой обращался в 1806 году к Александру I с грозным предупреждением: «Государь, с этим вашим парадированием вы погубите сначала себя, затем Россию, а потом всю Европу»^{143}. Император, правда, не обратил на его слова никакого внимания, он подобно отцу продолжал лично руководить учениями гвардии, что совсем не добавляло ему авторитета среди военных. Да и откуда бы ему взяться? На смотрах Александр видел только стойку, вытянутый носок, неподвижность плеч, параллелизм шеренги. 13 января 1812 года он приказал арестовать

всех батальонных офицеров одного из полков за «плохую маршировку». Даже великий князь Константин Павлович, сам большой любитель шагистики, выразил как-то ироническую уверенность в том, что гвардия, поставленная на руки ногами вверх, а головой вниз, всё-таки успешно промарширует — так она вышколена и «приучена танцевальной науке». Об этой науке сказано не для красного словца. Разводы, парады и учения того времени напоминали балет с его выматывающими репетициями и уникальной слаженностью движений.

После воцарения Александра I Аракчеев оставался без дела до 1803 года, до того момента, когда прекратились регулярные заседания Негласного комитета. В годы подготовки реформ он был явно не ко двору. Теперь же он вновь был назначен инспектором всей артиллерии и командующим лейб-гвардии Артиллерийским батальоном. Более того, в январе 1808-го Алексей Андреевич стал военным министром, что вызвало бурное общественное негодование. По этому поводу Ф. Ф. Вигель писал: «В явном несогласии с общим мнением государь выбором графа Аракчеева в военные министры как будто хотел показать, что он сим мнением не дорожит и более щадить его не намерен»^[144]. Мемуарист вряд ли прав насчет невнимания царя к общественному мнению, но по поводу общего несогласия с назначением Аракчеева с ним трудно спорить.

Просто менялись времена, а с ними менялся и монарх. Теперь ему понадобился не только самостоятельно мыслящий Сперанский, но и лично преданный слуга, независимый ни от каких группировок сановников и действовавший не под давлением каких бы то ни было модных идей. По поводу же «молодых друзей» — правда, гораздо позже, уже разочаровавшись в людях — Александр скажет очень обидные слова: «Они мне не друзья, они служили России, своему честолюбию и корысти». Как будто нельзя быть честолюбцем и корыстным человеком, служа лично императору! Да и вообще упрек в служении России в устах царя довольно странен.

Новый военный министр начал с того, что ввел в русской армии правило отдания чести, согласно которому офицеры должны были приветствовать друг друга поднятием левой руки к головному убору; при этом младшие по званию должны были это делать первыми. Однако не подобные внешние жесты и правила оказались главными в деятельности Алексея Андреевича на министерском посту. Он продолжал внимательно следить за выправкой и дисциплиной в армии, не обращая внимания на реакцию современников. «Я педант, — говаривал он, — я люблю, чтобы дела шли порядочно, скоро, а любовь своих подчиненных полагаю в том,

дабы они делали свое дело»^{145}.

При этом, хотя его трудно безоговорочно назвать бездушным автоматом, формальную сторону дела он соблюдал неукоснительно. Вот только один пример. Некий майор опоздал из отпуска на два месяца и, объясняясь в кабинете Аракчеева, поведал, что во время отпуска у него умерла жена, а вскоре после этого скончался и старший сын. На руках у майора остались двое сыновей и дочь, которых он должен был устроить у родственников. Аракчеев скрипучим голосом напомнил ему, что служба не терпит подобного к ней отношения, и назначил майору новую аудиенцию на завтра на 7 часов утра. Когда трепещущий от страха офицер пришел, Аракчеев сказал, что вчера он был начальником, а сегодня утром — просто человек. Он успел доложить о сложившейся ситуации государю, и тот приказал зачислить сыновей майора в кадетский корпус, дочери выдать пять тысяч рублей в приданое, а самому майору тысячу рублей единовременно.

Одномерность, негативная плоскостность фигуры Аракчеева, присутствующие в работах мемуаристов и некоторых исследователей, сильно преувеличены. Историк А. А. Левандовский справедливо замечает: «Талантливых людей, думаю, немало, а вот людей, обладающих такой невероятной силой усердия, таким терпением, таким умением преодолевать разнообразные препятствия на своем пути, какими обладал Аракчеев, по пальцам можно пересчитать. Я не знаю ему равных»^{146}. Алексей Андреевич был еще и своего рода психологом, для которого нижестоящие, правда, являлись не людьми, а человеческим материалом. Но действия всех тех, от кого зависело его восхождение, он анализировал внимательнейшим образом. При этом проявлял удивительное понимание человеческой природы, умение соответствовать склонностям, привычкам именно этих людей и добиваться от них желаемого.

Он был ни на кого не похож и оригинален даже в отношении к наградам и отличиям. К удивлению современников, Аракчеев от многих из предлагаемых наград регулярно отказывался. Так случилось, скажем, со знаками ордена Святого Андрея Первозванного, или фельдмаршалским жезлом после вступления русских войск в Париж, или с еще одной наградой — нагрудным портретом императора, осыпанным бриллиантами. Но отказывался Аракчеев только от общепринятых наград, предпочитая уникальные знаки отличия, подчеркивающие особое отношение к нему Александра I. Действительно психолог!

К благоволению монарха Алексей Андреевич был удивительно ревнив

и в борьбе за него спуску не давал никому. Однажды управляющий новгородскими военными поселениями (о которых речь впереди) генерал-майор С. И. Маевский сумел отличиться, помыв и обмундировав в Старой Руссе за 11 дней 27 тысяч человек (для ускорения помывки и одевания он выставил для наиболее расторопных поселенцев несколько бочек вина). За этот успех генерал удостоился особой похвалы от Александра I. Аракчеев отреагировал мгновенно: «Ты скоренько все делаешь, ты везде спешишь и хвастаешь. Ты думаешь, это ты одел людей? Нет — я!.. Я пять лет трудился и готовил их к повиновению и покорности... Знаешь, что я с тобой сделаю? Разотру, как пыль! Я не таких учил, как ты... Мне не надо скороспелок. Мне надо такой помощник, который бы не умничал, а исполнял слепо мои приказания. Пусть будет дурак, лишь бы делал то, что я велю»^{147}.

Из тех людей, от которых могла зависеть успешность его карьеры, отношения у Алексея Андреевича не сложились только с многолетней любовницей государя Марией Антоновной Нарышкиной. Она относилась к Аракчееву чуть ли не с отвращением, и его имя в доме Нарышкиной находилось под таким строгим запретом, что даже Александр I не смел его произносить. Граф не придумал ничего лучшего, как начать выслеживать монарха и его пассию, причем делал это и в городе, и на даче. Там Александр с Марией Антоновной то разъезжали по Неве на золоченом катере, то слушали музыку (муж Нарышкиной содержал знаменитый на всю Европу роговой оркестр в 50 человек), то беседовали за угощением. Аракчеев же с балкона соседней дачи подглядывал за ними и прислушивался к их разговорам. На следующий день он делал различные ехидные замечания насчет поведения и манер Нарышкиной, а довольный император улыбался — сложившаяся ситуация явно развлекала его.

В январе 1810 года Аракчеев покинул пост военного министра и сделался председателем Военного департамента Государственного совета, которому военный министр был подотчетен. При этом он оставался членом Комитета министров и сенатором. Влияние Алексея Андреевича на ход государственных дел неуклонно возрастало, и первыми это ощутили министры, в разговорах которых Аракчеев стал именоваться «Сила Андреевич». В этой нехитрой шутке была изрядная доля правды. Кстати, просьбу Екатерины Павловны Ольденбургской о присвоении классного чина ее библиотекарю, в которой отказал Сперанский, исполнил именно Аракчеев. Интересно сравнить изменение степени благоволения императора к обоим фаворитам с помощью такого своеобразного источника, как камер-фурьерский журнал. Согласно записям в нем, в 1809 году Сперанский обедал у императора 77 раз, Аракчеев — 55. В 1810-м

картина радикально меняется: у Сперанского 25 приглашений к высочайшему столу, у Аракчеева — 45. Ну а в 1811 году фаворит меняется безоговорочно: Сперанский обедает с монархом 32 раза, Аракчеев — 79.

Необходимо отметить, что Александр I вовсе не обманывался насчет нравственных качеств Алексея Андреевича, но для монарха гораздо важнее оказались деловые способности его помощника. «Я знаю, — говорил он одному из приближенных, — что Аракчеев груб, невежествен, необразован. Однако он имеет большую практическую сметку, мужество и инициативу и наделен огромной работоспособностью. Он также глубоко вникает в детали. Он соединяет в себе редкую неподкупность с презрением к почестям и материальным благам. И он обладает несгибаемой волей и фанатичной страстью командовать людьми. Я не смог бы сделать что-либо без него»^{148}. Добавим, что фаворит, помимо прочего, иногда предлагал действительно дельные вещи: в канун Отечественной войны 1812 года он предложил сократить срок солдатской службы с двадцати пяти до восьми лет, а из увольняемых в запас сформировать резерв на случай военных действий. Идея не просто интересная, но и опередившая российскую действительность на 60 лет.

В 1812 году Аракчеев выступил в поддержку идеи о назначении на пост главнокомандующего русской армией М. И. Кутузова, хотя знал, что императору эта кандидатура неприятна. С июня того же года граф возглавил Собственную Его Императорского Величества канцелярию; все курьеры, прибывавшие во дворец, сначала неизбежно попадали к Аракчееву и лишь после этого имели шанс получить аудиенцию у Александра I. Он же ведал безбрежной перепиской царя, хотя постоянно жаловался на тяжесть этой обязанности. Его карьера и дальше развивалась весьма успешно. В 1814 году Алексей Андреевич стал единственным докладчиком о работе Комитета министров. В 1815 году ему был поручен надзор за ходом дел в комитете (а поскольку его председатель являлся и председателем Государственного совета, то и о ходе дел в совете государю сообщал также Аракчеев). На полях текста доклада он часто делал заметки, выражая собственное мнение, с которым император в большинстве случаев соглашался. Понятно, что деловой имидж того или иного министра во многом зависел от того, как работу его министерства граф представлял императору.

Зато во время Заграничных походов русской армии Аракчеев был постоянно мрачен и недоволен, и причины этого совершенно ясны. Он, неутомимый администратор, заботившийся о снабжении армии всем необходимым, творец инструкций и параграфов, знаток строя, оказался в

плотном окружении боевых генералов и чувствовал себя осажденной неприятелем крепостью. Все вокруг получали награду за наградой, злословили по его поводу, загоняли в самые холодные и не отличающиеся чистотой квартиры. Алексей Андреевич ощущал себя ненужным и всерьез подумывал об отставке, но в ответ на просьбу о ней получил лишь краткий отпуск для лечения за границей. В августе 1814 года он был вновь призван на службу, у них с монархом опять появилось совместное дело.

В самом общем виде его можно обозначить как решение крестьянского (аграрного) вопроса, но реально оно оказалось многозначным, имело несколько аспектов. Иными словами, Александр Павлович вновь вернулся к попытке решения проблемы крепостного права (может быть, он о ней никогда и не забывал). Еще в 1809 году на русский язык была переведена книга польского сенатора графа Валериана Стрешмень-Стройновского «О условиях помещиков с крестьянами», вызвавшая бурю негодования у отечественных душевладельцев. Один из них, член Государственного совета Василий Степанович Попов, писал Александру I: «Подобные внушения были всегда в устах известных в России мятежников... В России не созрели еще умы к восприятию лестного, но опасного дара вольности... Государь! Благосостояние и сила империи основываются на твердости связей, все части соединяющих. Внушение о расторжении их весьма опасно». Не терпевший возражений по поводу своих планов Александр ответил на это послание чрезвычайно нервно: «Писание Ваше нахожу я совершенно излишним, позвольте мне думать, что я столько же умею понимать вещи, как и Вы»^{149}. Все эти споры и начинания были прерваны войной с Наполеоном, но по ее окончании баталии на аграрном фронте развернулись с новой силой.

В мае 1816 года было опубликовано «Положение об эстляндских крестьянах». Они освобождались без земли и должны были брать ее в аренду у прежних помещиков. Несмотря на половинчатость этой меры, уничтожение крепостничества в Эстляндии открыло новый этап в истории крестьянского вопроса в России. В 1817–1819 годах подобная реформа была проведена еще и в Лифляндии с Курляндией. В 1816 году последовал указ о запрещении «совершать купчие на людей без земли», а в 1818-м — «о строжайшем наблюдении о неупотреблении крестьян к господским работам в воскресные и праздничные дни». В 1820 году император особым распоряжением вновь ограничил продажу крепостных без земли и, несмотря на то, что против этой меры выступили большинство членов Государственного совета, настоял на своем. В 1821 году последовал указ о невозвращении получивших свободу помещичьих людей в крепостное

состояние (ранее существовала и такая практика).

Но и это оказалось еще далеко не всё. В августе 1816 года флигель-адъютант Павел Дмитриевич Киселев подал царю записку «О постепенном уничтожении рабства в России». Среди прочего она содержала предложение позволять «капиталистам» (так в документе) покупать у дворян имения, но при этом отношения крестьян с новыми владельцами должен был регулировать соответствующий закон. В ответ на эту записку Александр I сказал Киселеву: «Всего сделать вдруг нельзя; обстоятельства до нынешнего времени не позволяли заняться внутренними делами, как было бы желательно... Мы должны идти равными шагами с Европою... Вдруг всего не сделаешь, помощников нет. Я знаю, что способы есть чрезмерные. Россия может много, но на всё надо время»^{150}.

В том же году генерал-губернатором Малороссии был назначен Николай Григорьевич Репнин-Волконский, который после частного разговора с Александром I начал готовить отмену в крае крепостного права. Из этой затеи ничего не вышло, поскольку планам императора слишком упорно сопротивлялось малороссийское дворянство.

В 1816 году 65 помещиков Петербургской губернии через командира гвардейского корпуса Иллариона Васильевича Васильчикова обратились к царю с просьбой об утверждении созданного ими проекта освобождения крестьян. Между генералом и государем вышел интересный разговор. «Кому, — спросил Александр, — принадлежит законодательная власть в России?» Васильчиков ответил: «Без сомнения, вашему величеству как самодержцу империи». Александр возвысил голос: «Так предоставьте же мне издавать те законы, которые я считаю наиболее полезными для моих подданных»^{151}.

В 1817–1818 годах царь приказал, по крайней мере, двенадцати сановникам заняться проблемой отмены крепостного права, в том числе адмиралу Н. С. Мордвинову, министру финансов графу Д. А. Гурьеву и ректору Петербургского университета М. А. Балугьянскому. О серьезности намерений Александра I свидетельствует тот факт, что выработку одного из проектов он поручил Аракчееву, которому теперь доверял разрабатывать и осуществлять свои самые сокровенные замыслы. Кстати, проект Алексея Андреевича оказался едва ли не наиболее интересным.

Он предлагал начать широкую покупку помещичьих имений в казну, поскольку, с точки зрения графа, многие помещики будут рады избавиться от долгов по имениям (особенно в разоренных войной губерниях). Далее предполагалось сдавать купленную землю в аренду или нанять рабочих для

ведения полевых работ. На покупку имений Аракчеев рекомендовал выделять по пять миллионов рублей в год. Освобожденным крестьянам предписывалось давать по две десятины на ревизскую душу. Скажем честно, что перевод крепостных крестьян в государственные вряд ли можно назвать отменой крепостного права в полном смысле этого слова. К тому же подобный процесс затянулся бы на 150–200 лет, поскольку правительство могло бы на означенную сумму выкупать максимум 50 тысяч душ в год. Александр I одобрил проект любимца, но события как внутри России, так и за ее рубежами заставили отказаться от его осуществления. В 1818 году подобные проекты подали Алексей Федорович Малиновский и Егор Францевич Канкрин.

При этом монарх по-прежнему хотел оставаться во главе реформаторских процессов, только еще больше сомневался в необходимости для власти опираться при этом на общественное мнение. В 1820 году Николай Иванович Тургенев и князь Александр Сергеевич Меншиков попытались создать кружок аристократов, готовых освободить своих крепостных. Им удалось привлечь к своей затее князя Михаила Семеновича Воронцова, князя Николая Григорьевича Вяземского, графа Северина Потоцкого и др. Вместе они владели более чем сотней тысяч крестьян. Александр I, то ли ревнуя к инициативе подданных, то ли опасаясь ее, заявил, что ни кружков, ни комитетов создавать не нужно, достаточно каждому из помещиков в отдельности подать прошение на имя министра внутренних дел. На этом всё и закончилось. Вернее, не совсем закончилось, поскольку данная акция стала своеобразным сигналом к отказу от каких бы то ни было либеральных реформ в деревне. Жозеф де Местр так объяснил очередной поворот в политике Зимнего дворца: «Рабство существует в России потому, что оно необходимо, и потому, что Император не может без него существовать... Каждый дворянин есть, в сущности, гражданский чиновник, назначаемый следить за порядком на своих землях и облеченный всею необходимою для подавления мятежных порывов властью. Если устранить сию власть, что останется у монарха для поддержания спокойствия?»^{152}

Необходимо упомянуть еще об одной, очень необычной попытке Александра I приступить к решению крестьянского вопроса. Речь, конечно, идет об организации военных поселений. Еще до войны 1812 года император ознакомился с брошюрой французского генерала Ж. М. Сервала «Солдат-гражданин, или Патриотический взгляд на самый надежный способ обеспечить оборону королевства». В ней развивалась концепция появления «солдата-земледелца», позволявшая армии стать в

значительной степени самодостаточной и заметно меньше обременять государственный бюджет. Александр пленился данной утопией, и вряд ли стоит этому удивляться, ведь она обещала снизить стоимость содержания армии, облегчить положение солдат, достойно обеспечить старослужащих (надо сказать, что экономически военные поселения оказались, в конце концов, вполне успешны — к 1824 году они накопили 26 миллионов рублей).

Император вполне мог полагать, что, вводя военные поселения, он не просто решает насущные задачи реорганизации армии, но и делает определенные шаги к будущему решению крестьянского вопроса. Ведь одним ударом уничтожалась ненавистная народу рекрутская повинность, а помещичьи крестьяне, став поселенцами, теряли статус крепостных. Недаром же сохранилось предание о том, что однажды, находясь у Нарышкиной, Александр I якобы взял в руки икону и поклялся уничтожить крепостное право^{153}. Интересно, что поначалу даже известный антикрепостник адмирал Н. С. Мордвинов одобрил идею организации военных поселений, более того, подал монарху записку о необходимости их скорейшего устройства. Теоретически-то идея казалась не только разумной, но даже благородной: проявлялась забота о солдатах, разгружался государственный бюджет, на западных границах империи образовывался надежный щит от возможной агрессии извне. А вот Аракчеев был против этой затеи, опасаясь, что данная мера приведет к возрождению слоя старозаветных стрельцов, превратившихся в конце концов не столько в грозную военную силу, сколько в опасное оружие в руках политических авантюристов.

Между тем военные поселения устраивались во многом по образцу того регламента, который устанавливался самим Алексеем Андреевичем в Грузии. Граф, как уже упоминалось, являлся фанатиком формального, внешнего порядка. Скажем, в интересах сохранения чистоты приусадебных участков и улиц он запрещал своим крестьянам держать свиней. Если же кто-то всё же хотел завести хавроний, то должен был получить у барина специальный билет и обязывался не выпускать их со двора. Дома в Грузии строились однотипные, вытягивались в струнку, покрашенные «веселенькой» розовой краской, не имели никаких необходимых в крестьянском хозяйстве пристроек (они, по мнению помещика, портили симметрию). Покоренный чистотой Грузина и порядками, царившими в нем, Александр начиная с 1801 года посетил вотчину Аракчеева 12 (!) раз.

Впрочем, дело не только во внешнем порядке. Обратимся к инструкции, составленной Алексеем Андреевичем по поводу обращения с

крепостными. «В понятии моем, — говорилось в документе, — помещик, или владелец, обязан по праву человечества наблюдать следующие правила: 1) не мыслить о своем обогащении, а более заботиться о благосостоянии крестьян, вверенных Богом и правительством его попечению; 2) доходы, с них получаемые всегда ценою пота и крови их, обращать главнейше на улучшение их положения»^{154}. Очень дельно и даже гуманно. Парадокс заключался в том, что чем больше рос достаток аракчеевских крестьян, тем сильнее они ненавидели своего неугомонного в строгости барина. Для них регламентация и интенсификация труда представлялись (да во многом и были) мучением и тиранством.

Данные порядки, только в многократно гипертрофированном виде, были перенесены на военные поселения, учрежденные в Новгородской, Могилевской, Слободско-Украинской, Херсонской и Екатеринославской губерниях. С 1816 года в разряд поселенцев перевели 150 тысяч солдат и почти 400 тысяч государственных крестьян. При этом они получили многочисленные льготы: освобождались от государственных податей и надзора земской полиции, снабжались определенным количеством муки и других продуктов из запасов Военного министерства. Поселяне обеспечивались бесплатным медицинским обслуживанием в специально выстроенных госпиталях, получали добротные дома с необходимыми хозяйственными постройками и участком земли под огороды, им выплачивалось жалованье от казны и гарантировалась государственная помощь на случай неурожая или падежа скота.

Однако нагрузки, легшие на плечи военных поселян, оказались бесчеловечными и непереносимыми: кормить и одевать себя, выполнять разные строительные и пашенные работы и при этом ежедневно маршировать на плацу, участвовать в учениях и походах. Человек одновременно оказывался солдатом, крестьянином и рабочим, вынужденным неукоснительно соблюдать установленный порядок. Да, в военных поселениях прекратились хулиганство, воровство, пьянство и прочие безобразия. Исчезла практика, при которой полковники и генералы использовали солдат для работ у себя в поместьях (кто бы мог подумать, что такое вообще случалось?!). В поселениях вводились агротехнические новшества, развивались ремесла, появились шоссе, дома связи, школы, церкви, но...

Дети поселян с шестилетнего возраста зачислялись в разряд кантонистов, а с восьми лет должны были посещать школу, где их обучали чтению, письму, счету и началам других предметов, а также разным ремеслам. Обучение продолжалось до шестнадцати-восемнадцати лет, а

дальше юношей ждала беспросветная солдатчина. В целях всеобъемлющего единства в каждом доме печи затапливались утром в одно и то же время и хозяйки начинали готовить одни и те же блюда (меню на каждый день, обязательное для всех, диктовалось «сверху»). Необычно выглядело образование новых супружеских пар поселян. Опираясь на известную поговорку «Браки заключаются на небесах», Аракчеев приказал составлять списки женихов (последние обязательно должны были знать наизусть основные молитвы), а потом им по жребию (чувства в расчет не принимались) доставались невесты. Совершенным чудом регламентации выглядели также «Краткие правила для матерей-крестьянок», учившие их правильному пеленанию и кормлению младенца. Они оказались не такими уж краткими, как-никак насчитывали 36 параграфов, требовавших обращения с ребенком, как с оружием на плацу, по разделениям: «Делай раз! Делай два!» — и так далее, до полного успеха задуманного.

Теоретически наставления Аракчеева были разумны, нравственны и имели своей целью ограждение поселян от всевозможных глупостей и правонарушений. Однако граф настолько увлекся регламентацией жизни подчиненных, что она перестала быть их личной жизнью. У поселян пропадало естественное, инстинктивное понимание добра и зла, они переставали их различать, поскольку вместо этого от них требовалось простое выполнение параграфов инструкций. Военные поселения круто меняли привычную, устоявшуюся, пусть и не слишком счастливую жизнь крестьян, а для русского человека это являлось, пожалуй, наиболее трагичным, особенно в сочетании с теми требованиями порядка и аккуратности (в устах поселян последнее превратилось в «уккуратность» и звучало как ругательство или страшилка), которые предъявлял к ним Аракчеев.

Неудивительно, что поселяне при малейшей возможности старались пожаловаться на свое положение любому члену царствующей фамилии. С их челобитными были знакомы и великие князья Николай и Константин, и вдовствующая императрица Мария Федоровна. Жалобы были однотипными, звучали примерно так: прибавь нам подать, требуй от каждого дома сына на службу, отбери у нас всё и выведи нас в степь. Мы охотнее согласимся на это, у нас есть руки, мы и там примемся работать и будем жить счастливо; но не тронь нашей одежды, обычаев отцов наших, не делай нас солдатами! Жалобы не встречали никакого сочувствия, и тогда у поселенцев оставалось только одно средство протеста — бунт.

В июне 1819 года вспыхнуло крупнейшее восстание военных поселян в Украине, в окрестностях города Чугуева. 28 тысяч человек изгоняли, а то

и избивали офицеров, требовали вернуть им пашни и отменить военные поселения. Восстание пришлось подавлять силами тридцати одного армейского батальона, были арестованы 2003 человека, под суд отданы 313. В отношении 275 подсудимых был вынесен смертный приговор, который Александр I «гуманно» заменил двенадцатью тысячами ударов шпицрутенами каждому (160 человек наказанных умерли в мучениях). Вообще на любые беспорядки в поселениях монарх реагировал необычайно жестко: «Они будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова (одного из центров военных поселений в Новгородской губернии. — Л. Л.)»^{155}.

Александр, видимо, казалось, что организацией военных поселений он действительно решает сразу несколько важнейших государственных проблем. Современники же думали совершенно по-иному. Н. И. Тургенев писал: «К несчастью, когда речь заходила о решении крестьянского вопроса, Александр никогда не проявлял настойчивости, которой требовала обширность задачи. Возможно, в начале правления его благородные намерения не встретили того сочувствия, какого заслуживали... В конце царствования Александра общественное мнение было в куда большей степени проникнуто либеральными устремлениями, чем в первые годы, но теперь их не разделял император: нация шла вперед, государь же, наоборот, двигался вспять»^{156}.

Не лучше обстояло дело и со второй основной проблемой александровского царствования — введением в России представительного правления. На первый взгляд момент для принятия конституции был самый подходящий. «По окончании Отечественной войны, — свидетельствовал Сергей Петрович Трубецкой, — имя Александра гремело во всем просвещенном мире; народы и государи, пораженные его великодушием, предавали судьбу свою его воле; Россия гордилась им и ожидала от него новой для себя судьбы... Эпоха самостоятельности настала. Оставалось вкусить плодов этого положения»^{157}. Однако вскоре радужные надежды сменились разочарованием (правда, всё еще смешанным с робкими ожиданиями перемен).

«Император, — записывал Ж. де Местр в 1816 году, — стал жестким и даже тяжелым. Он подавляет всех вокруг. Его дурной нрав более чем оправдан, и всё-таки это истинное несчастье. Успехи, достигнутые в чужих краях, сделали его настолько самоуверенным, что он уже ни в чем более не сомневается»^{158}. Впечатление убежденного консерватора и монархиста де Местра удивительным образом совпадает с мнением закоренелого

республиканца Ивана Дмитриевича Якушкина, описывавшего вступление гвардии в столицу: «...Наконец показался император. Мы им любовались; но в самую эту минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик... Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя»^{159}.

И всё же, всё же... Александр Павлович постоянно сталкивался с проблемой реализации той или иной реформы. Как можно было отказаться от части своих привилегий, когда даже так называемое просвещенное общество застыло в явном непонимании необходимости перемен? Он вполне мог бы согласиться с мнением Пушкина, высказанным в письме Петру Яковлевичу Чаадаеву (правда, уже в 1836 году). «Надо было бы прибавить... правительство всё еще единственный Европейец в России... И сколь бы грубо (и цинично) оно ни было, только от него зависело бы стать во сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания»^{160}. Не желая добровольно отказываться от самодержавия, Александр I не исключал потенциальной возможности превратиться из самодержавного монарха в конституционного. Допуская такое развитие событий, он хотел подготовиться к нему заранее, разработав проекты основополагающих законодательных актов.

В 1815 году Александр I, по свидетельству князя Александра Борисовича Куракина, изволил «публично изъясняться насчет нынешнего внутреннего государственного устройства», заявив, что его совершенствование и будет теперь главной задачей. Однако это всего лишь слова, а вот последовавшие за ними действия монарха шокировали подданных. В ноябре 1815 года Александр Павлович подписал конституцию, дарованную им Польше (кстати, крепостное право здесь было отменено Наполеоном еще в 1807 году в связи с введением новой польской конституции). Не решаясь объявить о конституционном устройстве на территории всей империи, Александр решил начать своеобразный эксперимент на ее западном крае, наиболее, с монаршей точки зрения, подготовленном к введению представительного правления. Самое интересное и даже в некоторой степени скандальное случилось в марте 1818 года, когда Александр произнес речь на открытии Польского сейма.

Отклики на нее оказались в обществе весьма разнообразными. Озадаченный ею генерал Арсений Андреевич Закревский писал своему другу и коллеге П. Д. Киселеву: «Речь государя, на сейме говоренная,

прекрасная, но последствия для России могут быть ужаснейшие, что ты из смысла оной легко усмотришь... Я не ждал, чтобы он так скоро свои мысли по сему предмету объявил»^{161}. Гораздо более озабоченным выглядел Сперанский в письме Аркадию Алексеевичу Столыпину: «...хотя теперь всё еще здесь (в Пензе. — Л. Л.) спокойно, но за спокойствие сие долго ручаться невозможно... тогда родится или, лучше сказать, утвердится (ибо оно уже существует) общее в черном народе мнение, что правительство не только хочет даровать свободу, но оно ее уже давно даровало и что одни только помещики не допускают или таят ее провозглашение.

Что за этим последует, вообразить ужасно, но всякому понятно»^{162}.

Многие современники действительно были уверены, что Александр для упрочения своей власти был готов пойти на самые радикальные преобразования в социальной сфере. Что же в «польской речи» монарха так взволновало его подданных? Наверное, в частности, следующий пассаж: «Образование, существующее в вашем краю, дозволило мне ввести немедленно то правление, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законносвободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений и которых спасительное влияние надеюсь с помощью Божией распространить на все страны, Провидением попечению моему вверенные. Таким образом, вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже с давних пор ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости»^{163}.

На тех подданных, которые были настроены либерально, речь Александра произвела двойственное впечатление. Будущий декабрист С. Г. Волконский писал: «...слова его о намерении распространить и в России вводимый им конституционный порядок управления произвели сильное впечатление в моем сердце, как по любви моей к отечеству, так и по желанию моему, чтоб отечество выдвинулось из грязной колеи внутреннего своего бытия»^{164}. С другой стороны, многих «либералистов» обидело то, что в качестве примера для России монарх выбрал Польшу, считая польскую шляхту более просвещенной, чем русское дворянство. Сам же Александр Павлович писал по поводу этой речи своему давнему confidentу, члену Государственного совета Родиону Александровичу Кошелеву: «Будучи совершенно неопытным и отлично чувствуя, как трудно мое положение и насколько нелегко может быть исправлено то, что я едва ли не в первый раз в жизни собирался возвестить с высоты трона перед лицом всей Европы, я обратился к Спасителю, и он внушил мне то, что

вылилось из-под моего пера»^{165}. (Правда, в основном перо-то было Ивана Антоновича Каподистрии, составлявшего проект речи; но руку к документу монарх, безусловно, приложил основательно.)

Между тем, вопреки ожиданиям, наместником российского императора, остававшегося и королем Польши, стал не Адам Чарторыйский, а престарелый и во всём послушный Петербургу генерал Юзеф Зайончек. Полномочным представителем монарха в Варшаве назначили Н. Н. Новосильцева, а главнокомандующим 35-тысячной польской армией — великого князя Константина Павловича. Широко распространились слухи, что Александр хотел присоединить к конституционной Польше земли, отнятые во время разделов Речи Посполитой в 1772–1793—1795 годах. Дыма без огня, как известно, не бывает. Одной из собеседниц, которая со слезами на глазах просила монарха не делать этого, Александр ответил: «Нет и нет. Я даже этого не оставлю России! И, в конце концов, в чем, по-вашему, зло этого отделения? Разве Россия без этих губерний недостаточно велика?»^{166} (Тогда же Александр вновь вспомнит о событиях 1789–1793 годов в Париже и укажет на необходимость разграничить принципы революции и ее преступления^{167}.)

Вообще идеи конституции и введения представительного правления с успехом шествовали в то время не только по России, но и по всей Европе, причем зачастую по инициативе именно русского царя. В 1814 году была установлена конституционная монархия во Франции, конституционное устройство возникло в некоторых германских княжествах, вновь подтверждена шведская конституция. В самой Российской империи продолжала действовать конституция, данная Финляндии (1809), а в апреле 1818 года был обнародован «Устав преобразования Бессарабской области», определявший особый режим автономного самоуправления; таким образом, Бессарабия, присоединенная после войны с Турцией по Бухарестскому договору (1812), тоже получила некие конституционные начала, пусть и в меньшей степени, чем Польша или Финляндия.

1818–1819 годы были последним всплеском откровенного александровского либерализма. Именно в эти годы вышли статья преподавателя Царскосельского лицея А. П. Куницына «О конституции» и другие явно либеральные произведения. В первом номере «Духа журналов» за 1819 год была опубликована статья «Дух времени», в которой говорилось о преимуществах парламентского строя по сравнению с абсолютистским. Знаменитая варшавская речь императора была переведена на русский язык

и появилась в газетах, за что министр внутренних дел, поторопившийся с напечатанием документа, немедленно получил выговор^[168]. Иными словами, с точки зрения Зимнего дворца, традиционная организация власти в 1810-х годах безнадежно устарела. Действительно, смешение функций различных частей государственного аппарата, отсутствие контроля за исполнением правительственных решений, разрыв между издаваемыми законами и их исполнением, произвол и повсеместная коррупция делали необходимым проведение коренных преобразований.

Именно поэтому западными регионами страны дело не ограничилось. В 1819 году начался эксперимент в центре России, где было создано Рязанское генерал-губернаторство, включавшее Воронеж, Рязань, Орел, Тамбов, Тулу и живущее по новым правилам. Генерал-губернатором в Рязань был назначен А. Д. Балашов, который получил право предлагать любые новшества в деле государственного управления, но утверждать их должен был Александр I. Эксперимент закончился полным провалом, поскольку Балашов, бывший министр полиции, ничего вразумительного не предлагал, зато постоянно жаловался на недостаток знающих и способных сотрудников.

Впрочем, если припомнить знаменитую фразу императора по поводу намечавшихся реформ: «Некем взять», то придется согласиться с тем, что в оценке кадровой ситуации Балашов был далеко не одинок. Да и взгляды самого Александра Павловича менялись довольно значительно. В мемуарах австрийского канцлера Клеменса фон Меттерниха приводятся слова российского монарха, якобы сказанные ему: «Вы не понимаете, почему я теперь не тот, что прежде; я вам это объясню. Между 1813 годом и 1820 протекло семь лет, и эти семь лет кажутся мне веком. В 1820 году я ни за что не сделаю того, что совершил в 1813. Не вы изменились, а я. Вам не в чем раскаиваться; не могу сказать того же про себя»^[169]. Спустя еще год выход из положения был найден — не оригинальный, но безотказный. В одном из кратких разговоров с вернувшимся в столицу Сперанским царь сказал, что с реформами торопиться не следует, однако для тех, «кои их желают, иметь вид, что ими занимаются». Но для этого нехитрого отвода глаз тех, кто жаждал перемен, время придет несколько позже.

Между тем еще в 1814 году В. П. Кочубей подал Александру I записку «О положении империи и о мерах к прекращению беспорядков и введению лучшего устройства в разные области, правительство составляющие». Он предлагал произвести четкое разделение властей, уменьшить число министерств и установить четкое взаимодействие министерств с

Комитетом министров. В 1815 году последовала записка Д. А. Гурьева «Об устройстве верховных правительств в России», по сути повторявшая предложения Кочубея. В том же году политическими вопросами озаботился и Аракчеев, написавший проект «О министерском комитете». В нем предлагалось наделить председателя Комитета министров исключительными полномочиями, чтобы он мог не только назначать собрания и определять порядок слушания дел, но и указывать министрам на их недоработки. Кроме того, предлагалось выносить на рассмотрение царя не все дела, а только те, по которым обнаруживалось серьезное несогласие министра с решением комитета.

Александрю такой подход понравиться не мог. Ведь с 1818 года в Варшаве, в канцелярии Новосильцева, по заданию монарха шла работа по составлению «Государственной уставной грамоты Российской империи». «Грамота» была окончательно готова к 1820 году и выглядела очередной попыткой соединить самодержавие с конституционной системой. Согласно ей, верховным главой общего управления являлся государь. Законодательную власть он должен был осуществлять вместе с Государственным сеймом (думой). Исполнительной властью наделялся Государственный совет, включавший в себя не только Комитет министров, но и Общее собрание некоего Правительственного совета. Судебная власть сосредоточивалась в Верховном суде, апелляционных судах и судах первой инстанции. Подданные Александра должны были получить широкие гражданские права и свободы. Однако общий характер документа оставался патримониальным, поскольку единственным источником всех властей объявлялся монарх.

Александр I одобрил окончательный вариант «Уставной грамоты», но Россия об этом в те годы так и не узнала. Документ оказался настолько засекреченным, что о его существовании даже членам императорской фамилии стало известно только в начале 1830-х годов, когда восставшие поляки обнаружили его в бумагах канцелярии Новосильцева и опубликовали в газете (экземпляры этой газеты правительство Николая I скупало или арестовывало и сжигало). Один из главных разработчиков «Уставной грамоты» П. А. Вяземский, отчаявшись увидеть свое детище проведенным в жизнь, писал А. И. Тургеневу в 1820 году: «Самовластие по всей своей дикости нигде так не уродствует, как здесь... Здесь преподается систематический курс посрамления достоинства человека, и кто успешно выдержит полный опыт, тот смело может выдать себя за отборного подлеца и никакого соперничества в науке подлости не страшится»^{170}. Современный историк С. В. Мироненко менее эмоционален, однако и он не

находит поводов для оптимизма: «Время летело, один год сменял другой, а реформаторские замыслы и внутренняя политика правительства оставались как бы двумя параллельными линиями, которым так и не суждено было соединиться в самой отдаленной точке»^{171}.

Чтобы закончить разговор о противоречивом «времени Аракчеева», посмотрим, какую роль в происходившем играл граф Алексей Андреевич, тем более что его отношения с монархом в 1810-х — начале 1820-х годов до сих пор считаются темой достаточно дискуссионной. Думается, что первоначальная причина неверных оценок этих отношений заключалась в том, что многие современники событий не понимали, почему так возвысился именно Аракчеев. Супруга великого князя (а затем императора) Николая Павловича писала по этому поводу: «Я никогда не могла понять, каким образом он (Аракчеев. — Л. Л.) сумел удержаться в милости до самой кончины императора Александра»^{172}. Ей вторил декабрист Николай Иванович Лорер: «История еще не разъяснила нам причин, которые понудили Александра — исключительно европейца 19-го столетия, человека образованного, с изящными манерами... — отдаться, или лучше сказать, так сильно привязаться к капралу павловского времени, человеку грубому, необразованному»^{173}.

Полагали, что Александр I, утомленный многолетним царствованием, а может быть, уставший от внутренних неурядиц, впал в апатию, а потому передал управление страной Аракчееву. Бытовало и другое мнение, будто царь оставался всеми мыслями в Европе, считая, что, если ему удастся обустроить жизнь континента на новых основаниях, то в России дела сами собой наладятся. Александр действительно говорил, что Россия должна «идти одинаковыми шагами с Европой», что страна настолько просветилась, что не может оставаться в прежнем положении. Правда, одновременно он сетовал, что не может найти и пятидесяти двух достойных губернаторов, что ему не хватает просвещенных и опытных помощников. И в этой ситуации на роль государева ока и государевой руки, с его точки зрения, более других подходил именно Аракчеев.

А почему бы, собственно, и нет? Алексей Андреевич руководствовался уникальным правилом: каждый должен уметь делать всё, что ему прикажут, независимо от подготовки и опыта. Он мог с успехом вести государственные дела самого разного толка, поскольку имел хорошую голову и золотые в работе руки. Беда заключалась в другом. Хитрый, ловкий, умелый, жестокий, чуткий к переменам политических и придворных дуновений, он был кем угодно, но не государственным

деятелем. Его деловитость, по справедливому замечанию А. А. Кизеветтера, основывалась не на внутреннем влечении к общему благополучию, а на желании укрепить собственные позиции при дворе. Поэтому, если ему приказывали подготовить проект отмены крепостного права, он становился эмансипатором, если же ставили во главе военных поселений — делался грозой и бичом для их обитателей.

А может быть, всё обстояло еще проще? Ведь говорил же Александр одному из своих флигель-адъютантов: «Ты не понимаешь, что такое для меня Аракчеев. Всё, что делается дурного, он берет на себя; всё хорошее приписывает мне»^{174}. Надежной ширмой для монарха в свое время служил Сперанский, позже ею — и еще более надежной — сделался Аракчеев. Дело не в недостатке у Александра Павловича мужества; человек, не обладающий им, не стал бы задумывать столь радикальных перемен в социально-политической жизни империи. Царь хотел сохранить себя и свою власть для благих свершений, и эта власть, как и ее носитель, должна была оставаться незапятнанной. Другое дело, что времена очевидно и неотвратимо менялись.

Общественное мнение стало обращать внимание не только на то, кто и как обласкан царской милостью, но и на то — и это в глазах людей становилось гораздо важнее, — что именно человек сделал для достижения успеха, какими путями шел и какие средства использовал. Самодержавная власть императора не распространялась ни на общественное мнение, ни тем более на оценку Истории. Может быть, поэтому Александр Павлович недолюбливал популярных людей, он сам желал раздавать репутации по собственному разумению, а избранники общественного мнения проникали на скрижали Истории без спроса, вне очереди и становились чуть ли не вровень с монархом.

В восприятии массы дворян и недворян все удачи и несчастья во внутренней и внешней политике, несмотря на любые «ширмы», всё равно связывались с именем Александра I. От этого зависел рост или падение авторитета его правительства и его правления. Поэтому возвышение Аракчеева и абсолютное доверие к нему царя мало способствовали увеличению популярности политики Зимнего дворца. Причем оценки современников колебались от полного ее неприятия до попыток объяснить сложившуюся ситуацию. «Нас, — писал П. А. Вяземский, — морочат и только; великодушных намерений на дне его сердца нет ни на грош. Хоть сто лет живи, царствование его кончится парадом и только»^{175}. Совершенно иначе относился к происходившему в стране Н. И. Тургенев:

«Мне часто казалось, что император Александр с трудом выносил бремя своего сана и колоссальной власти, которой его облек случай; я убежден, что полнота этой власти нередко стесняла его, и если бы он твердо решил сбросить ее иго, ему бы сравнительно легко это сделать. Он не мог постоянно быть самодержцем, иногда ему хотелось побыть человеком»^{176}.

Оба эти свидетельства, при всех отличиях, говорят, в сущности, об одном и том же: по личным или объективным причинам Александр якобы передал свою власть Аракчееву, подчинился его влиянию, в чем в свое время было отказано Сперанскому. Алексей Андреевич сделался в глазах потомков таким личным демоном императора, сбившим его с пути истинного. Этот миф оказался на редкость живучим, хотя правды в нем не было ни на гран. Аракчеев никогда и ни в чем не руководил Александром Павловичем, да и самостоятельность графа в государственных делах была весьма относительной. Известно, что его ставленник Петр Андреевич Клейнмихель, разбиравший после смерти Аракчеева бумаги покойного, обнаружил, что черновики подавляющего большинства распоряжений и указов фаворита написаны собственной рукой Александра I или содержат его принципиальные пометы.

Дело в другом. Император пытался совместить чрезвычайно разнородные и противоречивые вещи. Искреннее желание дать России конституцию странным образом совмещалось у него с военными поселениями; неприятие крепостного права — с крепостническими распоряжениями; жалобы на отсутствие реформаторов — с последовательным удалением от престола людей независимых и мыслящих. Как писал В. О. Ключевский, «самое ограничение произвола у него выходило произволом же. Это был носитель самодержавия, себя стыдящийся, но от себя не отрекавшийся»^{177}.

Аракчеев же... В конце апреля 1826 года он уволился в отпуск по болезни и отправился в Европу. К тому времени у графа было конфисковано 18 переплетенных томов адресованных ему писем Александра I; часть царских посланий Алексей Андреевич успел опубликовать за границей, некоторые всё-таки утаил от новой власти и оставил у себя. На службу он больше не вернулся, назначив из собственных средств значительную премию тому исследователю, который напишет лучшую историю царствования Александра I к столетию смерти императора.

Новый игрок на политическом поле.

Часть вторая

Либерализм как политическое явление возник в Западной Европе в тесной связи с многовековым процессом становления гражданского общества, утверждением частной собственности, рыночной экономики, становлением «третьего сословия». Весь этот, назовем его цивилизационным, контекст в России отсутствовал или находился в зачаточном состоянии. Либерализм в ней стал не столько коренным, сколько верхушечным явлением, достоянием дворянства, а потому приобрел своеобразный, во всяком случае, далеко не классический характер.

В среде консервативно настроенной массы населения слово «либерал» в устах большинства дворянства довольно быстро приобрело оскорбительный характер, сделалось политическим клеймом. Вряд ли этому стоит удивляться, ведь с самим понятием свободы (в любом смысле этого слова) члены первого сословия в большинстве своем всегда связывали нечто исключительно бунтарское, мятежное, разрушительное. Для традиционалистов, не делавших никакого различия между свободой и волей, всегда стоявших на страже привычного самодержавия, либералом являлся каждый, кто хоть как-то пытался выказать свою индивидуальность, произнести не общепринятые слова, защитить не утвержденные Зимним дворцом понятия.

Для прогрессистов же всех оттенков свобода действительно являлась своего рода идеей фикс. Она была для них антонимом рабства, частновладельческого и государственного крепостничества, беззакония, несправедливости. Дело осложнялось тем, что проблемы прав человека и свободы личности решались в России совсем не на либеральном поле, а исключительно «сверху». Поэтому до начала 1820-х годов слишком многое способствовало иллюзии возможного постепенного проведения буржуазных реформ с помощью трона. Усилия большинства либералов были направлены на то, чтобы избежать произвола в отношении образованного и просвещенного общества и только в этом смысле ограничить самодержавие (хотя и это было совсем не мало). Ведь попытка ввести в российскую практику понятия безопасности личности, права собственности, собственного достоинства конечно же являлась определенным достижением правового сознания.

Как уже упоминалось, в Европе либеральные идеи вызревали в течение столетий, становясь частью самосознания всех слоев населения. В России же они формировались в верхушке общества и осознавались частью дворянства в качестве прежде всего *морального* долга. Не привитые народному сознанию, эти идеи оставались недостаточно жизнеспособными. Поэтому их существование и распространение во многом зависели от отношения к ним престола. Карамзин справедливо отмечал в письме П. А. Вяземскому: «25 лет мы, невинные и неподлые, жили мирно, не боясь ни тайной канцелярии, ни Сибири; скажем ему (Александру I. — Л. Л.) спасибо... Если он как человек не был лучше нас, то и мы все вместе не лучше его»^{178}.

Подобные совершенно справедливые соображения вызвали горький вывод исследователя И. Ф. Худушиной: «Однако в России испокон надеются сначала на честность государя, а уж потом на закон. Вот уже три века в России правосознание в дефиците. И что характерно — ничего не меняется. Движение по кругу: то оттепель, то нравственная стужа. И от принятия принципов либерализма населению России, кажется, всё так же далеко. Если мы отстаем от Европы не на три, а, допустим, на четыре столетия, то еще есть надежда, а если мы самобытны?»^{179} Оставим, однако, в стороне гадания историков и философов и обратимся вновь к общественно-политическим событиям первой четверти XIX века.

Авангард дворянского общества четко, до конца не определил своих политических позиций; во всяком случае, либерализм во взглядах его представителей тесно переплетался с радикализмом или с левым консерватизмом. При этом и либералы, и радикалы александровского времени опирались на более широкое течение, участников которого можно назвать свободолюбцами. Свободолюбие не являлось ясно выраженным политическим движением, объединяя в своих рядах людей, так или иначе протестующих против попыток верховной власти регламентировать все сферы жизни подданных. Здесь встречались и салонные ворчуны, настроенные более или менее радикально, и люди, до поры проявлявшие оппозиционность в «гусарстве» и молодечестве, то есть в нарушении общепринятых норм поведения, и чудаки-оригиналы, на которых все давно махнули рукой, позволяя им жить по собственному разумению.

Все виды этико-политической и поведенческой оппозиционности особенно ярко проявились в движении декабристов, ставшем одним из любимых объектов изучения историков. Это неудивительно, поскольку тип дворянского революционера александровского времени уникален,

декабристы, по словам историка С. П. Мельгунова, сумели «окрасить своим именем целую эпоху в жизни русской интеллигенции и определить на десятилетия основные моменты ее развития»^{180}. Какие же особенности радикализма данного периода необходимо отметить особо?

Войны с Наполеоном способствовали росту патриотического воодушевления, а также появлению чувства причастности к общему делу, ощущения равенства всех сословий, отстоявших отечество от захватчиков. В ходе этих войн и в результате Заграничных походов дворянство прониклось личной ответственностью за хаос, убожество, грубость российских социально-политических порядков. Появившаяся моральная ответственность, с одной стороны, и ободряющий пример западноевропейского бытия, воочию увиденного дворянской молодежью, с другой, звали к решительным действиям, заставляя прогрессистов пересматривать устоявшиеся представления отцов и дедов.

Именно в это время происходит решающее уточнение долга гражданина и дворянской чести. Знаковые понятия «император» и «отечество», ранее составлявшие для дворян единое целое, начинают распадаться, и каждое из них приобретает в глазах прогрессистов самостоятельное значение. Это оказалось весьма неприятным сюрпризом для верховной власти. В результате честь дворянина александровского царствования — это прежде всего гарантия независимости мысли и действий человека. Долг же гражданина — честное служение стране и народу, а не отдельному лицу. Данные понятия выросли одно из другого и, поддерживая друг друга, позволяли человеку почувствовать себя реальным политическим, а то и историческим деятелем.

После событий 1812–1815 годов многое начинает меняться внутри дворянского авангарда. Его радикальное крыло всё более обособляется и, пропитываясь революционными идеями, становится заметным общественно-политическим явлением. Каждый декабрист, безусловно, боролся за свободу народа и свою личную независимость, а значит, являлся свобододлюбцем. Но далеко не все свобододлюбцы автоматически становились декабристами. И те и другие отстаивали права человека на свободную мысль, не подвергающуюся мелочному контролю, на частную жизнь, выстроенную в соответствии с собственными представлениями о правильном и недопустимом. Однако многие свобододлюбцы оставались на либеральных позициях, да и в самом декабризме, еще полностью не отделившемся от либерализма, возникали серьезные сомнения в революционном образе действий. Кстати, эти сомнения, порожденные французскими событиями 1789–1793 годов, живо напоминали

размышления над ними Александра I.

Зарождение в России дворянской революционности знаменовало собой усиление принципиальных отличий «внуков» и «детей» начала XIX века от «дедов» и «отцов» конца предыдущего столетия. Понимание передовой молодежью своего предназначения, смутное видение картин светлого будущего, нежелание мириться с действительностью, оскорблявшей чувства просвещенного человека, привели к созданию тайных революционных обществ. Дворянские радикалы четко определили и сформулировали цели оппозиционного движения на несколько десятилетий, а то и на век вперед: уничтожение крепостного права во всех его проявлениях и абсолютной формы правления, установление гражданского равноправия и верховенства закона. Для достижения поставленных целей они предложили ряд тактических приемов: заговор (дворцовый переворот с целью возведения на престол монарха-реформатора), пропаганда собственных взглядов в различных слоях общества (воспитание общественного мнения в нужном радикалам направлении), военная революция (достижение переустройства общества исключительно с помощью армии).

Движение декабристов продемонстрировало на практике один из вариантов отражения на российской почве идей и событий Великой французской революции. Более того, их выступление стало трагическим финалом культа классического просветительства в российском общественном движении. Идеи Вольтера и его единомышленников, как оказалось, не стали панацеей от гражданских усобиц, кровавых переворотов и появления диктатора от революции. Эти идеи вообще не сумели доказать свою правоту ни на европейской, ни на российской почве. В результате либералы и радикалы 1830—1840-х годов получили от предшественников сложное «задание» — найти и привить к русской политической практике новую философскую и идеологическую базу оппозиционного движения. Однако это уже дела следующего царствования.

Дворянские же революционеры впервые поставили вопрос о социальном фундаменте радикального движения. Отвергая опору на крестьянские массы, они тщательно проработали проблему возможного союза прогрессистов с армией и с некоторыми представителями верховной власти. Само их движение явилось крайним выражением недовольства общества правящей элитой в начале XIX века, в тот момент, когда союз между властью и обществом теоретически был допустим. Отметим, что он вообще имеет шансы возникнуть лишь в те периоды истории, когда власть начинает задумывать и разрабатывать проекты реформ, которые

поддерживаются передовой частью общества. Возможное сотрудничество двух указанных сил строится на том довольно хрупком основании, что временами власть и передовая часть общества начинают двигаться в одном направлении. При этом решающее значение имеет степень доверия власти к обществу, а также поддержка, оказываемая тем или иным слоем общества преобразованиям, проводимым «сверху».

В случае с декабристами подобное доверие выглядело весьма проблематичным. Впервые Александра I известили о существовании тайного общества, насчитывавшего в своих рядах не только офицеров, но и многих высокопоставленных статских чиновников, в 1818 году. Это известие монарх оставил без ответа, а три года спустя объяснил свою позицию. В 1821 году командир Гвардейского корпуса генерал-лейтенант И. В. Васильчиков в Царском Селе при докладе императору предложил арестовать заговорщиков. Тот выслушал генерала, а затем сказал: «Если бы я был Васильчиков, я бы говорил так же, но, по совести, я должен сказать, что если все эти мысли так распространились, то я первый тому причиной»^{181}.

Приказ об аресте членов тайного общества Александр не отдал не только потому, что, по его словам, «не мне их судить», но и из-за страха перед судом Истории. Он совсем не желал повторить судьбу казненных королей Карла I в Англии или Людовика XVI во Франции, но и прослыть жестоким деспотом в памяти потомков не хотел. Именно об этом монарх говорил начальнику Главного штаба П. М. Волконскому: «Ты ничего не понимаешь, эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении; к тому же они имеют огромные средства; в прошлом году во время неурожая в Смоленской губернии они кормили целые уезды». Как уже говорилось, общественное мнение приобретало всё большее значение в жизни россиян.

Кроме того, из сообщений доносчиков, старавшихся перещеголять друг друга в глазах начальства, следовало, что в руках заговорщиков находилась чуть ли не половина Гвардейского корпуса, а также значительная часть армии; в их рядах, согласно тем же донесениям, состояли члены Государственного совета, сенаторы и другие высокопоставленные лица. В подобных условиях начавшиеся аресты заговорщиков могли вызвать даже не смуту, а полномасштабную гражданскую войну с абсолютно неясным исходом.

В работах значительной части историков выражается искреннее сожаление по поводу того, что Александр I и декабристы не сумели подать друг другу руки и действовать заодно. Действительно, как это ни

парадоксально, правительство и радикалы втайне друг от друга готовили проекты одних и тех же государственных преобразований (отмены крепостного права и введения конституции), исходя при этом из одной и той же посылки — «оседлать» возможную революцию и ввести ее в «цивилизованные» рамки. На наш взгляд, иной сценарий развития событий, чем сложившийся в реальности, вряд ли был возможен. Дело не только во взаимном недоверии монарха и радикалов, хотя и это немало. Не менее важно и то, что Александр Павлович не видел в декабристах серьезных союзников, поскольку большинство из них пребывали в обер-и штаб-офицерских чинах, а потому не представляли собой, в глазах императора, серьезной политической силы.

Он имел свой план действий, который и пытался провести в жизнь. Многие современники (и не только они) противопоставляли александровский либерализм его желанию навести порядок в стране и в Европе. На самом деле два этих желания прекрасно дополняли одно другое. Наведением порядка в верхних слоях общества занимался сам Александр Павлович со Сперанским. Аракчеев же должен был организовать крестьянские массы, превратив их в служилых людей (отсюда и идея военных поселений). Такая вот получалась «русская модель развития». Но тут необходимо сказать и еще об одном обстоятельстве. В противовес «разложившейся» гвардии император хотел иметь свою, подчиненную ему без оговорок армию для поддержки трона в ходе готовящихся преобразований. Не будем забывать, что даже в августе 1825 года Александр I в беседе с Карамзиным высказывал твердое намерение дать России основные законы, то есть конституцию.

Не менее важным представляется и то, что первая серьезная декабристская организация (1816) возникла тогда, когда Александр I стал разочаровываться в реальной политике, отдавая предпочтение религии и нравственному совершенствованию подданных. Дворянские радикалы еще планировали, мечтали и надеялись — а государь уже попробовал действовать и столкнулся с жестким сопротивлением дворянства (как он мог надеяться после этого на поддержку дворян-декабристов?). Они еще не колебались, когда Александр Павлович уже в полной мере испытывал сомнения и разочарования. Царь и передовая часть дворянства, можно сказать, заметно разошлись во времени надежд на лучшее, более справедливое социально-политическое устройство страны.

Следует отметить еще одно обстоятельство, связанное с движением декабристов. Как часто бывает в авторитарных государствах, у оппозиционеров (особенно радикалов) формируется зеркальная антитеза

государственной власти. Всеобщая централизация «сверху», ее мощное давление на общество приводят к появлению схожих по структуре и принципам теории и практики у революционеров. Далее в их среде рождается и набирает силу представление и об организационной антитезе власти (создание тайного общества, тактика захвата власти для насильственного «осчастливливания» населения, создание нового, не менее централизованного, чем прежнее, но «справедливого» государства).

В среде дворянских революционеров все указанные особенности радикализма присутствовали, но находились еще в зачаточном состоянии, были не столько диктующей свою волю реальностью, сколько одной из возможностей развития радикализма. От «поглощенности идеями» декабристов спасло не только то, что они, будучи первыми, не доросли, не додумались до более жестких требований к власти и более четкой организации своих сил, но и особый нравственный облик их движения. Современник с удивлением отмечал: «При нем (представителе дворянского авангарда. — Л. Л.) как-то нельзя, неловко было отдаваться ежедневной низости. При его появлении всякий как-то невольно нравственно и умственно осматривался, прибирался и охорашивался».

Радикалы первой четверти XIX века как истинные интеллигенты предпочли остаться внутренне свободными, но не подстраивать под объективные обстоятельства свои субъективные чувства и понятия долга гражданина, справедливости и чести, не подменять нормы морали и человечности требованиями политической целесообразности. Для интеллигенции того времени хорошо обоснованные сомнения оказались важнее, чем не менее обоснованные утверждения, а потому и нравственность средств ценнее, чем яркие, но сиюминутные триумфы. Автор глубоких исторических романов М. А. Алданов писал: «Есть два вида революций. Одни развиваются грозно, длятся годами, добиваются того, что считают успехом. Другие гибнут в самом начале — и, быть может, они-то и есть самые возвышенные революции. Они не знали страшного испытания удачей...»^{182}

Нравственные мотивы в движении декабристов особенно заметны, когда речь заходит о спорах между дворянскими революционерами по поводу формы вооруженного восстания и методов проведения преобразований после его победы. Они ясно ощущали как губительность проводимого правительством курса, так и опасность гражданской усабицы или установления диктатуры от революции. Кондратий Федорович Рылеев говорил: «Никакое общество не имеет права вводить насильно в своем отечестве нового образца правления, сколь бы оный ни казался

превосходным... его должно предоставить выборным от народа представителям, решению коих повиноваться беспрекословно есть обязанность каждого»^{183}.

Декабристы остановились перед тем парадоксом, что идеалы всегда и везде, так или иначе подменяются насилием. Не найдя его решения, они не отважились овладеть властью столь дорогой ценой. Александр же... Он четверть века искал альтернативу революции, но в результате утратил поддержку и доверие как консерваторов, так и либералов с радикалами.

Безвременье

Нет-нет, время не остановилось и даже не замедлило свой бег ни в самобытно развивавшейся России, ни в мире в целом. Шелест перелистываемых страниц календарей отмечал смену дней, месяцев, лет. Мало что изменилось в ближайшем окружении монарха — Сперанский вернулся в Петербург, хотя уже не входил в число особо доверенных лиц, и Аракчеев оставался на месте. Вот только что-то произошло с жизненными (точнее, ценностными) ориентирами нашего героя. Произошло не вдруг, а понемногу, исподволь, на фоне важнейших событий как внутри страны, так и за рубежом. С чего же всё началось и как выглядело (о причинах поговорим чуть позже)?

Отсчет, наверное, надо вести с событиями Отечественной войны 1812 года, в ходе которой подданные по-новому оценили своего императора. В их глазах Александр сделался человеком, твердо отстаивающим свои позиции несмотря ни на какие тяжелые испытания. Позже он предстал уверенным в своей непогрешимости вождем, с которым бесполезно и опасно спорить и препираться.

Для самого же монарха этот год стал временем перелома, прежде всего в его религиозном сознании. Он был уверен, что Наполеона победила не армия и даже не суровый климат. По его представлению, на заснеженных полях России произошел суд Божий, а потому Промысел Всевышнего и является главным героем и незабываемым итогом войны 1812 года. Но если война была ниспослана Провидением, то кто из смертных может воздать должное народу, которого Бог избрал своим орудием? Русский народ и его правитель выполнили мессианскую функцию, а потому они должны этим гордиться и смиренно благодарить Творца. Из подобных размышлений рождается и надпись на медали, отчеканенной в честь победы: «Не нам, не нам, а имени Твоему», подчеркивавшая значимость события и его

божественную суть.

После Заграничных походов русской армии религиозные настроения у Александра Павловича заметно усилились. Многие современники отметили, что он вернулся в Россию более замкнутым, нелюдимым, задумчивым и раздражительным. Кто-то посчитал, что все перемены в государе объясняются гордостью, вызванной окончательной победой над Наполеоном и завоеванием лидирующего положения в Европе. Кто-то в качестве основной причины выдвигал растерянность царя перед сложнейшими задачами, стоявшими перед страной и континентом.

Однако, на наш взгляд, дело было не только и не столько в этом. Нельзя не заметить изменения в отношении к религии, а также к вопросам нравственного развития и совершенствования человека, которое происходило в душе Александра I. Справедливо замечает американский историк Р. С. Уортман: «После Наполеоновских войн его взор обратился к небесам и, не оставляя надежду на реформы, он начал стремиться скорее к духовному, чем к земному совершенствованию жизни своих подданных»^[184]. Помимо прочего, это означало резкое изменение героического образа русского государя, пытающегося преобразовать свою империю в соответствии с вновь открывшимися перед ним идеалами и перспективами. Древнеримский стоик превращался в смиренного искателя Высшей правды.

Подобный перелом не мог произойти без мучительных переживаний, без упорных поисков подлинной религиозной истины. Поначалу православные архиереи в пышных одеяниях, украшенных панагиями и орденами, виделись Александру представителями всё той же надоевшей ему государственности, которая неустанно напоминала о екатерининских и павловских временах. Как уже отмечалось, это торжественное отрежиссированное великолепие двора было для него бессмысленным и труднопереносимым. И наоборот, идеи, проповедуемые мистиками и различного рода христианскими сектантами, необычайно гармонировали с его давними мечтами и сентиментальными представлениями, постепенно получавшими налет становившегося модным романтизма.

В 1813 году, будучи в Силезии, монарх посещает колонию протестантов-гернгутеров^[6], уверявших, что их вера возникла во времена Кирилла и Мефодия и освящена этими святыми. По мнению гернгутеров, их собрат Петр Валдус в свое время успешно боролся с мраком папского заблуждения, сам Ян Гус принадлежал к их братству, но потом многие забыли о духовных подвигах этих героев, а потому истинно верующими

остались только чешские (моравские) братья. Они отвергали пышные обряды и даже сами церковные строения, считали иконы признаком идолопоклонства и не верили во многих провозглашенных Церковью святых. Братья молились в уединении и никаких посредников при общении с Богом не признавали. Главным для них было евангельское учение о нравственности и повсеместном присутствии Святого Духа, продиктованное самим Всевышним.

Эта вера понравилась Александру Павловичу своей простотой и отсутствием пышных обрядов, но, прежде чем думать о том, как сделать русских крестьян гернгутерами, он захотел познакомиться и с другими ответвлениями христианства. В 1814 году государь встретился в Лондоне с представителями квакеров^[7] и, выслушав их, согласился с тем, что обряды совсем не обязательны, молиться можно и про себя, а главное служение Богу является чисто духовным. В 1818-м те же квакеры приехали в Петербург специально для того, чтобы помолиться вместе с императором. При расставании растроганный монарх даже поцеловал руку у одного из руководителей квакеров. Они встречались и в 1822 году, и в 1824-м, но былой теплоты между ними уже не возникало, может быть потому, что религиозные взгляды и предпочтения Александра заметно изменились. Одновременно (1814–1815) монарх не без подсказки фрейлины Р. С. Стурдза увлекся пророчествами баронессы Варвары Юлианы фон Крюденер.

Эта необычная женщина рассказывала ему о своих видениях, уверяла, что знает судьбу мира, в частности, что царь Севера победит царя Юга и зло будет наказано. Одновременно баронесса упрекала Александра за гордыню и обвиняла в действительных и мнимых прегрешениях, а тот рыдал, вспоминая об убийстве отца, о неверности жене, о прежнем полуатеизме. «Крюденер, — говорил царь, — подняла щедро передо мною завесу прошедшего и представила жизнь мою со всеми заблуждениями тщеславия и суетной гордости»^{185}. В дальнейшем баронесса, по словам Н. И. Греча, «помешавшаяся на святости», в своих проповедях в разных странах Европы стала касаться таких острых вопросов (греховность собственности, несправедность любого богатства), что ее начали отовсюду высылать. Удалил ее из Петербурга и переименовавшийся к тому времени Александр, а умерла Варвара Юлиана в 1824 году в своем имении в Крыму.

Монарх же продолжал обращаться ко всяким пророкам и пророчицам, желая узнать намерения Провидения. Юродивый Никитушка Федоров, вызванный к монарху как пророк, даже был награжден чином коллежского

регистратора (XIV класс по Табели о рангах). Однако как только пророки заходили слишком далеко, пытаясь вмешаться в реальную политику или проникнуть в душевные тайны самодержца, они выслались из Петербурга и больше к их услугам никогда не прибегали. И вновь приходится говорить о неоднозначности последствий происходивших с царем трансформаций. Религиозный экстаз Александра Павловича содействовал росту в обществе искреннего и лицемерного мистицизма, истинного благочестия и ханжества, выдающего себя за подлинную веру.

Следуя своему новому умо-и духонастроению, император открывает Петербургское, а затем и Российское библейское общество, целью которого стало распространение учения апостолов Нового Завета в народной среде. Однако прежде чем рассказывать о его деятельности, следует хотя бы кратко упомянуть о человеке, которого наряду со Сперанским и Аракчеевым можно назвать фаворитом Александра I и который, в отличие от первых двух, был не только любимцем, но и чуть ли не единственным другом царя. Речь идет о князе Александре Николаевиче Голицыне.

Он родился в 1773 году и получил образование в привилегированном Пажеском корпусе в Петербурге. Будучи представлен Екатерине II, юный князь настолько ей понравился, что его допускали по воскресеньям играть с внуками императрицы Александром и Константином. По окончании (1794) Пажеского корпуса Голицын был определен поручиком в Преображенский полк. Но военная карьера совсем не привлекала князя, и он был назначен в придворный штат великого князя Александра Павловича камер-юнкером. Взошедший на престол Павел I поначалу также благоволил к Голицыну и даже сделал его командором Мальтийского ордена. Однако позднее тот вместе с Александром Павловичем угодил в опалу и был выслан в Москву. Князь слыл вольтерьянцем, отличался легким веселым нравом, прекрасно подражал голосам окружающих и весьма умело пародировал их.

После воцарения Александра I Голицын был назначен обер-прокурором Святейшего синода и на протяжении четырнадцати лет руководил повседневной жизнью Русской православной церкви, поставив своего рода рекорд — до него ни один чиновник не мог так долго удержаться на этой должности. Его подчиненный Николай Николаевич фон Гёце писал: «Князь Голицын был любимейшим и добрейшим начальником, какого можно пожелать себе. В образе мыслей его не было ничего мелочного, и никаких причуд за ним не водилось. Он сносил противоречия, к чему не все министры способны. Даровитый по природе и приобретший опытность в делах, он держался верных государственных понятий, коль

скоро вводили его в заблуждение. Он умел говорить прекрасно... Никогда не слышал я от него обидного слова...»^{186}

Интересно, что Голицын считался личным другом не только Александра I, но позже и Николая I; во всяком случае, он принимал участие в воспитании великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II. При этом ему приходилось постоянно соперничать с Аракчеевым, и это соперничество принимало порой забавные формы. Стоило Алексею Андреевичу получить разрешение на строительство в Грузии Георгиевского храма, как Александр Николаевич тут же добыл разрешение на открытие собственной домово́й церкви. Аракчеев выпросил у Александра, еще в бытность того наследником престола, его рубашку и необычайно гордился подарком; Голицын позднее получил рубашку Николая Павловича и завещал похоронить себя именно в ней. Что и говорить — битва гигантов! Однако вернемся к деятельности Библейского общества.

Александр I становится его рядовым членом, а во главе общества поставлен конечно же Голицын как обер-прокурор Синода. Император выделяет на деятельность общества 25 тысяч рублей единовременно и по 10 тысяч ежегодно. Христианская часть разноконфессионального населения Российской империи должна была проникнуться некой новой экуменистической религией, объединявшей все ветви христианства. Видимо, в знак этого во время заседаний Библейского общества бок о бок сидели протестантский пастор, католический епископ, обер-гофмейстер двора, агент британского Библейского общества, православный митрополит. В 1818 году под руководством архимандрита Филарета был сделан перевод Нового Завета на современный русский язык, который в свою очередь был переведен на 25 основных языков и диалектов, бытовавших на территории России, и издан небывалым тиражом в 371 тысячу экземпляров.

Столь смелый шаг, как перевод Нового Завета на русский язык, вызвал бурное негодование среди большинства православного духовенства и консервативной части общества. Оно и понятно. Ведь старославянский текст Святого Писания, по мнению верующих, был составлен прославленными Кириллом и Мефодием по вдохновению и благословению свыше, новым же переводом руководили лидеры Библейского общества, «вдохновленные» всего лишь распоряжением верховной светской власти. Однако противников новаций в религиозной сфере ожидал суровый отпор со стороны самого монарха.

В 1815 году орден иезуитов, отказавшийся войти в состав Библейского

общества (да еще и осудивший создание Священного союза в Европе), был изгнан из Петербурга и Москвы, а в 1820-м его деятельность в России вообще оказалась под запретом. Представление о религии как одном из рычагов управления обществом, а об институте Церкви как одном из важнейших органов государства, помогавшем управлению страной, унаследовано Александром конечно же от XVIII века. Просвещенный абсолютизм, подчиняя себе организацию всего быта подданных, видел в разноголосице вероисповеданий только досадное препятствие на пути правильного, «научного» воспитания общества, проводимого согласно предначертаниям высших светских властей. В полном соответствии с этим руководство Библейского общества полагало, что, читая Священное Писание, «подданные научаются познавать свои обязанности к Богу, государю и ближнему своему, а мир и любовь царствуют тогда между высшими и нижними».

Привязывая к себе Русскую православную церковь новыми нитями и создавая систему правительственных учебных заведений, Александр I приобретал два важнейших рычага воспитания русского общества в направлении, необходимом правительству. Правда, эти направления по-прежнему выглядели не совсем отчетливо. К вольнодумному рационализму XVIII века монарх теперь относился настороженно, поскольку именно в нем увидел в свое время главную причину распущенности екатерининского двора. Но ему был чужд и православно-церковный консерватизм в различных его проявлениях. Мистические учения, как и прусский протестантизм, привлекали Александра тем, что из христианской религии они взяли только «закон Христов», то есть стремление жить по нравственным заповедям Евангелия. Другими словами, в них церковная власть никогда и ни в чем не противилась светской, а непонятная, да и ненужная массе верующих догматика заменялась высоконравственными принципами, в том числе требованиями верного служения властям.

Для лучшего выполнения поставленной Зимним дворцом задачи Министерство народного просвещения в 1816 году было практически слито со Святейшим синодом — точнее, последний сделался частью нового Министерства духовных дел и народного просвещения. Проницательный Н. М. Карамзин предупреждал, что сочетание в одном учреждении религии и образования создает мрачную перспективу превращения лицемерия в средство для чиновников заявлять о своем благочестии и подавлять независимую мысль. Однако монарха подобная перспектива явно не страшила. Отныне образование, по его мнению, должно было вдохновляться и руководствоваться Священным Писанием и стать в

результате из европейского национальным, то есть христианским, а чуть позже — христианско-православным. Подобная установка привела к печальным, но предсказуемым последствиям.

В 1819 году в Казань с шестидневным официальным визитом прибыл М. Л. Магницкий. Целью визита стала ревизия деятельности местного университета. Царившие там нравы и обычаи поразили чиновника настолько, что он предложил Александру I наказать учебное заведение «публичным стен оною разрушением». Столь вызывающие меры монарх счел излишними, но придумал другой, не менее радикальный выход — назначил Магницкого инспектором Казанского учебного округа. Университет, сохранив свои стены, оказался успешно разрушен изнутри: 12 профессоров уволены за безбожие и пропаганду материализма, из библиотеки с позором изгнаны книги Макиавелли, Вольтера, Руссо, Канта. Некоторые учебные курсы, например геология, были признаны несовместимыми с Библией, а потому запрещены; другие — скажем, математика — приведены «в соответствие» со Священным Писанием. Студенты, не желавшие познавать исправленные чиновничьей рукой «науки», стали покидать университет. Через несколько месяцев после приезда Магницкого в нем осталось всего 50 учащихся.

Примерно та же участь постигла и Петербургский университет, где достойным коллегой Магницкого показал себя Д. П. Рунич. Разгром университетов свидетельствовал о неуклонном желании власти возвести фидеизм^[8] в ранг науки.

С другой стороны, все эти события ясно свидетельствовали о крахе той доктрины, которой «верхи» России придерживались несколько последних десятилетий: практики просвещенного абсолютизма и идеологии Просвещения в целом. Действительно, 1820-е годы — это даже не «осень», а глубокая «зима» философии и идеологии Просвещения в их классическом виде. Ощущение крушения кумиров вкупе с разочарованием в практических результатах политики как в России, так и в Европе загнали нашего героя в тупик, из которого было два пути: или уход в религию как политическую практику, или вообще уход «от мира».

Когда в Западной Европе наступал кризис господствовавшей идеологии, она, справедливо относясь к идеологическим построениям только как к научно обоснованным гипотезам, приступала к поискам новых путей развития, не делая из этого особой трагедии. В России же кризис, тем более крах главенствующих идей — это всегда катастрофа как общественная, так и личная. Наступление кризиса предчувствуется далеко не сразу и далеко не всеми, но от этого он становится только мучительнее и

безысходнее. Начало 1820-х годов стало переломным временем не для одного Александра I, кризис охватил значительную часть мыслящего русского общества. Так или иначе он затронул А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, некоторых руководителей декабристов, ряд крупных государственных деятелей и генералов. Совпадение по времени знаменательное, да и по внезапному чувству собственной ненужности весьма показательное.

После сказанного неудивительно, что образованием Библейского общества религиозные искания нашего героя не ограничились. В 1822 году Голицын — как оказалось, на свою голову — познакомил Александра I с архимандритом Фотием (в миру Петром Никитичем Спасским). Тот повел себя с царем крайне независимо и поучал его, как младшего (хотя по годам император был старше монаха). Страстная поклонница Фотия графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская и другие не менее восторженные дамы искренне верили, что их наставник избран Богом, чтобы обличить зло во всех его проявлениях, а потому обладает даром видеть любые козни дьявола. Речь, щедро пересыпанная словами из церковнославянского языка, пронизывающий взгляд, фанатичная вера, обличение мистиков и прочих инаковерующих — всё это произвело на Александра неизгладимое впечатление. На его робкое возражение, что все проклинаемые монахом по-своему веруют в Христа, тот ответил: «И бесы веруют и трепещут... Церковь единая верует истинно».

Позже выяснилось, что появление в Петербурге настоятеля захолустного (3-го класса) новгородского Михайловского Сковороде кого монастыря Фотия не обошлось без участия Аракчеева, начавшего тонкую интригу, направленную против Голицына. В 1824 году он, к тому времени уже архимандрит другого новгородского монастыря — первоклассного Юрьева, был вторично вызван в столицу собственноручным письмом графа. Фаворит устроил Фотию трехчасовую монаршую аудиенцию, а также вдохновил его на написание ряда записок на имя Александра Павловича. В том же году записки под названиями «План революции, обнародованный тайно, или Тайна беззакония, делаемая тайным обществом в России и везде», «О действиях тайных обществ в России через Библейское общество» были представлены Аракчеевым хозяину Зимнего дворца.

В них Фотий требовал уничтожения Министерства духовных дел, закрытия Библейского общества, изгнания из столицы неправославных проповедников и возвращения всех прав Святейшему синоду. Именно после этого, по его выражению, будет одержана «победа над Наполеоном

духовным». А. Н. Голицын, называвшийся в посланиях «явным и клятвенным врагом Церкви», долго ничего не подозревал о развернувшейся против него кампании. Он даже явился в дом Орловой-Чесменской, где проживал Фотий во время вызовов в Петербург, чтобы спокойно выяснить с ним отношения. По словам воинственного архимандрита, князь, войдя в комнаты, «яко зверь рысь», получил от него не благословение монаха, а громогласную анафему. Испуганный Голицын бежал, а Фотий радостно скакал по дому, возглашая: «С нами Бог!»^{187}

Библейское общество было в конце концов распущено, Министерству духовных дел и народного просвещения возвращено (1824) прежнее название, масонские ложи закрыты, а с офицеров и чиновников взята подписка о том, что они не принадлежат и не будут впредь принадлежать ни к каким тайным обществам. Этими мерами император ограничиваться не собирался. Особенно это стало заметно после событий, происшедших в 1820 году.

В ночь с 28 на 29 октября гвардейский Семеновский полк, шефом которого являлся Александр I, взбунтовался против своего командира полковника Федора Ефимовича Шварца — тот, являясь ставленником графа Аракчеева, попытался ввести в полку не просто аракчеевскую, а какую-то варварскую дисциплину: вернул в полк телесные наказания для солдат, не делая исключения даже для георгиевских кавалеров, и за мельчайшие проступки наказывал подчиненных самым жестоким образом. Монарх в это время находился на конгрессе Священного союза в Троппау и оказался в достаточно щекотливом положении. Во-первых, о событиях в Петербурге его известил канцлер Австрийской империи Меттерних, что было крайне неприятно. Во-вторых, поспешный отъезд с конгресса показал бы всей Европе, что он придает «семеновской истории» слишком большое значение. Этого не следовало допускать еще и потому, что в то время континент был охвачен различного рода возмущениями.

Пруссия волновалась из-за промедления властей с конституционной реформой. На ее отсрочке настоял Александр I. В 1819 году тамошнего драматурга Августа фон Коцебу, отличавшегося явными прорусскими симпатиями, убил студент-радикал Карл Занд. Чуть позже в Париже Пьер Лил Лувель заколол кинжалом герцога Беррийского, сына графа д'Артуа, будущего короля Франции Карла X. В Испании, Неаполе и Пьемонте вспыхнули революции; Польша требовала судебной реформы, отмены цензуры и ответственности министров перед сеймом; на пороге нового восстания против турок оказалась Греция. Еще до знакомства с Фотием Александр считал, что сатанинский дух воплотился в общеевропейском

революционном движении^[9]. Он был уверен, что и за солдатами Семеновского полка стоят офицеры-заговорщики, которые пытаются подорвать основы режима, ослабив власть монарха. В этом его пытался разубедить даже Меттерних, но всё было напрасно.

Бунт Семеновского полка явился для Александра I российским звеном в длинной цепи европейских революционных событий. В результате, как писал один из канцлеров России И. А. Каподистрия, «подобные события побудили императора видеть и подозревать везде деятельность какого-то разветвленного комитета, который, как полагали, распространял из Парижа свою деятельность по всей Европе с целью низвергнуть существующие правительства»^{188}. Александр продолжал жаловаться близким людям: «У меня так мало поддержки в моих стремлениях к счастью моего народа... Признаться, иногда я готов биться головой об стену, когда мне кажется, что меня окружают одни лишь себялюбцы, пренебрегающие счастьем и интересами государства и думающие лишь о собственном возвышении и карьере»^{189}.

Вспомним вышеприведенные строки Вяземского, посвященные Александру: «И не любил он человека, а человечество любил». В данном случае «человечество» — это отнюдь не население земного шара, а синоним гуманизма, справедливости, любви и братства — всего того, чего монарх не находил или не хотел видеть в окружавших его сановниках. Отстаивая мечту, он всё решительнее отворачивался от реальности, что, впрочем, неудивительно. В свое время Анатолий Франс писал: «...когда людей хотят сделать добрыми, умными, свободными, умеренными, великодушными, то неизбежно приходят к тому, что жаждут перебить их всех до одного». Такое вот соотношение человека и «человечества».

Император всё более подозрительно относился даже к тем, в чьей преданности ранее совершенно не сомневался. Постепенно свои посты потеряли начальник канцелярии Главного штаба князь А. С. Меншиков, министр духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицын; попал под подозрение и начальник Главного штаба П. М. Волконский, находившийся при монархе с момента его воцарения. Поводы для расставания с ними были самые разные, иногда довольно необычные. Скажем, с Меншиковым вышла следующая история. Государю донесли, что кто-то, сидя в театре рядом с Меншиковым, слышал слова князя о том, будто его жена получила от него из Троппау письмо, в котором он описывал ей расстройство духа государя по получении известия о бунте Семеновского полка. «Государь, — рассказывал князь, — писал Милорадовичу (петербургскому военному

генерал-губернатору. — Л. Л.), нельзя ли выкрасть это письмо у жены моей и прислать к нему»^{190}. Такого письма не существовало в природе, но с дальнейшей карьерой Меншикова в царствование Александра I было покончено.

В 1820 году император санкционировал создание военной полиции при штабе Гвардейского корпуса, после чего в Петербурге стали конкурировать друг с другом три полицейских ведомства, находившихся в подчинении военного генерал-губернатора, министра внутренних дел и командира Гвардейского корпуса. Кроме того, у Аракчеева была своя полицейская команда, а у государя — личные осведомители. Перекрестная слежка привела к тому, что даже всесильный Аракчеев находился под тайным надзором, санкционированным кем-то из конкурентов. Общество вряд ли могло считать такое положение дел нормальным, полицейский разгул накладывал на конец царствования Александра удручающий отпечаток. «Трудно вообразить, — писал очевидец Ф. Ф. Вигель, — состояние, в котором находился Петербург весной 1823 года. Он был подернут каким-то нравственным туманом, мрачные взоры Александра, более печальные, чем суровые, отражались на его жителях... Мне кажется, что пример Наполеона возбудил в нем сильное честолюбие, но для удовлетворения его думал он употребить не насилие, а совсем иные средства»^{191}.

Другой современник событий, Жозеф де Местр, оценивал ситуацию несколько иначе: «Император в глубине сердца чувствует неистребимое презрение к устройству своей державы, и чувство сие весьма сильно способствует духу нововведений... Император весьма человечен и добр; он не любит ни пугать, ни огорчать людей, способен даже прощать личные обиды; к тому же противник роскоши, но не чуждается и полезных трат, благотворителен, почитает прямодушную честность и исполнен принципов всеобщей справедливости; но когда доходит до приложения оных и надобно действовать, он неудачлив. На всех его делах какое-то проклятие...»^{192}

Не радовало Александра Павловича и происходившее в российской экономике. Еще в 1815 году английский парламент принял новый хлебный закон, повышавший таможенные пошлины на ввозимый в страну хлеб. Акция, изначально вызванная желанием помочь лендлордам, оказалась направленной против России. В скором времени рыночные цены на хлеб в Европе упали втрое и российский экспорт с 1817 по 1824 год сократился в 12 раз. Фритредерские таможенные тарифы, принятые Петербургом в 1816

и 1819 годах, ощутимо ударили по интересам отечественных производителей, вызвав кризис прежде всего в сельском хозяйстве империи.

Несчастья начали преследовать монарха и в частной жизни. Летом 1819 года умерла его любимая сестра Екатерина Павловна. В 1824-м от чахотки скончалась его восемнадцатилетняя дочь от Нарышкиной Софья. Эти потери тяжело отразились на характере и здоровье самого Александра. Зимой 1824 года он опасно заболел, невольной причиной чего оказалось бракосочетание его младшего брата великого князя Михаила Павловича. Утомленный долгой процедурой государь совершил после нее длительную прогулку, во время которой основательно продрог. В результате на его ноге открылась трофическая язва, распространявшаяся вширь и вглубь с необычайной быстротой. К тому же у Александра началась сильнейшая лихорадка с высокой температурой и бредом. Консилиум врачей, опасаясь начавшейся гангрены, высказался за ампутацию ноги. К счастью, предписанные лекарства оказали действие — ногу удалось спасти и больной пошел на поправку.

Для полного выздоровления доктора рекомендовали Александру полный покой, что полностью совпадало с его желаниями, и он укрылся с женой в Царском Селе. Их пребывание там прекрасно охарактеризовала хорошо осведомленная очевидица: «Император Александр вел в Царском Селе деревенский образ жизни, двора не было, и... император сам проверял отчеты в расходах по домашнему хозяйству. Он принимал в Царском Селе лишь министров в определенные дни недели. Александр вставал обычно в пять часов, одевался, писал, затем отправлялся в парк, при этом посещал ферму... Император гулял в парке один, без всяких предосторожностей, часовые были только у замка и у Александровского дворца... Александр обедал у себя один и ложился обыкновенно очень рано... Императрица Елизавета, со своей стороны, жила в полном уединении; при ней находилась только одна фрейлина, и она никого не принимала в Царском Селе»^{193}.

Кстати, что касается охраны, то на протяжении всей жизни Александр пренебрегал любыми мерами безопасности, хотя это выглядело странно для человека, не отличавшегося доверчивостью, тем более для монарха, чьи дед и отец погибли в результате заговора. «Вокруг царского жилища (в данном случае имеется в виду Каменноостровский дворец. — Л. Л.) не было видно никакой стражи, и злоумышленнику стоило подняться на несколько ступенек, убранных цветами, чтобы проникнуть в небольшие

комнаты государя и его супруги»^{194}. Да и ежедневные прогулки по одному и тому же маршруту никак не гарантировали монарху безопасности.

Можно с уверенностью сказать, что в 1821–1825 годах жизненные интересы и ориентиры, как и ежедневный распорядок Александра Павловича, заметно изменились. Он стал предпочитать затворничество, перестал посещать театр, наслаждаться музыкой, из-за чего в Эрмитажном театре прекратились драматические и музыкальные постановки. Читал он теперь только религиозную, богословскую литературу. Ценивший ранее живые салонные беседы царь больше не навещал знакомых и не приглашал их во дворец. Его расписание становилось всё более однообразным, если не сказать строго регламентированным и скучным. Работал, гулял, навещал членов семьи, обедал, работал, читал, ужинал в одиночестве, рано ложился спать. Александр мало показывался на официальных церемониях; во всяком случае, дипломатический корпус, за исключением чрезвычайных аудиенций, видел императора три-четыре раза в год.

Александр Павлович делался не только всё более нелюдимым, но и всё более загадочным для окружающих. Скажем, перед возвращением Сперанского из Восточной Сибири (где тот пребывал в 1819–1822 годах на посту генерал-губернатора) царь написал ему длинное письмо, полное любезностей, а между строк извинялся за то, что удалил его в свое время из столицы. Когда Сперанский встретился с Александром, то попытался объяснить с ним по поводу случившегося в 1812 году. Государь прервал его на третьем слове и заговорил о другом, а вскоре отпустил и более никогда не снисходил до доверительных бесед с бывшим статс-секретарем.

Усиливалась и страсть царя к формальному порядку. По этому поводу будущий сенатор, а при Александре I чиновник Министерства финансов Константин Иванович Фишер вспоминал: «Ежели лист бумаги, на котором написан был доклад, казался государю на $\frac{1}{8}$ дюйма больше или меньше обыкновенного, он сердился на важное злоупотребление. Если первый взмах пера не выделял во всей точности начала буквы «А», в вершине тонкое, как волосок, внизу широкое, как след кисти, он бросал перо и не подписывал указа. А. П. Ермолов говорил, что Александр I страдал наследственной хронической болезнью, и эту болезнь называл «симметрией». Очинка пера составляла государственное дело»^{195}.

Оставаясь аккуратистом, Александр старался держать ситуацию под контролем не только с помощью армии соглядатаев и доносчиков, но и поддерживая свой авторитет среди военных. Он неизменно посещал

ежедневные разводы караулов и по-прежнему обожал учения и парады. Демонстрируя заботу об офицерском составе, монарх любил спросить полкового командира: «Что делает брат твой, который служил там-то?» или «Здоров ли старик твой отец такой-то?» Всё это выглядело трогательно до слез, «но эти вопросы делались на основании приготовляемых... табличек, которые государь вкладывал в перчатку и при случае справлялся с ними»^{196}. В целом битву за армию Александр у декабристов выиграл, более того, он даже решился отдать 10 ноября 1825 года приказ произвести аресты среди членов тайных обществ. Но это была пиррова победа, не дающая возможности воспользоваться ее результатами, поскольку власть утрачивала поддержку наиболее деятельной и прогрессивной части дворянства, которая хотела служить отечеству, но не желала прислуживать отдельному лицу.

В первой четверти XIX века правительство могло создать условия для начала развития гражданского общества. Александру I было вполне по силам попытаться заметно продвинуть Россию вперед. С другой стороны, сохранение существовавшего положения также ничем ему не грозило. Потому-то царь и продолжал колебаться. Как отмечал дореволюционный историк Н. Ф. Дубровин, «деспотизм таился в душе Александра, при всех его либеральных мечтаниях. Увлечшись отвлеченною идеею быть благодетелем своего народа, воспитанный республиканцем, мечтавший о конституции и даже представительном правлении, Александр одобрил и сам развивал план Сперанского». С другой стороны, отмечает исследователь, ему было страшно изменить самодержавный характер правления: «Александру не особенно нравилось начинать свои манифесты словами: «Вняв мнению Государственного совета», и впоследствии он уклонился от этой фразы»^{197}.

Действительно, распространение права частной собственности на все слои населения России означало бы появление предпринимателя-собственника, кровно заинтересованного в законных гарантиях своего существования, что обеспечивало бы переход к правовому государству. Гипотетически Россия могла повторить этот европейский, по сути, путь развития, реально же он вряд ли был возможен, поскольку ему совершенно не соответствовал особый нрав самодержавия, не сдерживаемого ни церковью, ни аристократией, ни третьим сословием. Характер верховной власти, угрозы для нее (подлинные и мнимые) «справа» и «слева» объясняют, почему вместо перехода на европейские «рельсы» последовал ряд реакционных указов 1820-х годов: помещикам вновь позволили без

суда ссылать крестьян в Сибирь «за дерзостные поступки», крепостным запретили жаловаться на барина, ужесточили цензуру. Четверть века Александр искал новую концепцию, которую можно было бы противопоставить традиционному консерватизму и новомодной революции. В конце жизни он, как ни горько ему было в этом себе признаваться, утратил последние иллюзии, а значит, для него потеряло смысл и само его правление.

bon Dieu grand nous se la ^{voit} ~~voit~~
garder et avec compassion et pitié de nous.
C'est qui nous a recherchés et détournés
jamais de chemin de l'honneur et de la
vertu; fait que nous n'ayons eu occasion
jamais pas pour un instant; que
vous, o Dieu Grand Dieu, par chemin et
fait que nous nous en questions jamais
Nous te remercions o Dieu Grand Dieu
pour les bontés et miséricordes que
tu a faites ta a en nous nous, o
Grand Dieu nous te prions continuellement
de les regarder sur nous et ton cœur
qui nous sont chers, et sur toute l'hu-
manité, et fait que tous nous soyons
de nous en rendre de jour en jour plus
dignes et de les mériter; par notre
conduite et en touchant de nous rendre

Молитва на французском языке, записанная Александром I, была найдена в императорских бумагах после его смерти

По свидетельству всё более недоумевавших очевидцев событий, с 1822

года начало заметно появляться утомление монарха жизнью или, скорее, разочарование в окружающем мире. Колени Александра были в мозолях от долгого стояния перед образами, он постоянно носил с собой конверт с какими-то бумагами, который при переодевании не забывал перекладывать из одного мундира в другой. Когда после смерти государя таинственный конверт открыли, там оказались тексты двух особо любимых им молитв.

Прославленная пушкинистами Дарья Федоровна (Долли) Фикельмон записывала свои впечатления об Александровском дворце в Царском Селе: «В кабинете среди его (Александра I. — Л. Л.) книг увидела два романа, которые мы дали ему почитать... Это «Жан Сбегар» и «Отшельник» (произведения Ш. Нодье и В. Прево). Особенно понравился Императору Александру «Отшельник». В последние годы жизни глубокая меланхолия, недоверчивость сердца, горькие и печальные сомнения властвовали над его душой. Тогда он находил аналогию, не знаю какую, между собой и Отшельником»^{198}. Даже разрушительное петербургское наводнение 1824 года он воспринял по-своему. Когда Александр осматривал последствия стихийного бедствия, в толпе кто-то сказал: «За грехи наши Бог нас карает». — «Нет, — произнес царь, — он карает за мои грехи».

Утешение Александр Павлович находил не только в религии, но и в длительных путешествиях, в ходе которых старался надолго не останавливаться в губернских городах, а дороги для него прокладывали в таких местах, где прежде проезда не было. Судя по всему, эти объездные пути делались не с целью скрыть от царя непорядок, а для того, чтобы он хоть как-то отдохнул от прекрасно известного ему непорядка. Просим читателя простить нас, но считаем необходимым перечислить маршруты поездок императора начиная с 1816 года.

Их направления мало о чем говорят, но заметное удлинение маршрутов свидетельствует о многом. Итак: 1816 год — Киев и Варшава; 1817-й — Витебск, Могилев, Киев, Полтава, Харьков, Курск, Орел, Калуга, Москва; 1818-й — Варшава, Крым; 1819-й — Архангельск, Петрозаводск, Финляндия; 1820-й — Осташков, Тверь, Москва, Рязань, Козлов, Липецк, Воронеж, Обоянь, Чугуев, Харьков, Полтава, Кременчуг, Умань, Острог, Владимир-Волынский, Варшава; 1821-й — Витебск; 1822-й — Псков, Динабург, Белосток, Вильно, Варшава; 1823-й — вся Новгородская губерния, Мценск, Орел, Карачев, Брянск, путешествие по Украине; 1824 год — Торопецк, Боровск, Рязань, Тамбов, Пенза, Симбирск, Ставрополь Волжский, Самара, Бузулук, Оренбург, Екатеринбург, Пермь, Вятка, Вологда.

Надо сказать, что лихорадочные передвижения императора по стране

зачастую приносили, как это частенько бывает, побочную пользу подданным. «Приезд Государя в Тихвин, — вспоминал один из тамошних жителей, — был в самый сбор всех плодов, и потому расход на плоды слишком велик, прилив же разного рабочего народа в город был огромный. Это произошло от того, что приводились в благовидное состояние трактовые дороги на тех пунктах, где поедет Государь, и в самом городе устраивались проспекты и красились обывательские дома. Всё это для торговли огородными овощами было очень прибыльно»^{199}. Как видим, кто-то оказался от поездок монарха в выигрыше.

В октябре 1825 года Александр купил имение «Орианда» (теперь пишется «Ореанда») и заявил: «Я поселюсь в Крым... я буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок дают отставку». Перед отправкой в свое последнее путешествие осенью 1825 года монарх заехал в Александро-Невскую лавру, отстоял молебен и пожелал посетить келью жившего в лавре схимника. Прощаясь с государем, тот сказал ему: «Мы больше не увидимся». Уезжая из монастыря, Александр был очень печален и при прощании с митрополитом Серафимом прослезился. Во всём этом многие увидели некое предзнаменование и предчувствие кончины монарха^{200}.

А Аракчеев в самый нужный момент оказался не столь уж предан Александру Павловичу. Агент-провокатор Иван Шервуд прислал Алексею Андреевичу письмо, в котором раскрывал состав руководства Южного общества декабристов и требовал принять против них решительные меры. Но вскоре в Грузии произошла трагедия — любовница графа Настасья Минкина была зарезана измученными ею дворовыми. Аракчеев, убитый горем, не посчитал нужным известить государя о грозившей престолу опасности — он был занят более важными делами. После смерти Минкиной граф обнаружил в ее покоях массу подарков, сделанных вельможами, надеявшимися таким образом добиться милости ее высокопоставленного любовника. На сорока возах все эти «презенты» были доставлены в столицу и развозились по домам «бескорыстных» дарителей. Многие, надеясь избежать позора, заявляли, что ничего и никогда Минкиной не дарили. Аракчеев пригрозил, что напечатает в газетах письма, адресованные ей, и все тотчас признали вещи своими и поспешили в Грузию, чтобы выразить соболезнования любимцу государя.

Как бы то ни было, но в действительно критический момент царствования Александра I Алексей Андреевич поставил личное горе выше безопасности императора и спокойствия государства. Вот вам и «без лести

предан».

Александр же, первоначально являясь образцовым представителем своего времени, постепенно сделался обитателем времени полусвоего, а затем в предчувствии смены времен вообще начал считать себя чужим в этом мире. Даже Лагарп не понял состояния бывшего воспитанника и жестко осудил его. В 1824 году он писал: «Я обольщался надеждой, что воспитал Марка Аврелия для пятидесятимиллионного населения... я имел, правда... минутную радость высокого достоинства, но она исчезла безвозвратно, и бездонная пропасть поглотила плоды моих трудов со всеми надеждами»^[201]. Неправ оказался швейцарский педагог: Марка Аврелия из его воспитанника, быть может, и не получилось, но и «бездонная пропасть» — это явное преувеличение.

Глава третья

ЗАГАДКИ МИРА И ВОЙНЫ

*Век вывихнут. О проклятое несчастье, что я
родился на свет, чтобы вправить его!*

Уильям Шекспир. Гамлет^[10]

Борьба на несколько фронтов

Внешнеполитическое наследие Павла I оказалось ничуть не менее запутанным и тяжелым, чем дела внутренние. В годы его правления Россия металась от союза с Англией и Австрией к партнерству с наполеоновской Францией. И какими бы логичными, с точки зрения хозяина Зимнего дворца, ни выглядели эти метания, его подданным они казались не слишком понятными и делали международное положение империи странным и малоустойчивым. Неудивительно, что новый император и члены Негласного комитета начали поиски собственной линии поведения в международных делах.

Они видели лучший способ обеспечения мира и укрепления позиций России на континенте в ее отказе от каких бы то ни было альянсов и коалиций, участие в которых могло бы втянуть страну в очередную войну. В докладе временного управляющего Коллегией иностранных дел по этому поводу говорилось: «Наше положение дает нам возможность обойтись без услуг других держав, одновременно заставляя их всячески угождать России, что позволит нам не заключать никаких союзов, за исключением торговых договоров»^[202].

Подобная позиция, получившая название политики «свободных рук», теоретически казалась весьма заманчивой. Она могла позволить России принять на себя роль третейского судьи в любом европейском конфликте и вмешиваться в него в соответствии со своими национальными и государственными интересами. Не менее важным было и то, что такая

политика позволяла Петербургу, избежав участия в англо-французском противостоянии, восстановить дружеские отношения и с Парижем, и с Лондоном. На практике же политика «свободных рук» означала самоустранение от участия в текущих европейских делах, то есть оказывалась не то чтобы опасной, а просто неосуществимой.

Тем не менее, руководствуясь именно этой политикой, Россия склонила Париж и Лондон к подписанию мирного договора. Это был первый мир в Европе, установленный при содействии Александра I. Правда, в октябре 1801 года Россия сама заключила секретную конвенцию с Францией, согласно которой стороны должны были совместно решать проблемы Германии и Италии, раздробленных на множество мелких государств, защищать нейтралитет Неаполитанского королевства и т. п. Тогда-то Россия впервые столкнулась со своеобразным отношением Наполеона к международным договоренностям. Пользуясь тем, что конвенция была секретной, то есть оставалась неизвестной третьим странам, он использовал ее исключительно в интересах Франции, толкая тем самым Россию в объятия антифранцузски настроенных европейских держав.

Поначалу она попыталась действовать в одиночку, выстроив барьер из германских государств на пути французской агрессии на восток Европы и не давая Наполеону раздавить Австрию. Однако этого оказалось явно недостаточно для успешной борьбы с Францией.

Не стоит пытаться видеть причину взаимного недоверия только в коварстве или агрессивности Бонапарта. В свое время П. А. Вяземский справедливо заметил: «Не следует забывать, что Наполеон как император был не что иное, как воплощение, олицетворение и оцарствование революционного начала. Он был равно страшен и царям, и народам. Кто не жил в ту эпоху, тот знать не может, догадаться не может, как душно было жить в это время... Всё было как под страхом землетрясения или извержения огнедышащей горы»^[203].

Сам Наполеон всячески старался успокоить и даже перетянуть на свою сторону российского императора. Во всяком случае, князю Н. Г. Волконскому он рисовал привлекательные картины, которые, правда, ни на миг не обманули Александра I. «Скажите вашему государю, — говорил Бонапарт князю, — что я его друг, но чтобы он остерегался тех, которые стараются нас поссорить. Если мы в союзе — мир будет принадлежать нам. Свет — это яблоко, которое я держу в руках. Мы можем разрезать его на две части, и каждый из нас получит половину...» На эти слова Александр отреагировал моментально, трезво оценив ситуацию: «Сначала он

удовольствуется одной половиною яблока, а там ему придет охота взять и другую»^{204}. Не доверяя Парижу, Петербург волей-неволей пришел в стан противников Наполеона и прежде всего обратился к союзу с Лондоном.

Вряд ли в то время события могли складываться как-то иначе — слишком многое подталкивало Александра к подобному решению. Здесь и проанглийские позиции союзной России Австрии, и сильная проанглийская «партия» во главе с Чарторыйским в Петербурге, и то обстоятельство, что именно Англия тогда наиболее эффективно противостояла французской агрессии. Во всяком случае, это чувствовалось и в ходе Египетского похода Бонапарта, и в пору ликвидации «дочерней якобинской республики» в Неаполе, и в войне на море, где Англии принадлежала решающая роль в том, что французской агрессии так и не удалось выйти за пределы Европы. Это страшно раздражало Наполеона, но не давало вспыхнуть полномасштабной мировой войне.

(При этом надо учитывать, что Лондон и Петербург по-разному смотрели на установление системы европейского равновесия. Помогая континентальным союзникам в борьбе с Наполеоном, англичане внимательно следили за тем, чтобы ни один из них не мог усилить свое влияние на континенте.)

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Александра, стали, видимо, похищение французами герцога Энгиенского из баденского замка в марте 1804 года и его скоропалительная казнь. Объяснение, присланное официальным Парижем в ответ на запрос Петербурга, оказалось не только недипломатичным, но и попросту оскорбительным. «На жалобу Александра, — писал Н. И. Греч, — что принц Бурбонский (герцог Энгиенский Луи Антуан де Бурбон-Конде. — Л. Л.) захвачен был не во Франции, а за границею, на чужой земле, Наполеон отвечал, что вынужден был к тому интригами Бурбонов... «На моем месте, — сказал он, — русский император поступил бы точно так. Если бы он знал, что убийцы Павла 1-го собрались для исполнения своего замысла в одном переходе от границы России, не поспешил ли бы он схватить их и сохранить жизнь ему драгоценную?»^{205}. Подобные намеки не могли не вызвать резкой ответной реакции.

Русский двор и свет восприняли убийство герцога как личное оскорбление. «Негодование, — писал историк и внучатый племянник Александра I великий князь Николай Михайлович, — достигло до высших пределов. Добрые императрицы прослезились, великий князь (Константин Павлович. — Л. Л.) в бешенстве, а Его Величество огорчен не менее

глубоко. Чинов французского посольства не принимают, даже не говорят с ними... Император облекся в траур, и повестки о семидневном трауре были разсланы всему дипломатическому корпусу»^{206}. Масла в огонь подлило решение Наполеона отправить в Петербург в качестве своего нового представителя генерала Рене Савари, сыгравшего главную роль в расстреле герцога Энгиенского. Императрица-мать приняла Савари с ледяной холодностью, поговорив с ним менее минуты. Высшее общество в едином порыве отвернулось от него; во всяком случае, на 30 визитов француза ему ответили всего двумя.

В 1805 году была подписана англо-российская конвенция о мерах по установлению мира в Европе (по сути, это и стало началом создания третьей антинаполеоновской коалиции). Целью ее провозглашалось не свержение политического режима во Франции, как во время двух первых коалиций, а установление в Европе такого порядка, который бы смог прекратить французскую агрессию. Коалиция создавалась на основании упоминавшейся выше конвенции между Англией и Россией, содержавшей семь открытых и 13 секретных статей. Лондон и Петербург надеялись, что Россия вместе с Австрией и Пруссией сможет выставить 400-тысячную армию, а Англия — ввести в действие флот и ежегодно выплачивать 1 миллион 250 тысяч фунтов стерлингов за каждые 100 тысяч солдат. Основой для заключения будущего мира могло стать создание барьера между Францией и граничившими с ней Италией и Голландией, а также нейтралитет Швейцарии, Голландии, Италии и германских княжеств.

Главными военными силами третьей коалиции стали армии Австрии и России, действовавшие, по существу, независимо друг от друга, из-за чего уже 20 октября 1805 года австрийская армия генерала Карла Макка была разгромлена Наполеоном и капитулировала в Ульме. Михаил Илларионович Кутузов, формально считавшийся главнокомандующим, оказался в сложном положении и принял единственно возможное решение — совершить марш-бросок, чтобы не дать французам взять русские войска в клещи, а то и полностью окружить. Собранные у Ольмюца (ныне моравский Оломоуц) силы союзников пусть и ненамного, но превышали силы Наполеона. Кутузов здраво предлагал отступить в Богемию и подождать подхода резервов, чтобы еще увеличить численное превосходство союзников. Кроме того, такой отход привел бы к отрыву неприятеля от его баз и позже позволял нанести по нему решающий удар.

Однако его решение натолкнулось на неожиданное препятствие. Александр I оказался первым после Петра Великого российским императором, решившимся возглавить войска на театре военных действий

и принимавшим непосредственное участие в боях и походах. Дело не в том, что ему не давали покоя лавры Наполеона. В эпоху ампира и почитания древнеримских героев доказать армии, что ты не трус, было не самолюбивой затеей, а естественным отражением духа времени. Однако подобное «геройство» монарха имело свои теневые стороны. Кутузова буквально вынудили действовать активно, в соответствии с планом, выработанным австрийским Генеральным штабом. Более того, Александр I и его австрийский коллега потребовали от главнокомандующего утром 14 декабря 1805 года оставить господствующие над местностью Праценские высоты и немедленно атаковать противника.

Французы тут же заняли оставленную противником позицию, втащили на нее пушки, что дало им возможность прорвать центр наступающих, а затем и обратить их в бегство. Призывы Александра к войскам: «Я с вами, я подвергаюсь той же опасности, стой!» — оказались бесполезными: паника, охватившая солдат, заставила их потерять голову. Позже монарх по праву был награжден орденом Святого Георгия 4-го класса — как говорилось в указе, за «прямой» офицерский подвиг: под огнем неприятеля побуждение войск идти в наступление. Пока же Александр, потрясенный масштабом катастрофы, больной, чуть не затоптанный собственными солдатами, без сил упал под деревом, где его с трудом отыскали шталмейстер Ене, вестовой генерал-адъютанта графа Ливена Прохницкий и лейб-медик Виллие.

После Аустерлица заметно пошатнулись позиции Чарторыйского, фактически руководившего внешней политикой России. Он хотел еще прочнее связать империю с Англией новым союзом и одновременно активизировать ее политику в Восточном вопросе. Правда, вдовствующая императрица Мария Федоровна указывала на иные причины отставки царского приятеля. «Больше всех, — писала она старшему сыну, — нападкам общей ненависти подвергался князь Чарторыйский. Две причины совокупно вызывают эту ненависть — то, что он поляк, и несчастье прошедшей осени (то есть поражение от французов. — Л. Л.)»^[207]. Сам Александр, в отличие от Чарторыйского, собирался сосредоточить все силы на борьбе с Наполеоном, не отвлекаясь ни на что другое. Поэтому для него так важна была позиция Пруссии, без которой создание четвертой антинаполеоновской коалиции было попросту невозможно.

В конце концов Александру удалось уговорить короля присоединиться к коалиции, и осенью 1806 года Пруссия предъявила Франции ультиматум, требуя роспуска образованного Парижем Рейнского союза германских государств, в котором главную роль играла ее соперница Бавария. Однако

уже 14 октября прусская армия оказалась разгромленной при Йене и Ауэрштадте (тогда говорили «Ауэрштедт»). Теперь на карту действительно было поставлено не только европейское равновесие, но и само существование России как великой державы. Столкновения русских войск с французскими при польском Пултуске и Прейсиш-Эйлау в Восточной Пруссии (ныне — Багратионовск Калининградской области) хотя и отличались ожесточенностью (последняя битва, по словам Наполеона, была «сущей резней»), но не дали преимущества ни одной из сторон. Однако решающее сражение при Фридланде (современный Правдинск) 2 (14) июня 1807 года окончилось для россиян катастрофой: они потеряли 12 тысяч человек убитыми и ранеными и около десяти тысяч пленными, а также всю артиллерию. Потери французов — 1645 убитых и восемь тысяч раненых. Великий князь Константин Павлович сказал Александру после битвы при Фридланде: «Если вы не желаете заключить мира с Францией, то дайте каждому вашему солдату заряженный пистолет и прикажите им выстрелить в себя. В таком случае вы получите тот же результат, какой вам дало бы новое и последнее сражение»^{208}.

После битвы при Фридланде ситуация на востоке Европы изменилась кардинальным образом — Наполеон вышел на границу Российской империи. В Петербурге к тому времени сложились три «партии»: проанглийская, пропруская и сторонников политики «свободных рук». Однако при всех различиях их объединяло главное — ненависть к Наполеону. Уже с осени 1806 года каждый воскресный и праздничный день по окончании литургии духовенство было обязано читать объявление Святейшего синода, перечислявшее «прегрешения» Бонапарта. Его обвиняли в желании упразднить православную церковь, в том, что якобы во время революции он отрекся от Христовой веры и стал язычником, а во время похода в Египет сделался защитником мусульман и проповедовал Коран и, наконец, к вящему посрамлению Церкви созвал в Париже великий еврейский Сангедрин (синедрион — высший трибунал) и потребовал провозгласить себя Мессией.

Однако после поражения при Фридланде анафему пришлось сочетать с переговорами с победителем-«Антихристом». 25 июня 1807 года состоялась знаменитая встреча Наполеона и Александра I на плоту посредине Немана под Тильзитом. Французский император вел себя на ней как хозяин, опьяненный военными победами, что являлось грубой психологической (а значит, и политической) ошибкой. Скажем, во время первой встречи монархов на плоту французское военное судно с восемью десятками солдат встало между плотом и берегом, занятым русскими, —

Наполеон не постеснялся принять особые меры предосторожности и выразить тем самым недоверие собеседнику. Короче говоря, очаровать российского коллегу ему не удалось. Вообще вопрос о том, кто кого лучше узнал в Тильзите — Наполеон Александра или Александр Наполеона, — до сих пор остается открытым.



Александр I на Дворцовой набережной.

Гравюра Ф. Алексева по рисунку А. Орловского (Иглесона?). 1820-е гг.

По условиям Тильзитского мира Россия соглашалась на уступку

Пруссией земель на левом берегу Эльбы. Из польских территорий, принадлежавших Пруссии, образовывалось герцогство Варшавское. Гданьск (Данциг) становился вольным городом, а Белостокский округ отходил к России. Она брала на себя посредничество в англо-французских переговорах, а Франция соглашалась посредничать при заключении мира между Россией и Турцией.

Подписанный одновременно союзный договор между Россией и Францией предусматривал совместные действия обеих держав против всякого враждебного им европейского государства и присоединение России к континентальной блокаде Англии, которое оговаривалось, во-первых, возможной неудачей в англо-французских переговорах; во-вторых, наличием антибританского союза скандинавских государств. Если оставить в стороне имперские амбиции и ультрапатриотическую риторику, то придется признать, что в Тильзите Россия уступила Наполеону лишь то, что уже и так было им завоевано. Однако в Петербурге, где о холодной логике в этот момент говорить не приходилось, данный договор был воспринят совершенно иначе. Во всяком случае, французский представитель в России Р. Савари писал: «Я слышал от свидетеля, что в Тильзите чиновник русской канцелярии Новосильцев, сильно привязанный к императору Александру, сказал ему: «Государь, я должен вам напомнить о судьбе вашего отца». На что получил ответ: «Боже мой! Я это знаю, я это вижу, но что же я могу сделать против жребия, который меня ведет?»^[209].



Вид Александровской колонны на Дворцовой площади через арку Главного штаба.

Рисунок архитектора О. Монферрана. 1830-е гг.

Почему Тильзит был воспринят россиянами, что называется, в штыки? Проигранные сражения при Аустерлице и Фридланде не ощущались обществом как несмываемое пятно на совести Александра (на полях сражений всякое бывает), а вот Тильзитский договор оно расценило как постыдный документ. Действительно, в Тильзите Александр вынужден был смириться с рядом непопулярных условий: согласиться с существованием Рейнского союза и созданием на границах с Россией зависимого от

Франции Польского государства, признать Жозефа Бонапарта, старшего брата Наполеона, главой Неаполитанского королевства, заключить союз против Англии. В обществе заговорили, что поражения русской армии были обусловлены не гением Наполеона и даже не ошибками союзного командования, а явились Божьей карой, обрушившейся на голову отцеубийцы.

Вдовствующая императрица писала сыну о вещах более приземленных, но не менее опасных: «...мы были абсолютно обмануты Пруссией и преданы Австрией. Слава наших войск потерпела самое ужасное поражение, ореол непобедимости... разрушен... Наш солдат уже не тот, он потерял веру в своих офицеров и генералов. Дух военный изменился. Словом, армия расстроена»^{210}. В другом письме она увещевала: «Во всем мире лишь Вы один можете верить, что подобным путем (союзом с Францией. — Л, Л.) предотвратите бедствия и возродите благополучие и мир... Вы ошибаетесь и даже преступным образом»^{211}.

Правительственная пресса, не без подсказки «сверху», попыталась сделать хорошую мину при плохой игре, а потому сообщала: «Убийственная и кровопролитная брань совершенно прекратилась. Смелый и пылкий покоритель толиких государств долженствовал, наконец, сам признать неустрашимую храбрость русских ополчений и отречься от своих намерений»^{212}. Сам Александр Павлович, признавая военный гений Наполеона, совсем не был им ослеплен и сохранил трезвую голову. Он изначально понимал, что мир с императором Франции — дело недолговечное, тем более что французы и сами не давали ему об этом забыть. В Тильзите были достигнуты некие устные договоренности по Турции. Известный дореволюционный историк Н. Ф. Дубровин считал: «Лишь только по возвращении в Петербург Александр стал руководствоваться словесными обещаниями Наполеона... как из Парижа попросили следовать букве письменного трактата... Такое требование, конечно, вызвало в Александре сознание, что он обманут, и заставило его быть осторожнее в будущем»^{213}.

В обществе недовольство Тильзитом нарастало как снежный ком, катящийся с горы. Если граф С. Р. Воронцов насмешливо предлагал, чтобы лица, подписавшие мирный договор, совершили торжественный въезд в Петербург на ослах, то многим согражданам и этого казалось недостаточно. Еще в Тильзите генерал-лейтенант князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский, сам не свой от горя, позволил себе вопиющую бестактность по отношению к царю — за обедом у Наполеона заговорил с ним о временах

Екатерины II и тогдашних блестящих победах русских войск. Лобанов-Ростовский был горячо предан памяти великой Екатерины и в ходе рассказа даже прослезился, но Александру от подобных воспоминаний легче не стало.

По словам Ф. В. Булгарина, мир привел в отчаяние русских патриотов. «Наше наружное самолюбие, — писал он, — было тронуто, и война с Англией не могла возбудить энтузиазма, не представляя никаких польз и видов, лишая нас выгод торговли»^{214}. Уязвленное национальное самолюбие вкупе с недовольством от прекращения торговли с Англией привели к тому, что вскоре после Тильзита начались разговоры о возможности нового дворцового переворота с целью отстранения императора и возведения на престол Марии Федоровны или Екатерины Павловны.

Эти слухи вряд ли имели под собой какую-то реальную почву. Дело в том, что в глазах своевольной гвардии именно Александр Павлович был законным, по завещанию Екатерины II, наследником российского престола, который только по недоразумению достался его отцу. Они, не раздумывая, подняли руку на Павла, чтобы передать трон внуку обожаемой императрицы. На Александра гвардия могла обижаться, ворчать, поучать его, но убить или отстранить — никогда! Однако мать и сестра монарха, не понимая этого, начали настолько активно интриговать против него, что вызвали негодование даже супруги императора Елизаветы Алексеевны. Та писала матери: «Императрица, которая как мать должна была поддерживать, отстаивать интересы сына, непоследовательно и в силу своего эгоизма... с успехом стала походить на лидера фронды... Не могу Вам передать, как сильно меня это возмущает»^{215}. Кстати, Александр, несмотря на неизменно почтительное отношение к матери, на всякий случай установил тайное наблюдение за ее перепиской.

Тема же необходимых перемен на престоле в частных беседах и даже общественных местах, судя по донесениям полиции, действительно поднималась достаточно активно. Говорили, что мужская линия династии доказала свою несостоятельность, что поскольку императрица-мать и императрица Елизавета Алексеевна не обладают необходимыми монарху качествами, на престол следует возвести Екатерину Павловну. Дошло до того, что русский посланник в Лондоне сообщал в секретной депеше, что министр иностранных дел (государственный секретарь) Британии лорд Джордж Каннинг говорил ему о перехваченном частном письме из Петербурга, в котором речь шла о заговоре, составленном против

правительства.

В самом же Петербурге, как и в Москве, по рукам ходил сатирический листок, появление которого было вызвано, конечно, не только Тильзитом, но совпадение этих событий весьма показательно.

*Грех — скончался,
Правда — сгорела,
Благость — выгнана со света,
Искренность — спряталась,
Правосудие — в бегах,
Добродетель — ходит по миру,
Благодеяние — под арестом,
Помощь — в доме сумасшедших,
Истина погребена под развалинами правды,
Кредит сделался банкротом,
Совесть сошла с ума,
Вера осталась в Иерусалиме,
Надежда с якорем на дне моря,
Честность вышла в отставку,
Верность осталась на весах аптекаря,
Кротость взята в драке на съезжую,
Закон на пуговицах Сената,
Терпение скоро лопнет ^{216}.*

Осуждавшие позицию монарха не понимали того, что точно прочувствовал Ф. Ф. Вигель: «Наступил... период царствования императора Александра, когда всё изменилось в нем и вокруг него, когда он должен был разорвать прежние союзы, удалить от себя прежних любимцев, когда, насильно влекомый Наполеоном, должен был казаться идущим с ним рука об руку, когда притворство сделалось для него необходимостью и спасением»^{217}. Новые встречи российского и французского императоров были неизбежны, очередная была назначена в Эрфурте. Известие об этом вызвало в Петербурге новую волну возмущения. Мария Федоровна заклинала сына: «Вы потеряете Вашу империю и Вашу семью; еще есть время, послушайте голоса чести, просьб и молений Вашей матери!.. Остановитесь, мое дитя...»^{218}

Несмотря на недовольство матери и протесты общества, Александр в

сентябре 1808 года прибыл в Эрфурт. Новая встреча с Наполеоном заметно отличалась от парадно-показательного свидания в Тильзите и носила напряженный, порой взрывной характер. Дошло до того, что однажды Наполеон, потеряв терпение, бросил на пол шляпу и начал топтать ее ногами. Александр сказал с легкой улыбкой: «Вы вспыльчивы, я упрям. Со мною ничего нельзя поделывать при помощи гнева. Будем говорить и рассуждать, или же я ухожу». В результате Эрфуртская конвенция лишь подтвердила союз, заключенный в Тильзите. Франция признала права России на Финляндию и Дунайские княжества, правда, оговорила, что Стамбул должен добровольно передать эти княжества Петербургу. Несмотря на все старания, Наполеону так и не удалось втянуть Россию в войну против Австрии и тем более в столкновение с Англией; однако и Александр не сумел добиться вывода французских войск из Польши и Пруссии.

После Эрфурта из-за распространения массы слухов, в том числе и самых вздорных, Сперанский по распоряжению Александра I написал текст указа «О составе статей для напечатания в газетах». В нем говорилось:

«1) Составление этих статей, для связи и единообразия, поручается одному лицу — статс-секретарю Сперанскому.

2) Министры по наблюдению случаев и происшествий и по соображению их будут доставлять к Сперанскому записки, означая в них кратко «разум» статей и где нужно прилагая выписки из самых бумаг.

3) Статс-секретарь, составив надлежащие проекты, будет представлять их на высочайшее усмотрение и по утверждении отправлять для напечатания...»^[219]

Отвлечемся на время от перипетий русско-французского противостояния и попробуем оправдать название заголовка данного раздела, говорящего о борьбе России всё-таки на нескольких фронтах. В начале XIX века ей действительно пришлось принять участие в пяти войнах: с Англией (1807–1812), в процессе которой в устье реки Тахо (португальски Тежу) была пленена эскадра адмирала Сенявина; с Австрией (1809) — в результате Россия получила округ в Восточной Галиции; с Персией (1804–1813), с Турцией (1806–1812) и со Швецией (1808–1809). Войны с Англией (если иметь в виду активную фазу боевых действий) и с Австрией оказались настолько скоротечными, что их следовало бы отнести к разряду вялых полубоевых столкновений, не имевших никаких серьезных последствий. Война со Швецией носила более упорный характер и закончилась Фридрихсгамским миром (1809), по которому Россия получила

Финляндию и Аландские острова на Балтике.

Самыми долгими и упорными оказались войны с Турцией и Персией. Всё началось с того, что султан Селим III заменил господарей Молдавии и Валахии боярами-франкофилами. В ответ на это осенью 1806 года Россия без объявления войны вторглась в Румынию и заняла Яссы и Бухарест. Борьба с турками, к несчастью, изобиловала околоштабными маневрами и интригами. То Николай Михайлович Каменский на посту главнокомандующего сменил престарелого князя Александра Александровича Прозоровского, чтобы потом в свою очередь уступить этот пост Кутузову, то неугомонный Прозоровский требовал абшида последнего. Петр Иванович Багратион добивался отставки Михаила Андреевича Милорадовича, но его самого вскоре отозвали из-за беспорядка, царившего во вверенных ему частях. В 1810 году Турция и Персия даже заключили союз, но, по словам известных французских историков Э. Лависса и А. Рамбо, «обе стороны выиграли от этого мало; прежде их били порознь, теперь — вместе»^{220}.

Русско-персидская война закончилась осенью 1813 года Гюлистанским мирным договором, по которому персы признали присоединение к России Карлти-Кахети, Мегрелии, Имеретии и нескольких прикаспийских ханств. Стороны заключили оборонительный союз, а Россия получила еще и право свободного плавания по Каспийскому морю. Русско-турецкая война завершилась чуть раньше (и очень вовремя) — весной 1812 года Бухарестским миром, по которому Россия приобретала Бессарабию с границей по Пруту, но отказывалась от требования независимости Молдавии и Валахии. Мир, заключенный с турками Кутузовым, показался Александру I слишком скромным с точки зрения интересов России, а потому не прибавил Михаилу Илларионовичу императорского благорасположения.

Возвращаясь к отношениям между Россией и наполеоновской Францией, следует признать, что тильзитские и эрфуртские договоренности при всем желании не могли соблюдаться Петербургом в полном объеме. Прежде всего это касалось запрета на торговлю с Англией, которая до блокады была главным торговым агентом России и поглощала более 60 процентов ее экспорта. Сокращение торговли с англичанами привело к тому, что уже в январе 1808 года рубль стал стоить 75 копеек, а весной — 50 копеек. Поэтому контрабандная торговля, поощряемая правительством, процветала и, несмотря на окрики из Парижа, Петербург не собирался с ней бороться. Не менее важными можно считать и две внешнеполитические проблемы, по поводу которых Наполеон и Александр

не смогли прийти к единому мнению. Самой острой из них оказалась польская. Великое герцогство Варшавское разместилось на западной границе России, и поляки собирались с помощью Парижа потребовать у восточного соседа все области, потерянные во время разделов Речи Посполитой.

Наполеон пытался усыпить подозрительность Александра, уступив России Белостокскую и Русинскую области. Однако в Петербурге знали о надеждах, возлагавшихся полякам на Бонапарта, а также о том, что герцогство в любой момент могло увеличиться за счет части Галиции и Данцига. С другой стороны, в преддверии разрыва с Наполеоном Александр смотрел на восстановление независимого западного соседа (но уже под эгидой России) как на одну из главных внешнеполитических задач и даже хотел в 1811 году вторгнуться в Польшу, чтобы насильно превратить ее в союзника Петербурга. Не менее остро он воспринял захват Наполеоном герцогства Ольденбургского. Александр просто вынужден был выступить в защиту герцога, своего родственника, и предпринять некоторые дипломатические и экономические шаги.

В последний день 1810 года Россия приняла «Положение о нейтральной торговле» — новый таможенный устав, повышавший пошлины на все иностранные товары, в том числе и французские, на 50 процентов и снижавший или отменявший пошлины на экспорт. Как справедливо заметил историк В. Г. Сироткин, до сих пор России и Франции удавалось избегать прямых столкновений, прикрываясь ссылками на туманные статьи Тильзитского договора; теперь же они сошлись лоб в лоб — правда, пока только на торговой почве. Но уже не за горами было время, когда им пришлось скрестить оружие^{221}.

Стремясь теснее привязать к себе Россию, а заодно укрепить собственное положение в семье европейских монархов, Бонапарт в 1808 году сделал предложение руки и сердца сестре Александра I Екатерине Павловне. Официальный ответ Петербурга гласил, что великая княжна еще слишком молода, по неофициальным же каналам Наполеону передали фразу предполагаемой невесты: «Я скорее пойду замуж за последнего русского истопника, чем за этого корсиканца!»^{222} Дело явно шло к разрыву отношений между двумя державами. Можно сказать, что на рубеже 1810–1811 годов российский император испытал почти облегчение, положив конец комедии, которую он вынужден был разыгрывать на протяжении долгих месяцев. Теперь всё становилось на свои места.

Было бы наивным полагать, что в русском обществе не возникало

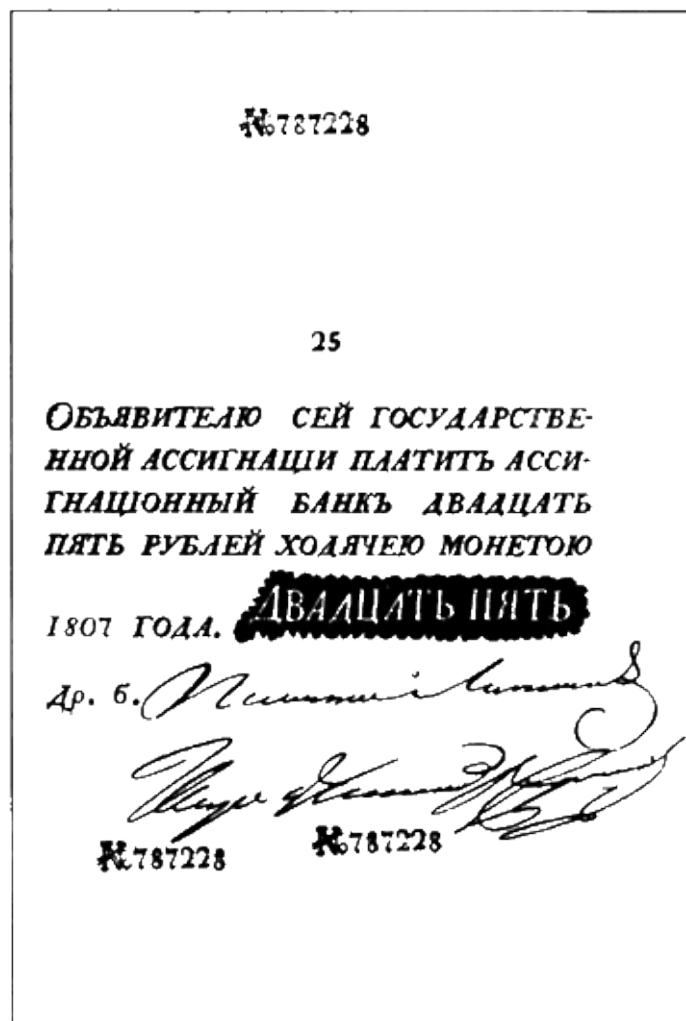
сомнений и опасений по поводу новой войны с Наполеоном. Колебался и сам Александр Павлович. Он хотел этой войны, да и не мог игнорировать мощную волну патриотизма, охватившего и образованное общество, и широкие народные массы. Вместе с тем монарх считал Наполеона непобедимым и не доверял способностям собственного генералитета и военной мощи России. Однако уже в 1811 году государь в разговоре с французским посланником в России Арманом де Коленкурром (в 1807 году он был назначен на этот пост вместо Савари) произнес пророческие слова: «Если жребий оружия решит дело против меня, то я скорее отступлю на Камчатку, чем уступлю свои губернии и подпишу в своей столице договоры, которые являются только передышкой... За нас будут наш климат и наша зима»^{223}.

Героический 1812-й

Отечественная война 1812 года является не только ярчайшим событием первой четверти XIX века, но и одной из важнейших страниц в истории России. Этому событию посвящено огромное количество научной, научно-популярной и художественной литературы, а потому попытка подробно, в деталях рассказать о нем уведет нас слишком далеко от главного предмета нашего повествования. Не пытаюсь объять необъятное, поговорим не столько о героических и трагических перипетиях 1812 года, сколько о роли в них и поведении российского императора. Начать же следует, видимо, с причин столкновения России и Франции, поскольку эти причины не только разнообразны, но и необычайно важны для дальнейших судеб всего континента.

Главную роль в вооруженном противостоянии двух империй сыграло столкновение претензий Бонапарта на мировое господство с желанием Александра I обустроить Европу в соответствии с собственным видением справедливого миропорядка. Если попытаться конкретизировать это положение, то придется обратиться к уже упоминавшимся выше сюжетам. Участие России в континентальной блокаде Англии беспощадно разрушало российскую экономику. Во всяком случае, внешняя торговля империи сократилась за годы этой блокады на 43 процента, а дефицит бюджета в 1801–1811 годах вырос с 12,2 миллиона рублей до 157,5 миллиона, что повлияло и на платежеспособность российского бумажного рубля — он, в конце концов, стал стоить всего лишь 33 копейки серебром. Нелишним будет напомнить и о непримиримости сторон в польском и германском

вопросах. Можно лишь добавить, что герцог Петр Ольденбургский приходился Александру 1 двоюродным дедом по отцовской линии, а его сын Петр Фридрих Георг (Георгий Петрович) в 1809 году стал мужем великой княжны Екатерины Павловны. Кроме указанных территорий интересы России и Франции столкнулись также на Ближнем Востоке, в частности в Турции.



Двадцатипятирублевая ассигнация образца 1807 года

Наконец, нельзя не упомянуть о субъективных причинах, подталкивавших двух императоров к жесткому противостоянию, а значит,

придется обратиться к сравнению черт их характеров, отметить различия в их психологии и мироощущении. С этой целью обратимся к прекрасному обзору личностных характеристик Наполеона и Александра I, сделанному в свое время писателем и историком Г. И. Чулковым. Он отмечал, что Александр никогда не переставал верить в принцип свободы, хотя не раз предавал саму свободу. Наполеон же одному из своих генералов прямо заявил: «Неужели вы принадлежите к числу идиотов, веривших в свободу?» Александр временами страшился власти; Наполеон любил говорить о ней без ложной скромности: «Моя любовница — власть». Александр грустил, отправляя армию в очередной поход; поля сражений, усеянные телами убитых, наводили на него великую скорбь. Наполеон обращался к войскам с крайне жестокими словами: «Солдаты, мне нужна ваша жизнь, и вы обязаны отдать ее мне». Александр был с людьми приветлив и любезен, Наполеон — грубоват и невежлив. В отношениях с женщинами Александр всегда вел себя как безупречный рыцарь, Наполеон же был с ними попросту бесцеремонен^{224}.

Обе стороны начали готовиться к войне задолго до ее начала, где-то с февраля — марта 1810 года. Тогдашний посол Франции в России Жак Александр Ло маркиз де Лористон составил интересные досье на 60 русских генералов с краткими, но весьма выразительными характеристиками их достоинств и недостатков как психологического, так и тактико-стратегического плана. Специальное бюро при Главном штабе Франции попыталось наводнить шпионами Литву, Лифляндию, Курляндию, Украину и Центральную Россию. Перед самым началом Восточного похода во Франции в пропагандистских целях была издана книга Шарля Луи Лезюра «Возрастание русского могущества от его возникновения до начала XIX века», где впервые было упомянуто пресловутое «завещание Петра I», якобы нацеливавшее Россию на завоевание мирового господства.

В дальнейшем удобное для антироссийской пропаганды «завещание» всплывало каждый раз, когда назревал конфликт нашей страны с Европой: в 1812 году — во Франции, в 1863-м, во время Польского восстания — там же, в 1914 и 1941 годах — в Германии в связи с началом соответственно Первой и Второй мировых войн. Кроме того, французская дипломатия приложила много усилий, чтобы заставить Россию воевать на трех фронтах: с Турцией, Швецией и Францией; однако, как говорилось выше, благодаря победам русского оружия из этих замыслов ничего не вышло.

Не оставались в долгу у французов и их русские коллеги. Два плана ведения боевых действий, разработанные в глубочайшей тайне

Александром I, М. Б. Барклаем-де-Толли, К. Л. Фулем, П. М. Волконским при участии А. А. Аракчеева, носили или сугубо оборонительный, или оборонительно-наступательный характер: предполагалось наносить фланговые удары по силам Наполеона, занятым борьбой с центром русских войск.

Согласно плану Фуля ранней весной 1812 года началось строительство двух укрепленных лагерей — у Дриссы (ныне Верхнедвинск Витебской области) и Киева. В плане прусского генерала на российской службе все действия русских войск были строго регламентированы, а их роли жестко прописаны. Барклай же, как свидетельствуют его записки, предлагал «действовать по обстоятельствам»: или ударить по левому флангу противника через Пруссию и Польшу, или отступить вглубь России, растягивая его коммуникации и готовя фланговые удары. Именно ради этих возможных ударов русские силы были разделены на три армии. По мнению историка В. М. Безотосного, фигура Фуля оказалась избрана монархом лишь как подходящий «громоотвод». С одной стороны, действительно не нашлось ни единого генерала в Главной квартире, не подвергшего критике незадачливого коллегу. С другой стороны, летом 1811 года Александр, пусть и неофициально, утвердил план Фуля, то есть какие-то надежды на его успех у императора существовали.

Французские шпионы, в изобилии засланные в Россию, в основном быстро попадали под строгое наблюдение русских военных властей и становились источниками дезинформации Парижа. В свою очередь флигель-адъютант Александра I Александр Иванович Чернышев, будучи в специальной командировке в столице Франции, втерся в доверие к лицам из ближайшего окружения Наполеона (зачастую просто подкупая их) и сумел достать французские мобилизационные планы и общую роспись войск Франции и ее союзников с указанием численности каждого полка. После этого российским властям стало понятно, с какими неприятельскими силами им придется иметь дело.

Когда речь идет об успехах российской разведки, обычно упоминается только миссия Чернышева; однако особо стоит рассказать о деятельности в Париже Ивана Осиповича Витта. Канцелярский работник Главного штаба, он в 1805 году ушел в действующую армию, получил контузию при Аустерлице, но остался в строю. В Тильзите Витта познакомили с Наполеоном, после чего 26-летний полковник вышел в отставку и... исчез. Только через три года до Петербурга начали доходить слухи, что Витт бежал во Францию и поступил на службу к Наполеону. Иван Осипович каким-то образом действительно сделался начальником временной

канцелярии Бонапарта, побывал с французским императором в Испании, а затем был отправлен с тайной миссией на Балканы. Именно Витт организовал и курировал переписку Наполеона с его польской любовницей Марией Валевской. Вершиной его французской карьеры стал пост теневого представителя императора в Варшаве. За две недели до вторжения Наполеона в Россию Витт объявился в штабе 1-й русской армии, которой командовал Михаил Богданович Барклай-де-Толли, с целым портфелем секретных документов, в которых содержались дата и маршруты вторжения французов, основные места переправ через Неман, списки завербованных в России агентов и т. п. Чуть позже Витта доставили в Петербург, и он пять часов кряду беседовал с Александром I, пытаясь, среди прочего, убедить монарха, что Дрисский лагерь является ловушкой для русской армии. Из кабинета государя Иван Осипович вышел уже не полковником, а генерал-майором.

Для полноты картины еще раз напомним, что российская дипломатия сумела добиться нейтралитета Швеции. Сделать это оказалось не очень сложно, поскольку новым наследником шведского престола был избран бывший маршал Франции Жан Батист Бернадот (стал шведским королем в 1818 году), который то ли по идейным, то ли по личным причинам (что для российской дипломатии было совершенно безразлично) терпеть не мог Наполеона. А 28 мая 1812 года Кутузову удалось подписать Бухарестский мирный договор с Турцией, после чего 52-тысячная Дунайская армия высвободилась для борьбы с французской агрессией.

Желая лично предводительствовать войсками, Александр I в конце апреля 1812 года отправился в Вильно. Прибыл он в город вместе с собственным штабом, члены которого в массе своей завидовали Барклаю-де-Толли, а потому с большим или меньшим успехом интриговали против него. Более того, на второй день по приезде монарх принял на службу давнего недоброжелателя Барклая генерала Леонтия Леонтьевича Беннигсена, что еще сильнее накалило ситуацию в Главной квартире. А вскоре Александр потребовал присылать рапорты командиров корпусов и командующих армиями в Главную квартиру лично ему, минуя командующего армией, объявив при этом, что Барклай-де-Толли сохраняет все свои полномочия.

Положение складывалось достаточно пикантное, поскольку по закону, если монарх находится при армии, то командовать ее действиями должен именно он. Таким образом, у самой мощной русской армии появилось сразу два предводителя, при этом далеко не во всем согласных друг с другом. Барклай упорно игнорировал царских советников и даже не

стеснялся порой высказывать недовольство самому Александру I — скажем, когда тот без его ведома сменил командира одного из корпусов. В письме жене, отправленном в эти непростые дни, Барклай откровенно негодовал: «Я нахожусь в войсках в виду неприятеля и в Главной квартире почти не бываю, потому что это настоящий вертеп интриг и кабалы»^[225].

Александр Павлович, верный своим привычкам и пристрастиям, проводил время в Вильно, устраивая парады или пребывая на церковных службах. Причем подготовка к последним иногда носила довольно экстравагантный характер. Флигель-адъютант государя и будущий декабрист С. Г. Волконский вспоминал, что однажды он с сослуживцем Лопухиным, опаздывая на всенощную, решил проникнуть в дворцовую церковь не с парадного входа, «...придворный лакей воспрещает нам взойти в церковь. На спрос наш, почему? — он отвечал: «Нельзя, там Государь». — «Да что же он там делает, ведь служба не началась?» На это он отвечал нам: «Делает репетицию церковного служения»^[226]. Вряд ли подобное могло прийти в голову какой-либо другой коронованной особе, но для Александра любое появление на людях превращалось в некое театрализованное действо.

В момент перехода наполеоновскими войсками российской границы Александр I находился на балу в поместье Беннигсена Закрет. За неимением большого зала было решено построить в саду деревянную галерею. Накануне бала император получил анонимную записку, где сообщалось, что галерея ненадежна и может обрушиться во время танцев. Он послал директора военной полиции де Санглена проверить это сообщение. Едва тот прибыл в Закрет, как галерея с грохотом рухнула; архитектор, возводивший ее, скрылся в неизвестном направлении. Выслушав доклад де Санглена, монарх приказал расчистить место рухнувшей постройки и организовать танцы под открытым небом. Здесь он и получил от министра полиции А. Д. Балашова известие о начале переправы французской армии через Неман. Александр попросил сохранить его в тайне и продолжал очаровывать присутствующих своей любезностью.

В первые дни войны 1812 года он отправил к Наполеону Балашова с письмом, надеясь не то чтобы устыдить французского собрата, а, скорее, потянуть время. Французский император заявил посланцу: «Будем договариваться сейчас же, здесь, в самом Вильно... Поставим свои подписи, и я вернусь за Неман». В ответном же письме Александру Наполеон и вовсе позволил себе обидные поучения: «...если бы Вы,

пожелав внести изменения в Тильзитский договор, вступили бы в прямые откровенные переговоры, Вам принадлежало бы одно из самых прекрасных царствований в России... Вы испортили всё свое будущее»^{227}. Однако договариваться с противником здесь и сейчас российский монарх не собирался.

Наполеон стянул к российской границе 640 тысяч человек, русские же армии стояли в Молдавии, на Кавказе, в Крыму, в Финляндии, в Закавказье на границах с Персией и в многочисленных гарнизонах внутри страны. В результате против французов действовали около 48 процентов всех русских сил. С самого начала войны Александр намеревался оставаться с войсками, но после ухода 1-й армии из Дрисского лагеря закончилась и его полководческая деятельность. Ведь план Фуля был и его планом, взлелеянным долгими раздумьями и беседами с прусским генералом. К тому же А. С. Шишков, А. А. Аракчеев и А. Д. Балашов в коллективном письме убедили его покинуть армию. В частности, в нем говорилось: «Государь и отечество есть голова и тело: одно без другого не может быть ни здраво, ни цело, ни благополучно»^{228}.

Собственно, они предложили Александру исполнить новую для него роль — не военачальника, а народного вождя, что показалось монарху не только интересным, но и достаточно важным. Поэтому в июле он покинул армию и вернулся в Петербург. Тогда же определилась и стратегия действий русских армий, авторство которой трудно приписать одному Барклаю-де-Толли. Во всяком случае, Александр Павлович еще из Вильно извещал председателя Комитета министров Н. И. Салтыкова: «Решиться на генеральное сражение столь же щекотливо, как и от него отказаться. В том и другом случае можно легко открыть дорогу на Петербург, но, потеряв сражение, трудно будет исправиться для продолжения кампании... Единственно продолжением войны можно уповать с помощью Божиею перебороть его»^{229}. Армию же монарх покинул, надо думать, не только по просьбе ближайшего окружения, но еще и потому, что считал: возможный разгром ее во главе с Барклаем будет воспринят населением легче, чем во главе с императором.

Он был убежден, что Наполеон с самого начала, с 1805 года, старался дискредитировать русского коллегу как человека, не обладающего ни достаточным мужеством, ни какими бы то ни было способностями военачальника. Кроме того, по мнению Александра, император Франции поставил себе еще одну задачу — попытаться внести раскол в царскую семью. Спор о мужестве и талантах пришлось отложить до более поздних

времен, а вот раскол в царствующей фамилии, судя по поведению вдовствующей императрицы Марии Федоровны и великого князя Константина Павловича, действительно существовал. Правда, Александр I никак не реагировал на панические просьбы и заклинания матери и брата, считая само их появление следствием происков «коварного корсиканца».

Гораздо больше его заботили распространявшиеся в России прокламации Наполеона, содержавшие глухие намеки на возможность отмены крепостного права и призывы к восстанию крестьян против помещиков. Александр знал, что эти намеки не были пустым звуком. Отмена феодальных отношений стала одной из действенных мер французов на захваченных ими территориях. В 1806 году Наполеон отменил крепостное право в Пруссии, а в 1807-м — в герцогстве Варшавском. Доносили российскому монарху и о том, что в Витебской и Смоленской губерниях начались крестьянские волнения, хотя в какой степени они были вызваны французскими прокламациями, а в какой являлись следствием давней ненависти к помещикам, сказать невозможно.

Ясно одно — большинство крепостных во внутренних российских губерниях не собирались получать волю из рук Антихриста, проклинаемого с церковных амвонов. Да и сам Наполеон, не желая свергать Александра I с престола и вызывать тем самым негодование всех монархов Европы, не решился объявить об отмене крепостного права в захваченных французами российских губерниях. Не собирался он и всерьез поддерживать борьбу крестьян против помещиков, потому что никто не мог предугадать, против кого в следующий момент будет направлен гнев народных масс, в какую сторону повернут они оружие. Так что разговоры об отмене крепостного права в России оказались в его пропаганде скорее средством психологического давления.

Покинув армию, Александр по дороге в Петербург посетил Москву, где его ждал восторженный прием жителей. «Государь, — записал очевидец, — проезжая по одной из улиц, уронил платок. Народ бросился поднимать его и просил подарить ему платок: «Батюшка! У тебя платков много, а ты у нас один — пожалуй нам его». Лишь только государь изъявил свое согласие, как платок был разорван на мелкие куски, а каждый, получивший кусочек, нес его домой, как святыню»^{230}. Так что вряд ли прав Адам Чарторыйский, утверждавший: «Александр не пользовался популярностью. По своему характеру он не был русским человеком. Отличаясь от русских хорошими и дурными качествами, он, в кругу своих, был похож на экзотическое растение и никогда не был счастлив»^{231}.

Точнее, польский аристократ ошибался, если говорил так обо всём периоде царствования Александра I; во всяком случае, в начале 1812 года авторитет царя в глазах народа сомнений не вызывает.

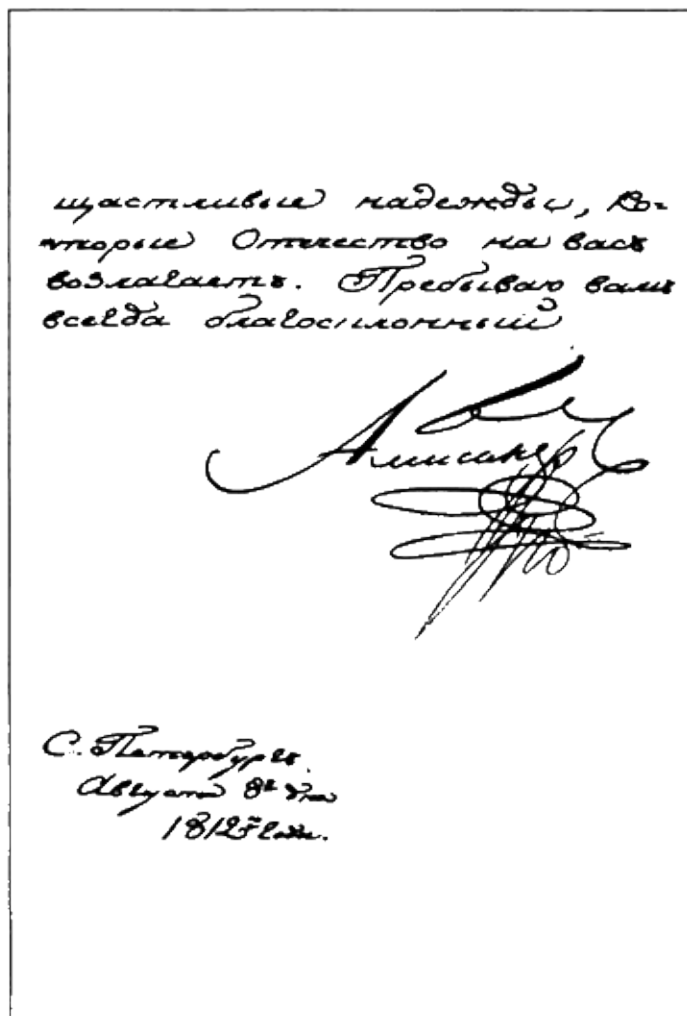
В эту грозную и героическую годину он старательно пытался вжиться в новую для себя роль. Отныне монарх стал воплощением патриотического подъема россиян, и общественное мнение, до этого относившееся к нему достаточно скептически, начало призывать сограждан сплотиться вокруг трона. Вместе с тем в 1812 году Александру Павловичу действительно пришлось пережить много не просто неприятных, а поистине трагических минут, дней и месяцев. Спасительное — но таким оно будет признано гораздо позже! — отступление русских армий вглубь страны, вызывавшее раздражение и у армии, и у мирного населения, падение Смоленска, за который Барклай-де-Толли обещал царю драться, но не стал давать генерального сражения французам, считая это самоубийственным для армии. Наконец, назначение под давлением дворянского общества в августе на пост главнокомандующего М. И. Кутузова, с которым после Аустерлица у царя были очень сложные отношения.

По поводу этого назначения Александр писал 18 сентября 1812 года сестре Екатерине Павловне: «Так как я знаю Кутузова, то противился сначала его назначению, но когда Ростопчин... известил меня, что и в Москве все за Кутузова... мне не оставалось ничего другого, как уступить общему мнению... После того, что я пожертвовал для пользы моим самолюбием, оставив армию, где полагали, что я приношу вред... судите, мой друг, как мне должно быть мучительно услышать, что моя честь подвергается нападкам... Я далек от того, чтобы упасть духом под гнетом сыплющихся на меня ударов. Напротив, более чем когда-либо я решил упорствовать в борьбе, и к этой цели направлены все мои заботы»^[232].

Михайло Парюковиче!

Настоящее положение военных обстоятельств наших действующих Армии, хотя и предшествовало было началу нашей успешности; но последние успехи наших неопровержимо свидетельствуют о твоей быстрой деятельности, с Калитовым же надлежало действовать на поражение неприятеля.

Сображаясь с последствиями и извлекая истинную пользу приемы, Калитову нужны: на знаменном надлежит встать действующим Армии одного общему Главнокомандующему;



Рескрипт Александра I М. И. Кутузову о назначении его главнокомандующим русской армией с собственноручной подписью. 8 августа 1812 г.

Нападки, сыплющиеся удары — это, конечно, не только о назначении Кутузова, но главным образом о занятии Наполеоном Москвы. Падение древней столицы действительно стало для Александра I страшным ударом. Хотя и здесь, как в жизни бывает достаточно часто, не обошлось без доли смеха сквозь слезы. Московский полицмейстер, оставляя город, должен был отправить государю соответствующее донесение. Н. И. Тургенев рассказывал: «Следуя официально форме, употребляемой в подобных случаях и не позволявшей довольствоваться «честью» при обращении к

императору... он писал: «Имею счастье известить Ваше Величество, что французы заняли Москву» и т. д., и т. п.»^{233}. Царский камердинер говорил, что после получения известия о сдаче Москвы всю ночь слышал шаги монарха в кабинете. Утром, когда тот вышел к завтраку, все заметили в его прическе массу седых волос.

Московский пожар, судя по воспоминаниям близко знавших Александра людей, стал для него отправной точкой духовного перелома. Роль, исполняемая им, снова начала меняться. Теперь он ощущал себя не самостоятельным предводителем нации, а вождем богоизбранного народа, действия которого диктовались свыше. В эти месяцы Александр Павлович постоянно обращался к Новому Завету и прежде всего к строкам Апокалипсиса, особенно близким ему, поскольку, по его словам, в них «нет ничего, кроме ран и шишек». Сестра, принцесса Екатерина Павловна Ольденбургская, между тем писала брату о слухах, распространявшихся в свете: «Взятие Москвы довело сильное раздражение до апогея; недовольство достигло высшей точки, и Вас не щадят... Вас открыто обвиняют в несчастиях Вашей империи, в общих и частных провалах, наконец, в потере чести страны и Вашей чести лично»^{234}.

И это были не пустые слова. 15 сентября, в день годовщины коронации, Александр, по словам фрейлины его жены Р. С. Стурдза, впервые из предосторожности отправился на торжественную церемонию не верхом, а в карете с императрицей. «Мы ехали, — пишет она, — шагом в карете о многих стеклах, окруженные несметною и мрачно-молчаливою толпою... Никогда в жизни не забуду тех минут, когда мы вступали в церковь, следуя посреди толпы, ни единым возгласом не заявлявшей своего присутствия. Можно было слышать наши шаги, а я была убеждена, что достаточно малейшей искры, чтобы всё вокруг воспламенилось. Я взглянула на государя, поняла, что происходит в его душе, и мне показалось, что колена подо мною подгибаются»^{235}. После занятия Москвы французами в Петербурге началась паника, охватившая и некоторых членов царствующей фамилии. С ней Александр боролся особенно жестко. Когда Мария Федоровна попыталась уехать из столицы, монарх заявил ей: «Ваше Величество! Я как сын умолял вас остаться — теперь я как император требую, чтобы вы остались»^{236}.

Он постоянно выслушивал просьбы, а то и подвергался нападкам со стороны матери, брата Константина, Н. П. Румянцева, А. А. Аракчеева и других сановников, которые порой истерично заклинали его согласиться на мирные переговоры с Наполеоном. Эти просьбы и нападки заставили

монарха как можно меньше встречаться с окружающими. Он запирался у себя в кабинете, порой забывал подписывать бумаги. Говорили, что он сделался даже более сутулым и улыбка всё реже появлялась на его лице.

Наполеон же, который изначально надеялся разгромить русские армии в генеральном сражении где-то в Литве или Белоруссии, вопреки своей стратегии, оказался в глубине России. Теперь он постоянно пытался связаться с Александром I и начать с ним мирные переговоры. Еще в июле 1812 года Бонапарт послал свои предложения царю через Балашова, но ответа не получил. 24 августа из Смоленска он написал царю письмо — результат оказался таким же. Когда Кутузов принял в ставке под Москвой французского генерала Лористона, который привез от Наполеона новое предложение начать мирные переговоры, то получил от Александра Павловича нагоняй, хотя ничего не обещал французу. Без ответа остались все попытки французского императора связаться из Москвы со своим русским коллегой — тот руководствовался правилом, выработанным им в начале войны: никаких переговоров до тех пор, пока хоть один неприятельский солдат находится в пределах России.

В такой ситуации Александр I в полной мере заслужил лестный отзыв, данный ему умным и наблюдательным современником событий. «Император, — писал Ж. де Местр, — воистину восхищает меня. Он принес колоссальные жертвы, преодолел ужасающие трудности... Не сомневаюсь, что ему пришлось пойти на многое противу собственной натуры и собственных убеждений... Во всём свете немало говорится о необъятной власти Российского Императора; при этом забывают, что наименее могущественен тот государь, который может всё»^{237}. Может быть, самой большой жертвой со стороны монарха стало то, что он, несмотря на неумное желание, заставил себя не вмешиваться в руководство военными действиями, а самой большой заслугой — категорический отказ вступать с неприятелем в переговоры.

Флигель-адъютант полковник Александр Францевич Мишо, привезший Александру I известие, что после битвы при Малоярославце Наполеон повернул на старую Смоленскую дорогу, предложил императору лично возглавить войска. Монарх на это ответил: «Все люди честлюбивы, признаюсь откровенно, что я не менее других... Знаю, что если я буду при армии, то вся слава успеха отнесется ко мне и что я займу место в истории. Но когда подумаю, как мало опытен я в военном деле... тогда, несмотря на мое честлюбие, я охотно готов жертвовать личною славою для блага армии. Пусть пожинает лавры тот, кто более меня достоин их»^{238}.

Взвешенные и достойные слова.

Наделе же всё было гораздо сложнее и куда менее пафосно. По свидетельству будущего флигель-адъютанта, генерала и историка Александра Ивановича Михайловского-Данилевского, Александр не любил вспоминать о Бородинской битве и вообще о народной войне 1812 года. С другой стороны, желая подчеркнуть связь с армией, монарх повелел соорудить знаменитую Военную галерею, соединив в ней портреты генералов, участников Отечественной войны и Заграничных походов русской армии. В то же время годовщина Бородинской битвы в годы его правления никогда не отмечалась даже благодарственным молебном. Зато о вступлении союзных войск в Париж Александр любил вспоминать и не уставал рассказывать о грандиозном смотре войск в Вертю. Ничего удивительного в этом не было. В 1812 году он занимался делами отнюдь не героическими: изыскивал людские резервы, руководил закупкой лошадей, вел переговоры с британскими союзниками, не слишком успешно торопя их с выплатой обещанных денег. Получать же английское оружие Россия начала лишь в 1813 году.

Всё это было, безусловно, необходимо, но совершенно не гарантировало упоминания имени Александра Павловича на скрижалях Истории, к чему он неустанно стремился. Во время войны 1812 года, которая выросла в национальное движение и стала Отечественной, он испытывал заметное отчуждение от этого события и особенно от крестьянского партизанского движения. Это отчуждение казалось ему оскорблением его монаршего и полководческого самолюбия, а потому он реагировал на всё очень остро. Когда английский генерал Вильсон приезжал к царю «от имени всей армии» с требованием не начинать никаких переговоров с Наполеоном, Александр, вместо того чтобы радоваться единству своего мнения с позицией армии, счел эти призывы «неуместными и неприличными». Он также утверждал, что Кутузов не совершил ничего такого, к чему не был бы вынужден обстоятельствами, и хотя осыпал старого фельдмаршала наградами и отличиями, особых военных талантов за ним никогда не признавал.

Государя не поразило и не заинтересовало даже пришедшее издалека известие: «На другом краю океана жители северных американских областей... праздновали изгнание врагов из России. Заздравный кубок за Александра Павловича сопровождался следующим приветствием: «Александрю I, великому императору всероссийскому! Он не сетует о том, что не завоевал Нового Света; он радуется тому, что спас старое полушарие»^[239]. Историк В. С. Парсамов так объясняет недооценку

монархом событий 1812 года: «...царь, оказавшийся неспособным сначала к роли полководца, а затем народного вождя, обрел новую для себя роль — это была роль человека, отвергнутого людьми и уповающего на Бога»^{240}.

И вновь, как несколько ранее по поводу одного из замечаний Чарторыйского, мы вынуждены возразить: это случится несколько позже, при совершенно иных обстоятельствах. Пока же император редактировал манифест, составленный А. С. Шишковым по случаю изгнания французов из пределов России. В той его части, где речь шла о помещиках и крестьянах, говорилось: «Существующая между ними на обоюдной пользе основанная русским правом и добродетелям свойственная связь...» Прочитав этот пассаж, Александр Павлович заявил: «Я не могу подписывать того, что противно моей совести и с чем я нимало не согласен» — и вычеркнул слова «на обоюдной пользе основанная».

А главное — он гнал и гнал Кутузова вперед, в Европу, надеясь именно там отыскать пышные лавры и увенчаться ими, что даст ему возможность занять достойное место на скрижалях Истории. При этом его не смущало то, что из стотысячной русской армии, вышедшей из Тарутина, до Вильно дошло 30–40 тысяч человек. Его также совершенно не заинтересовали внешне трезвые геополитические соображения Карамзина, сестры Екатерины Павловны, Шишкова, Разумовского или Кутузова о том, что в европейском походе напрасно прольются новые реки русской крови и что государственные интересы России лежат не в Европе, а во владениях Османской империи и вообще в Азии.

Кутузов в разговоре с английским генералом Робертом Вильсоном объяснил свою позицию: «Я вовсе не убежден, будет ли великим благодеянием для вселенной совершенное уничтожение императора Наполеона и его армии. Наследство его достанется не России или какой-либо другой из держав материка, а той державе, которая уже теперь господствует на морях, и тогда преобладание ее будет невыносимым»^{241}. С другой стороны, такими ли уж трезвыми и справедливыми были слова фельдмаршала? Конечно, выступать в роли третейского судьи во всех европейских делах — идея заманчивая, но, как уже показали первые годы царствования Александра 1, совершенно утопическая. Не преследуя Наполеона в Европе, союзные армии предоставили бы ему необходимую передышку, после которой общеевропейская война вспыхнула бы с новой силой. Дело даже не в том, что Наполеон непременно пожелал бы отомстить России за жестокое поражение. Просто вся его сила и авторитет правителя зиждились на славе военных побед, поэтому он не мог не

воевать. И Александр I это прекрасно понимал. 24 декабря 1812 года в Вильно в день своего рождения монарх сказал офицерам, предвеляя Заграничный поход: «Вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу»^{242}.

Примерно в те же дни на вопрос, заданный фрейлиной Р. С. Стурдза: «Разве кто-либо осмелится еще раз переступить наши границы?» — император ответил: «Это возможно; но если хотеть мира прочного и надежного, то надо подписать его в Париже, в этом я глубоко убежден»^{243}. Для Александра отвлеченные геополитические размышления были совершенно неинтересны. Теперь он примерял на себя роль спасителя Европы. Да и сам Кутузов после бесед с императором заметно изменил свою позицию.

Во всяком случае, родственнику Логгину Ивановичу Голенищеву-Кутузову он писал: «Берлин занять надобно было, а занявши Берлин, как оставить Саксонию и по изобилию ее, и потому, чтобы отнять у неприятеля сообщение с Польшею, Макленбург и Ганзейские города прибавляют нам способов. Я согласен, что отдаление нас от границ отдаляет нас от подкреплений наших. Но ежели бы мы остались за Вислою, тогда бы мы должны вести войну, какую вели в 1807 году. С Пруссиею союза бы не было, вся немецкая земля служила бы неприятелю людьми и всеми способами, в том числе и Австрия»^{244}. Итак, вперед, в Европу!

Во главе Европы

Главной целью Александра I теперь сделался Париж: только там, по его мнению, можно было покончить с владычеством Бонапарта на континенте и приступить к строительству новой Европы. Для осуществления этой цели нужно было сколотить очередную антинаполеоновскую коалицию, включив в нее Австрию и Пруссию. 1 января 1813 года русские войска форсировали Неман и вступили на территорию Пруссии. Берлин, раздраженный, помимо всего прочего, тем, что французы не выплатили ему 64 миллиона франков за поставленные товары и снаряжение, легко пошел на союз с Россией. Всё складывалось удачно. Но 16 (28) апреля 1813 года в силезском городке Бунцлау (ныне польский Болеславец) умер М. И. Кутузов. Последний обмен репликами фельдмаршала и императора оказался далеко не мирным. Александр обратился к умирающему соратнику со словами: «Прости меня, Михайл Илларионович!» Тот ответил: «Я прощаю, но Россия вам этого никогда не

простит»^[245]. Видимо, внешне согласившись с идеей монарха о необходимости Заграничных походов, Кутузов в душе остался при своем мнении.

Будто подчеркивая значимость потери старого полководца, союзные войска потерпели поражение от французов под Лютценом и Бауценом. Назначенный вместо Кутузова главнокомандующим Петр Христианович Витгенштейн оказался не в состоянии заменить фельдмаршала и сам попросил уволить его с этого поста. Новым предводителем союзных войск стал М. Б. Барклай-де-Толли, чье нерусское происхождение теперь не только не вызывало нареканий, но являлось заметным преимуществом. 14 июня к России и Пруссии после долгих колебаний присоединилась Австрия. Союзники, тщетно попытавшись отбить у противника Дрезден, наконец-то победили его при Кульме.

Главное же сражение «за Германию» развернулось 4–7 (16–19) октября 1813 года при Лейпциге. Оно недаром получило название «Битва народов», поскольку отличалось не только «многоплеменностью» сражающихся, но также редким упорством и кровопролитием: коалиция потеряла в нем 54 тысячи солдат и офицеров, наполеоновская армия — 65 тысяч. В этом сражении Александр осуществил свою давнюю мечту — он лично командовал успешной атакой казаков на французских кирасиров. После Лейпцига Наполеон обратился к лидерам коалиции с письмом, в котором соглашался уступить им герцогство Варшавское, Голландию, ганзейские города, государства Рейнского союза, Испанию, признать независимость Италии, но ответа так и не получил. Да и зачем было отвечать побежденному противнику, ведь после Битвы народов союзники имели полное право говорить о том, что с присутствием французов в Германии покончено.

Правда, дальше в их стане начались разногласия и споры. Ни австрийцы, ни пруссаки не горели желанием продолжать военные действия на территории Франции. Вернее, они и рады были бы пожить за счет соседки, но опасались усиления влияния России в Европе. Кроме того, Вена и Берлин хорошо помнили о той всепобеждающей волне патриотического энтузиазма, которая поднялась в свое время во Франции в ответ на попытки иностранного вторжения. Кстати, единомышленником Австрии и Пруссии в этом вопросе был адмирал А. С. Шишков, и не он один. Только упорство (или упрямство?) Александра I и мощное дипломатическое давление Англии, обещавшей союзникам щедрую финансовую поддержку, заставили венский и берлинский дворы изменить свою позицию. К 20 декабря 1813 года союзные войска форсировали Рейн,

но их начальные шаги трудно назвать удачными. Французы, отважно противостоявшие противнику, одержали 12 побед в первых четырнадцати сражениях за Рейном. Коалиция вновь оказалась на грани развала, и для поддержки в ней единства снова потребовались настойчивость Александра I и давление британского правительства.

Окончательно поправила дела союзников серия побед над Наполеоном в начале марта 1814 года. 18 марта капитулировал Париж, 25 марта французский император отрекся от престола, а 30 марта подписал мирный договор в Фонтенбло, после чего был сослан на остров Эльба. Александр I мог с полным основанием ликовать, говоря Ермолову: «Ну что, Алексей Петрович, скажут теперь в Петербурге? Ведь, право, было время, когда у нас, величая Наполеона, меня считали за простачка»^{246}. Правоту монарха вынуждены были признать даже те, кто отнюдь не был к нему расположен. В декабре 1813 года генерал Дмитрий Сергеевич Дохтуров писал жене, что Александр «почтен как спаситель целого света, уважаем как добрый, бескорыстный победитель; увидишь, что, ежели угодно будет Богу, кончит благополучно сию войну, то он не отделается от наименования Великого. Правда, что по всей справедливости заслуживает: всем один управляет (кто бы подумал!) как военными, так и политическими делами; мы много ему обязаны... он умеет держать коалицию в большом порядке, все от него без памяти, стараются ему угодить, и его слово есть закон. Вот, мой друг, каков он; как много мы в нем ошибались»^{247}.

Заметим, что к побежденному противнику Александр Павлович отнесся на редкость снисходительно. Он въехал в Париж в сопровождении лишь одного казака и вообще был во время пребывания во французской столице покоен и печален, прогуливаясь верхом или пешком без всякой свиты. Согласно Парижскому договору Франция возвращалась к границам, существовавшим до января 1792 года, то есть лишалась почти всех своих завоеваний. Правда, за ней всё-таки сохранялись северо-восточные регионы, Шамбери в Савойе, бывший папский анклав Авиньон и некоторые колонии в Новом Свете. Поэтому территория и население Франции оказывались больше, чем во времена Людовика XVI. Наполеон, как упоминалось, отправился на Эльбу, а не на Азорские острова, на чем настаивали Вена и Берлин. Ему была положена ежегодная пенсия в два миллиона франков и оставлены 500 человек «старой гвардии».

После капитуляции Парижа Государственный совет, Сенат и Синод хотели поднести Александру адрес: «Александру Благословенному, императору всей России, великодушному восстановителю европейских

держав, благодарная Россия». Он адреса не принял, сказав, что лучшей наградой ему будет память в сердцах народа (своеобразный синоним скрижалей Истории).

Поведение Александра I, его скромность, вежливость, умеренность в претензиях к Франции и французам быстро сделали его кумиром парижан. Вступая в Париж, он отменил унижительный обычай поднесения победителю ключей от города. В то время как союзники забирали у Франции порты, крепости, корабли, пушки, припасы, отхватывали себе территории в Италии или на Балканах, Александр не брал ничего. Более того, он спас от разграбления Лувр и воспротивился странному намерению прусского маршала Блюхера взорвать мост через Сену. По его приказу из-под караула было освобождено полторы тысячи наполеоновских солдат, захваченных в ходе французской кампании. Царь не дал роялистам снести колонну со статуей Наполеона на Вандомской площади, заметив лишь, что если бы его вознесли на такую высоту, то у него тотчас закружилась бы голова. (Не обратив внимания на эти слова брата, Николай I воздвиг колонну, получившую название Александровской, на Дворцовой площади российской столицы.)

Александр I имел полное основание писать А. Н. Голицыну: «Все спешили обнимать мои колени, все стремились прикоснуться ко мне; народ бросался целовать мои руки, ноги, хватались даже за стремяна, оглашали воздух радостными криками, поздравлениями». Французы действительно бесновались, повторяя на все лады: «Как прекрасен император Александр, как любезно он приветствует! Желательно, чтобы он остался в Париже или дал бы нам государя, подобного себе»^{248}. И конечно, не обходилось без сравнения Александра с Наполеоном, причем второй явно проигрывал первому. Там, где Наполеон заявлял: «Моя воля», — Александр скромно говорил: «Провидение»; где Наполеон командовал: «Война», — Александр уверенно произносил: «Мир». Он не приказывал, как Наполеон, а деликатно просил. Гордости и самовлюбленности в данном случае противостояли скромность и смирение. Наполеон хотел, чтобы перед ним трепетали, Александр ставил своей задачей быть любимым.

Престиж русского царя был так велик, что один французский генерал именно его просил поддержать свое прошение к королю по поводу ордена за бои на Рейне против... русских. Насилие и мародерство со стороны своих солдат Александр наказывал сурово, вплоть до смертной казни. До возведения на престол Людовика XVIII Францией по его предложению управляло Временное правительство, состоявшее из шестидесяти четырех сенаторов во главе с Шарлем Морисом де Талейраном. Наконец,

встретившись с агентом Бурбонов Витрелем, Александр Павлович шокировал того словами: «Разумно организованная республика более соответствовала бы французскому духу. Идеи свободы не могли развиваться безнаказанно в течение столь долгого времени в стране, подобной вашему отечеству»^{249}.

Именно по настоянию русского императора Людовик XVIII вернулся во Францию не как абсолютный, а как конституционный монарх, связанный особой «хартией», гарантировавшей равенство всех граждан перед законом, религиозную терпимость и сохранявшей Гражданский кодекс Наполеона и конкордат с папой римским. Исполнительная власть оставалась за королем, но была учреждена двухпалатная Ассамблея, основанная на ограниченном избирательном праве и обладающая пусть и неполной, но всё-таки законодательной властью. Когда в апреле 1814 года Людовик XVIII прибыл в Компьен, Александр I обратился к нему с просьбой сохранить как государственный символ трехцветную кокарду и посоветовал «поощрить воспоминания о двадцати годах славы Франции».

Неудивительно, что Людовик отнесся к своему русскому собрату с недоверием, держал себя с ним высокомерно и подчеркнуто холодно. Усевшись в удобное кресло, он предложил Александру I обычный стул и разговаривал с гостем, что называется, «через губу». Во время обеда, когда лакей хотел налить суп Александру, Людовик совсем негостеприимно потребовал: «Первому мне, пожалуйста!» Русский император, естественно, пришел в ярость и, уезжая с обеда, бросил своей свите: «Бурбоны, не исправившиеся и неисправимые, полны предрассудков старого режима!»

Париж же продолжал славить русского монарха. В знаменитом театре «Гранд-опера» был устроен грандиозный праздник в его честь, на котором звучали строфы:

*Славься, Александр,
Король всех королей!
Нас покоряет
Он скромностью своей.
Славен втройне он,
Прекрасен его трон.
Героем справедливым
Нам возвращен Бурбон*^{250}.

Парижане ликовали и с интересом рассматривали австрийских драгунов или прусских гусаров — экзотических казаков им доводилось видеть гораздо реже. В то время как австрийские и прусские войска пользовались достаточной свободой, русское командование старалось своих солдат прятать от глаз парижан в пригородах, где они изнывали от бесконечных, набивших оскомину строевых учений и показательных парадов. (Причиной подобного распоряжения могло стать и растущее дезертирство русских солдат. Беглецов с удовольствием принимали французские крестьяне, чье хозяйство страдало от хронической нехватки рабочих рук, унесенных войнами.) «Толерантность» Александра I дошла до того, что он приказал за незначительный проступок против союзников посадить русских офицеров на английскую гауптвахту. Смелая попытка А. П. Ермолова спасти армию от подобного оскорбления национального чувства ни к чему не привела. Подчеркнуто вежливый с иностранцами и внешне смиренный монарх, по свидетельству Михайловского-Данилевского, теперь начал употреблять русских генералов и дипломатов только как исполнителей царской воли, и они вскоре стали его бояться, как слуги боятся строгого господина.

Однако все праздники имеют обыкновение заканчиваться, уступая место суровым будням. После победы над Наполеоном во весь рост встал вопрос о новом (или подновленном старом?) устройстве Европы. Параллели, обычно проводимые между событиями в Вене в 1814 году и увлечением Александра I мечтами об «общеевропейской религии», безусловно, имеют право на существование. Но подобные мечтания монарха начались всё-таки гораздо раньше. Еще в 1804 году в инструкции Новосильцеву перед его отъездом на лондонские переговоры о создании антинаполеоновской коалиции говорилось: «Не об осуществлении мечты о вечном мире идет дело, однако можно приблизиться во многих отношениях к результатам его возвращающим, если бы... удалось установить положение международного права на ясных и точных основаниях». Что нужно для этого сделать? «Учредить лигу, постановления которой создали бы, так сказать, новый кодекс международного права, который, по утверждению его большинством европейских держав, легко стал бы неизменным правилом поведения кабинетов, тем более, что покушавшиеся на его нарушение рисковали бы навлечь на себя силы новой лиги»^{251}.

К осени 1814 года в посленаполеоновской Европе был решен вопрос только с Францией. Вернув в Париж Бурбонов, победители не подвергли их владения никаким наказаниям, не потребовали контрибуцию, не оккупировали страну и не ограничили ее вооруженные силы. Тем самым

союзники, не без давления российского императора, пытались помочь поверженному сопернику как можно быстрее вратиться в мирную жизнь, адаптироваться к ней. Все остальные вопросы оставались нерешенными, в том числе не только территориальные, но и, скажем, проблема возврата украденных художественных сокровищ, прежде всего вывезенных из Италии.

Для решения насущных проблем к концу сентября 1814 года в Вену на общеевропейский конгресс съехались делегации большинства стран континента. Конгресс продолжался девять месяцев, и в результате родился новый порядок в Европе. Согласно ему Швейцария получала статус нейтральной страны, провозглашалась свобода плавания судов по морям и рекам, бесценные произведения искусства возвращались прежним владельцам; наконец, 28 мая (9 июня) 1815 года был подписан Заключительный акт Венского конгресса. Однако эти и другие договоренности достигались совсем непросто, а иногда грозили расколом Европы.

Внешне Венский конгресс выглядел пышно, нарядно, порой даже весело и беззаботно. Недаром по столице Австрии гуляла лихая шутка:

*Император России — за всех любит.
Король Пруссии — за всех думает.
Король Дании — за всех говорит.
Король Баварии — за всех пьет.
Король Вюртемберга — за всех ест.
Император Австрии — за всех платит.*

Александр Павлович действительно прославился в Вене любовными похождениями. Агенты венской полиции доносили начальству: «На балу у графини Палффи царь, которому очень понравилась графиня Сечени-Гилфорд, сказал ей: «Ваш муж отсутствует. Было бы очень приятно временно занять его место». Княгиня Эстергази, муж которой был на охоте, получила от императора Александра записку, где сообщалось, что он проведет вечер у нее. Княгиня послала ему список дам, попросив вычеркнуть тех, кого он не хотел бы у нее встретить. Царь вычеркнул из списка всех... кроме нее!» Полиция еле успевала фиксировать объекты интереса русского монарха: «Император Александр попеременно или одновременно ухаживает за графиней Зичи, княгиней Леопольдиной Эстергази, княгиней Ауэршперг, графиней Сечени... герцогиней де Саган и

княгиней Багратион»^{252}. При этом было перехвачено его любовное письмо еще и Луизе де Бетман.

Министр иностранных дел Австрии князь Меттерних — на полном имени которого, свидетельствующем о его значительных владениях в разных странах Европы, можно сломать язык: Клеменс Венцель Непомук Лотар фон Меттерних-Виннебург-Бейльштей — даже вынужден был как радушный хозяин уступить русскому гостю собственную фаворитку герцогиню Вильгельмину де Саган. Любовные метания Александра Павловича в Вене объяснялись не столько генетической романовской чувственностью, сколько личными обстоятельствами, о которых мы поговорим в свое время. Пока же вернемся к заседаниям конгресса.

На них постепенно всплыли две острейшие проблемы, чуть не разрушившие хрупкое союзное единство. Эти проблемы носили древние и гордые имена: Польша и Саксония. На первую территорию претендовала Россия, на вторую имела виды Пруссия. Австрия и Англия согласились на передачу Саксонии, надеясь, что Пруссия в ответ присоединится к союзникам, выступавшим против чрезмерных, по их мнению, притязаний России. Согласно этим планам, Александр обязан был признать независимость Польши, в противном случае не должно было появиться никакой Польши, а ее территорию Россия, Австрия и Пруссия, как встарь, разделили бы между собой. В конце октября Александр I в разговоре с Меттернихом о Польше прямо угрожал союзникам двухсоттысячной русской армией, стоявшей в герцогстве Варшавском. И с Меттернихом, и с французом Талейраном император позволил себе разговаривать, как с подчиненными. В конце концов, осыпав Меттерниха градом ругательств и тем самым несказанно удивив его, Александр уехал с австрийским императором и прусским королем на охоту в Венгрию. Дипломатия, судя по всему, терпела сокрушительное поражение.

Проекты Александра по поводу устройства Европы, а особенно его вызывающее поведение едва не стали миной, заложенной под только-только начавшее отстраиваться здание европейского мира. 9 января 1815 года князь Меттерних от имени Австрии, лорд Каслри как представитель Англии и князь Талейран от Франции подписали тайную конвенцию, по условиям которой названные страны обязывались выставить по 150 тысяч солдат в случае войны с другими европейскими государствами (читай: с Россией и Пруссией) и заключить мир не иначе как с общего согласия. Как ни странно, тупиковую ситуацию, сложившуюся в Вене, спас Наполеон, бежавший с Эльбы. Обосновавшись к концу марта 1815 года в королевском дворце, он обнаружил там экземпляр тройственной конвенции, забытый

бежавшим в панике Людовиком XVIII, и переслал документ Александру I.

Однако этот жест доброй воли Бонапарта, доказывавший коварство бывших союзников, российского монарха не впечатлил. Пригласив к себе представителей Австрии и Пруссии, Александр Павлович спросил: «Известен ли вам этот документ?.. Меттерних, пока мы оба живы, об этом предмете не должно быть разговора между нами. Теперь нам предстоят другие дела»^[253]. С этими словами он бросил бумагу в горящий камин и обнял канцлера Австрии, видимо, считая, что не только «старый друг лучше новых двух», но и старого врага негоже менять на нового.

Как известно, эпопея гениального корсиканца закончилась 6(18) июня 1815 года в битве под Ватерлоо в Бельгии. Общие потери в этом сражении превысили 115 тысяч человек, в том числе французы потеряли 60 тысяч. По словам очевидцев, Брюссель на время превратился в огромный госпиталь, хирурги, падая от усталости, оперировали раненых по 13 часов кряду. 22 июня Наполеон во второй и последний раз подписал в Париже отречение от престола. После его окончательного поражения и ссылки на остров Святой Елены в Атлантическом океане в 2800 километрах к западу от Африки британские и прусские эмиссары попытались навязать Франции жесточайшие условия мира. Вернувшийся на престол Людовик XVIII обратился к Александру I с просьбой вступить за Францию. Это заступничество оказалось весьма действенным. Граф де Моле справедливо пишет в своих мемуарах: «Если Франция по-прежнему остается Францией, она обязана этим трем людям, чьи имена нельзя никогда забывать: Александру и двум его министрам, Каподистрии и Поццо ди Борго»^[254].

После Ватерлоо^[11] участники Венского конгресса, осознав, насколько опасны разногласия между ними, быстро пришли к соглашению. В Центральной Европе возник аморфный союз германских курфюршеств и герцогств, состоящий из тридцати девяти государств и просуществовавший до 1866 года. Пруссии достались две трети территории Саксонии и треть ее населения. Кроме Одера, Эльбы, Вислы она стала господствовать и на Рейне, получив Кёльн, Трир и долину Саар с богатыми залежами угля и железных руд. Пришли к соглашению и по Польше, решив всё же создать Польское королевство как часть Российской империи. Оно оказалось меньше, чем планируемое ранее Александром (с населением 3,2 миллиона человек, а не 10–11 миллионов), но королем становился российский император.

Заметим попутно, что в первой четверти XIX века Россия окончательно оформила свои владения и в Северной Америке. В 1812 году

к Аляске и Алеутским островам прибавилось русское поселение в Калифорнии, в 1815-м — фактория на Гавайских островах, в 1821 году Россия объявила своим владением всё западное побережье Северной Америки. Вождь Гавайских островов Томари даже изъявил желание перейти под протекторат России, но Александр, отказавшись от заманчивого, но грозящего недовольством Соединенных Штатов предложения, распорядился лишь наградить вождя специальной золотой медалью с надписью: «Владетелю Сандвичевых островов Томари в знак дружбы его к россиянам».

По справедливому замечанию историка Д. Кинга, Венский конгресс, перекраивая карту Европы, «совершенно не обращал внимания на подлинные интересы народов, посеяв тем самым зерна недовольства, будущих революций и национально-освободительных движений. Делегаты... игнорировали и национальные устремления европейских народов, особенно малых, обездоленных и угнетаемых»^{255}. Отмечая это не вызывающее сомнений обстоятельство, не следует забывать и слова П. А. Вяземского: «...в течение многих лет акты Венского конгресса были охранительными грамотами европейского если не благоденствия, то спокойствия. Слышны были здесь и там нарекания, слышны были частные взрывы, но не было европейской войны... Государь был основателем, так сказать, главным ответственным издателем нового уложения, которому подчинилась вся Европа»^{256}. К этому можно, пожалуй, добавить, что впервые в мировой истории появился международный форум, где лидеры государств могли встречаться для обсуждения и устранения возникших разногласий и проблем.

Однако даже успешно завершившийся Венский конгресс не принес Александру Павловичу полного удовлетворения. Он не считал христианский мир окончательно сложившимся, а потому требовавшим только поддержания порядка. С точки зрения императора, по-настоящему евангельского единства просвещенных народов только предстояло достигнуть под руководством именно России, поскольку ее глава первым понял и поставил эту задачу. Александр Павлович намеревался внешней сложностью международных отношений заменить простотой и глубиной внутреннего, религиозного единства монархов и монархий.

Интересно, что, по сути, он основывал свое понимание единства Европы не только на религиозных соображениях, но и, может быть, неосознанно, на Декларации прав человека и гражданина. В пунктах с 33-го по 36-й упомянутого документа говорилось: «Жители всех стран

являются братьями: различные народы должны помогать друг другу в зависимости от своих возможностей, как граждане одного и того же государства... Всякий человек, угнетающий одну какую-нибудь нацию, является врагом всех народов... Лица, ведущие войну против какого-нибудь народа с целью задержать прогресс свободы, должны преследоваться всеми не как обыкновенные враги, а как убийцы, бунтовщики и разбойники»^{257}.

В разговоре с одной из придворных дам император развил выношенные им идеи: «Почему бы всем государям и европейским народам не сговориться между собой, чтобы любить друг друга и жить в братстве, взаимно помогая нуждающимся в помощи?.. Для Всевышнего, я думаю, не имеет значения, будут ли к Нему обращаться по-гречески или по-латыни, лишь бы исполнять свой долг относительно Его и долг честного человека»^{258}. Наконец, в ноябре — декабре 1814 года в записке, адресованной представителям Австрии, Великобритании и Пруссии, Александр предлагал учредить Четвертной союз на основе «незыблемых принципов христианской религии». Это предложение всех сильно удивило и озадачило. Англичане отнеслись к нему скептически (впрочем, как ко многим другим предложениям, исходящим не от британского правительства). Меттерних встретил его с иронией, говоря о романтической филантропии, «спрятанной под плащом религии», но, поразмыслив, увидел в нем некие выгоды для австрийской политики на Балканах. Римский папа, не склонный поддерживать экуменистические опыты, проводимые монархами, отреагировал на предложение российского императора откровенно враждебно.

Обновление, по идее Александра I, должно было коснуться политики всех стран Европы. Конкретную форму усовершенствованного общежития континента он связывал с организацией Лиги христианских государей, положив ее в основу создания Священного союза. По замыслу российского императора, монархи, вошедшие в Священный союз, должны были в своих действиях руководствоваться «заповедями святой веры и законами Бога Спасителя». Подданные государств, вошедших в союз, составляли как бы единое христианское сообщество вне конфессиональных и национальных отличий. И Россия во главе с Александром должна была стать первой державой в едином христианском сообществе, служа ему основой, опорой и защитницей.

Идея Священного союза с трудом пробивала себе дорогу. Сначала в него вошли лишь Россия, Австрия и Пруссия. Основные пункты документа, подтверждавшие его учреждение, принятые 14 (26) сентября 1815 года в

Париже, гласили:

«I. Соответственно словам Священных Писаний, повелевающим всем людям быть братьями, три договаривающиеся монарха пребудут соединены узами действительного и неразрывного братства и, почитая себя как бы единосемцами, они во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь; в отношении же к подданным и войскам своим они... будут управлять ими в том же духе братства... для охранения веры, мира и правды.

II. Посему единое преобладающее правило да будет как между помянутыми властями, так и подданными их: приносить друг другу услуги, оказывать взаимное доброжелательство и любовь, почитать всех себя как бы членами единого народа христианского, поелику три союзные государя почитают себя яко поставленными от Проведения для укрепления тремя единого семейства отраслями, а именно Австрией, Пруссией и Россией...»[\[259\]](#).

К 1816 году к Священному союзу присоединились все государства Европы, кроме Папской области и Англии. Принц-регент Великобритании и Ирландии (будущий король Георг IV) формально не мог присоединиться к союзу, так как этого не позволяла английская конституция. Рим же не хотел уступать Александру I руководство христианским миром, да еще и идти при этом на союз с протестантами. Более того, в 1816 году папа выпустил буллу, запрещающую католикам участвовать в библейских обществах, после чего католические страны Европы приняли в отношении этих обществ жесткие полицейские меры.

В ответ российский император отправил в Рим гневное послание: «... папа, отказываясь от него (Священного союза. — Л. Л.), ставит себя в затруднение выбирать одно из двух: или объявить, что основной догмат религии о Боге-Спасителе в его глазах гораздо ниже того догмата, которым он думает подтверждать свои права, или провозгласить оба их как бы отдельным догматом и, следовательно, уподобить христианских государей, не зависящих от его верховной власти, государям, погруженным во мрак язычества. Первое из этих утверждений по существу не может быть явно высказано; второе уничтожает все гарантии светской власти римского папы, потому что он низвергает все добрые отношения, существующие между престолом и Россией, Пруссией, всей Северной Германией и прочими»[\[260\]](#).

На родине европейские нововведения российского монарха были встречены обществом не только со скепсисом, но и с изрядной долей обиды

за себя и страну. «Русский император, — писал Н. И. Греч, — домогался приобретения ненужного, тяжелого и вредного, как ему предсказывали и друзья, и враги и как доказали последствия и ему, и его преемнику»^{261}. Он же привел забавный аргумент против создания Священного союза, говоря о разительных отличиях между народами, населяющими Европу. По его словам, один умный человек справедливо указал: «Европа населена тремя коренными народами: племя германское (немцы, шведы, датчане, англичане, голландцы) — *благоразумное*; племя романское (французы, итальянцы, испанцы, португальцы) — *бешеное* и племя славянское (русские, поляки и пр.) — *бестолковое*»^{262}. Объединить их в единую семью, по мнению автора, не представлялось никакой возможности.

Еще один мемуарист, М. А. Дмитриев, обращал внимание на другое обстоятельство, связанное с созданием Священного союза. «Все народы Европы, — сетовал он, — пользуясь благодеяниями Александра... начали заботиться о внутреннем своем благополучии... Одна Россия, страдавшая за всех, примирившая и успокоившая всех... ждала, ждала и не дождалась лучшего! — Напротив, всё пошло хуже; Александр отвык от кабинетного труда, перестал заниматься делами, не допуская более в кабинет своих министров... машина внутреннего управления государством или останавливалась за недостатком общего движения, или работала по каждой части управления отдельно»^{263}.

Жизнь Европы между тем продолжалась, и проблем в ней меньше не становилось. С 1820 года ее народы начали активно проявлять недовольство «венской системой», установленной победителями Наполеона. В ответ на конгрессе Священного союза в Троппау в ноябре 1820 года был подписан протокол, предусматривавший возможность применения военной силы для подавления революций и национально-освободительных движений (для членов союза то и другое являлось синонимами). На следующем конгрессе, в Лейбахе в 1821 году, была принята декларация о праве членов союза на прямое вооруженное вмешательство в дела любой страны, которой угрожала революция. Вскоре России пришлось пожинать горькие плоды дипломатической деятельности Александра I. В 1821 году общегреческое восстание против турецкого владычества было поддержано греками, проживавшими на территории России, во главе с флигель-адъютантом императора князем Александром Ипсиланти. Официальный Петербург расценил это восстание как мятеж против законного владыки — турецкого султана (тоже ведь как-никак европейский монарх). Ипсиланти был лишен всех чинов и орденов и

оставлен на произвол судьбы, несмотря на мощную поддержку греков российским общественным мнением.

Вместе с тем Александр призывал членов Священного союза жестко воздействовать на турок дипломатическим путем, дабы защитить греков и балканские народы от османского произвола. Однако союзники были озабочены не национальным и религиозным угнетением этих народов, а возрастанием влияния России на Балканах и отказались вмешиваться в турецкие дела. Дошло до того, что в августе 1825 года Александр Павлович был вынужден объявить, что «отныне Россия будет следовать своим собственным видам и руководствоваться своими собственными интересами». Для него стало ясно, что единой христианской семьи народов создать не удалось и Священный союз превратился в международный военно-консультационный орган, занятый сохранением существующих на континенте режимов. С точки зрения практической политики он являлся достаточно важным установлением; по мнению же российского императора, перестал быть инструментом, преобразующим Европу на новых, более справедливых, религиозных основаниях.

Заметим, что вернувшись после Венского конгресса в Россию, Александр I не стал устраивать общенационального праздника по случаю окончательной победы над Наполеоном. Сам он видел в подобном решении лишь проявление необходимого христианского смирения и скромности. Не желая мыслить категориями реальной политики, внезапно ставшей для него второстепенной и не соответствующей новому умонастроению, монарх упустил возможность сплотить нацию воспоминаниями о пережитых невзгодах и действительно грандиозной победе. Александр не любил вспоминать не только о событиях войны 1812 года, но и о Заграничных походах русской армии (российскими властями не было сооружено ни одного памятника в память о погибших в Европе солдатах и офицерах). Пытаясь объяснить такое отношение монарха к важнейшему делу его царствования, полковник Тимофей Егорович Бок в марте 1818 года направил Александру I записку, в которой говорилось: «Почему император ненавидит тех, кто хорошо послужил родине в 1812 г.? Потому что они напоминают ему о его собственном бесчестии...»^{264}. Полковник поплатился за это послание заключением в Шлиссельбургскую крепость. Зато по приказу монарха годовщина создания Священного союза ежегодно отмечалась в православных церквях, но и эта дата к концу жизни перестала его активно интересовать.

Следует отметить, что в глазах европейцев быстро менялись образ России, ее восприятие. В 1812–1815 годах империю и Александра славили

как спасителей Европы от тирана, но вскоре его стали считать прямым наследником Наполеона. Попытки Александра Павловича создать единый Священный союз привели к тому, что в умах европейской общественности утвердилась мысль, что Россия, подобно наполеоновской Франции, стремится к созданию всемирной монархии под своей эгидой. Европу не убедил даже добровольный вывод российских войск в 1818 году из Германии и Франции. То есть Россия становилась объектом опасений самых различных политических сил Западной Европы: и тех, кто жаждал революционных перемен, и тех, кто допускать их не хотел.

Постепенное разочарование Александра Павловича внутренней и внешней политикой постоянно дополнялось личными неурядицами, а то и трагедиями. Поскольку частная жизнь самодержцев всегда является делом общегосударственным, есть не просто смысл, но и настоятельная необходимость присмотреться к ней внимательнее.

Глава четвертая

ЗАГАДКИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ИМПЕРАТОРА

*До близких далеко, до дальних близко, — вот и
ходишь к дальним.*

Эмиль Кроткий

Братья и сестры

Скажем сразу, что личная жизнь Александра Павловича оказалась довольно запутанной и далеко не безоблачной. О его непростых отношениях с матерью мы уже не раз упоминали. В них присутствовали соответствующее почтение, внимание и уважение, но особенной теплоты, родственной близости явно не наблюдалось. Специфическое (точнее, несколько устарелое) понимание Марией Федоровной приличий и норм поведения, которых должен придерживаться наследник престола, а затем и самодержец, ее политические амбиции и взгляды на управление страной не только не были близки старшему сыну, но порой явно настораживали его. Императрица-мать пыталась играть роль главы царствующей фамилии, а у Александра Павловича ощущение этой самой «фамилии», то есть семьи, почему-то никак не возникало.

Из братьев ближе всех к нему по возрасту был Константин, разница между ними составляла всего лишь год и семь месяцев. Однако они оказались совсем разными по характеру и темпераменту, что отчетливо проявлялось уже в раннем детстве. Когда юный Александр сидел за книгами, Константин предпочитал играть с солдатиками или подаренной бабушкой детской сабелькой. Если ему пытались ставить в пример старшего брата (до индивидуального подхода к ученикам тогда еще не додумались), он заявлял: «Он царь, а я солдат, что мне у него

перенимать?»^{265} По поводу воспитания второго сына Павла Петровича и Марии Федоровны исследователи говорят, что его надо было учить иначе: другим учителям, другим тоном, в другом темпе и другим предметам. Однако этого сделано не было.

Его звездный час пришелся на знаменитый Итальянский поход А. В. Суворова. Полномочия великого князя в этом походе оказались абсолютно туманными. С равным успехом он мог считаться посланником Павла I, сторонним наблюдателем или подчиненным Суворова. Поначалу, упиваясь новой для себя ролью, молодой Константин пытался фордыбачить, занять в армии какое-то особое положение, но после жесткого разговора с главнокомандующим сделался паинькой и примерным офицером. По возвращении из похода он купался в лучах славы на зависть старшему брату, но длилось это недолго. Как только Константин попробовал втолковать отцу, что обувь солдат и офицеров, выполненная по прусским образцам, не годится для длительных переходов, тот закричал: «Я вижу, ты хочешь ввести потемкинскую одежду в мою армию!» — и всё пошло по старому. Ведь вслед за одеждой в армию могли вернуться и потемкинские порядки, а подобная перспектива монарха никак не устраивала.



Александр I с братьями, великими князьями Константином, Николаем и Михаилом.

Литография 1810—1820-х гг.

В заговор против Павла I Александр, по совету Палена, Константина посвящать не стал — видимо, заговорщики не слишком надеялись на его здравомыслие и умение хранить тайны. Поэтому на протяжении всей жизни, в отличие от старшего брата, угрызениями совести он не мучился. Константин в принципе не был склонен к рефлексии, поэтому совесть редко напоминала ему о своем существовании. Убийство отца — событие, конечно, неординарное, оно могло потрясти и Константина, однако ничего подобного с великим князем не произошло.

События 11 марта 1801 года он воспринял как трагическое следствие

естественного для любого самодержца риска, хотя память о судьбе отца и боязнь престола остались у Константина надолго. А тень того или иного престола преследовала его чуть ли не постоянно. В течение не слишком долгой жизни великому князю примеряли восемь корон: греческую, албанскую, дакийскую, шведскую, польскую, сербо-болгарскую, французскую, русскую, — но увенчать голову ни одной из них ему так и не довелось. Константин Павлович участвовал в войнах с Наполеоном в 1805–1807 годах и оказался настолько впечатлен гением французского императора, что сделался горячим сторонником мира с ним. Он так твердо уверовал в то, что новое столкновение с Бонапартом сулит разгром русской армии и падение династии Романовых, что даже предлагал себя в качестве посла для мирных переговоров с императором Франции.

Константин умудрился прозевать миг всеобщего патриотического подъема, величия народного духа и ликования, связанных с событиями 1812 года. В Отечественной войне он, конечно, участвовал, но делал всё как-то невпопад, вел себя исключительно по-своему, а потому, за что бы ни брался, всё портил и проваливал. Чего стоит одно из появлений великого князя в ставке командующего 1-й армией во время ее отступления от западных границ империи! Ворвавшись к Барклаю-де-Толли, Константин закричал на него: «Немец, шмерц^[12], изменник, ты продаешь Россию, я не хочу состоять у тебя в команде. Курута (адъютант великого князя. — Л. Л.), напиши от меня рапорт к Багратиону, я с корпусом перехожу в его команду!»^[266] Через два часа он получил от Барклая пакет с требованием или подчиняться приказам командующего, или сдать корпус и покинуть армию. Великий князь выбрал первый вариант, но особой радости и пользы это никому не принесло. А вскоре по требованию командующего его вовсе удалили с театра военных действий.

После изгнания французов из пределов империи Константин Павлович считал миссию России полностью выполненной. Война, как это ни странно, вообще ему не нравилась, прежде всего потому, что портила внешний вид войск. Увидев входившие в Вильно потрепанные боями и переходами русские части, он бросил «историческую» фразу, прекрасно иллюстрирующую его отношение к военному делу: «Эти люди только и умеют, что сражаться!» Величественные замыслы Александра I по поводу обустройства постнаполеоновской Европы казались Константину безумием и самоубийством, поэтому помощником брату в его многотрудной деятельности он стать не мог, да и не желал заниматься этим бесполезным, по его мнению, делом.

В 1815 году Константин Павлович был назначен главнокомандующим польской армией. Современники не без оснований считали, что тем самым, помимо прочего, Александр I нашел удобный случай отделаться от брата, слишком шумного и чересчур *иного*. Действительно, Константин, с его манерой командовать подчиненными исключительно с помощью грубости, а то и мордобоя, с его мелочными придирками к окружающим и ненавистью к придворной жизни, был постоянным источником напряжения, беспокойства и внезапных, хотя и не слишком понятных ему самому, интриг. Что касается польской армии, то великий князь выпестовал ее и сделал чуть ли не образцовой. Правда, любви и уважения поляков это ему не принесло — да он и не стремился их завоевать.

Конституции Польши Константин Павлович попросту не замечал, превратив ее, по словам Чарторыйского, в «тяжелую и бесполезную комедию». Еще по поводу знаменитой варшавской речи императора великий князь писал начальнику штаба Гвардейского корпуса Николаю Мартемьяновичу Сипягину: «Посылаю вам экземпляр программы, бывшей здесь... в замке пьесы... на которой я фигурировал в толпе народа, играя роль пражского депутата по избрании меня в оные обывателями варшавского предместья Праги. Пьеса сия похожа на некоторую русскую комедию, когда чихнет кто впереди, то наши братья депутаты всей толпой отвешивают поклоны»^{267}. Такая вот оценка одного из важнейших шагов старшего брата. С одной стороны, он был полностью предан императору, с другой — жил в соответствии с им же самим установленными правилами и законами, грозя полякам: «Я вам задам конституцию!» — а потому творил, что хотел.

Когда пришло время назначить в Польшу наместника императора, Константин, в пику своему давнему недругу Чарторыйскому, предложил кандидатуру престарелого генерала Юзефа Зайончека, и его мнение совпало с желанием Александра. Константин не уставал повторять: «Не знаю, может ли брат обойтись без меня, а я жить не могу без брата» — и в то же время не переставал насмехаться над Библейским обществом, всеобщим увлечением тайнами мистицизма, идущим, как ему было известно, от хозяина Зимнего дворца. Он негодовал по поводу военных поселений и яростно сопротивлялся любым планам отмены крепостного права. Иными словами, Константин не мог быть единомышленником и помощником в различных начинаниях старшего брата как за границей, так и в российских пределах.

Следующий брат монарха, Николай Павлович, был моложе Константина почти на 18 лет, а Александра — на все 20, что, естественно,

не могло не сказаться на отношениях между ними. Старшие братья то ли насмешливо, то ли снисходительно называли его «добрым малым», не принимая всерьез. Должность главного инспектора русской армии по инженерной части и чин дивизионного генерала, казалось бы, навсегда исключили Николая из числа претендентов на престол. Однако летом 1819 года во время больших учений гвардии в Красном Селе Александр Павлович поведал младшему брату и его жене, что именно в них видит своих преемников на троне. Дело не только в том, что Константин, раз и навсегда устрешенный судьбой отца, категорически отказывался от чести считаться наследником престола, но и в том, что у Николая Павловича и Александры Федоровны в 1818 году родился сын Александр (будущий император Александр II). В семье же царствующего монарха рождались только девочки, а у Константина официальных детей не было, к тому же его второй брак, с польской графиней Иоанной (Жанеттой) Грудзинской (1820), был морганатическим — даже если бы от него родились сыновья, они не могли бы наследовать престол.

Самое интересное заключается в том, что после столь важного разговора в положении Николая Павловича ничего не изменилось. Никаких реальных шагов по привлечению брата к государственным делам Александр I не предпринял. Это дало пищу для разного рода слухов, суть которых заключалась в том, что император якобы опасался Николая и ревновал к нему. Кроме того, Александр надеялся, что у него еще может родиться сын, и боялся, что тогда брат станет для мальчика опасным конкурентом в борьбе за престол. Он даже не ознакомил Николая с донесениями о существовании в России тайных обществ, чем поставил его в затруднительное положение в декабре 1825 года.

Таким образом, положение Николая Павловича оказалось достаточно неопределенным и вызывало массу вопросов: будет ли он официально провозглашен наследником престола, когда придет время вступить на него (старший брат предупредил его о своем желании добровольно оставить трон), на каких законных основаниях это вступление произойдет и т. п.? Потаенные игры вокруг трона продолжались до самой смерти Александра I. То в 1822 году вдруг состоялись конфиденциальные переговоры императора с матерью и великим князем Константином, на которые Николая даже не сочли нужным пригласить. То в 1823-м был составлен некий тайный документ об отречении от престола Константина Павловича и объявлении наследником Николая, причем о точном его содержании, кроме самого государя, знали лишь Аракчеев, Голицын и московский архиепископ (с 1826 года — митрополит) Филарет (Дроздов).

Иными словами, император до самого конца держал братьев в неведении относительно своих планов передачи престола и на равном удалении от него, не доверяя ни одному из них. В результате Константин был уверен, что официальным наследником является Николай, а тот не мог исключить, что им по-прежнему признан Константин (по закону о престолонаследии, изданному при Павле I, именно так дело и обстояло). Пока братья после смерти монарха выясняли отношения, декабристы воспользовались затянувшимся междуцарствием и сумели поднять гвардейский мятеж в столице и менее опасное, но всё равно неприятное для трона восстание Черниговского полка на Украине. Таким образом, Николаю I, как и его старшему брату, пришлось вступать на престол через кровь; правда, на этот раз пролилась кровь не отца-императора, а сотен подданных, но и она наложила заметный отпечаток на всё долгое царствование Николая Павловича.

Что касается отношений Александра I с сестрами, то здесь всё обстояло гораздо более спокойно, хотя и эти отношения таили в себе некоторые загадки. С Анной Павловной особой близости у монарха не возникло, может быть, потому, что она довольно рано вышла замуж, стала принцессой Оранской и уехала из России (позже Анна сделалась королевой Нидерландов). А вот с Екатериной Павловной Александра связывали неясно-щекотливые отношения, во всяком случае, историки до сих пор не знают, как поприличнее истолковать некоторые строки из писем императора сестре. Вот, к примеру, письма 1805 года: «Чем занят дорогой носик, который я нахожу удовольствием сжимать и целовать? Я боюсь, как бы он не очерствел за ту вечность, что мы находимся порознь!»; «Чувствовать себя любимым Вами — вот что необходимо мне для счастья, ибо Вы одно из красивейших созданий, которое есть в мире. Прощайте, дорогая сумасшедшая моей души, я Вас обожаю, лишь бы Вы меня не презирали»^{268}.

Красавицей, вопреки уверениям старшего брата, Екатерина Павловна не считалась, но была миловидна, умна, образованна, талантлива и грациозна. Великая княжна обладала твердым характером и чувственностью, присущей всем Романовым. Она с детства являлась любимицей царской семьи и постоянно активно интересовалась общественной жизнью. При этом ее отличали чрезмерное честолюбие, желание во всём быть первой, играть выдающиеся роли (что поделаешь — веяние времени!). С того момента, как ей исполнилось 18 лет, Екатерине стали искать достойного супруга. То речь шла об австрийском императоре Франце Иосифе, то к ней сватался Наполеон. Однако и в том и в другом

случае дело не сладилось.

Легко поддававшаяся увлечениям как в личном плане, так и в делах общественных, Екатерина в 1808 году сошлась с князем Михаилом Петровичем Долгоруковым, а позже стала любовницей знаменитого генерала П. И. Багратиона, который в своих нелицеприятных высказываниях о военном начальстве опирался на мощную поддержку любимой женщины. В 1809 году Александр I, с согласия самой «Кати», выдал ее замуж за ничем не выдающегося принца Георга Ольденбургского. Поскольку жених не имел крупного состояния, его поставили во главе богатых Тверской, Новгородской и Ярославской губерний. В Твери и сложился кружок-салон Екатерины Павловны, ставший центром консервативной оппозиции реформаторским замыслам Александра I, а идеологом этого кружка, как уже говорилось, сделался Н. М. Карамзин, называвший его хозяйку «тверской полубогиней».

Император постоянно сообщал сестре обо всём, что его волновало: о своих настроениях после заключения Тильзитского мира, о восхищении порядками, установленными Аракчеевым в Грузии, о тяжелых переживаниях в ходе войны 1812 года, о том, чего ему стоило назначение главнокомандующим М. И. Кутузова, о попытках Наполеона вступить с ним в переговоры о мире. Она же порой рекомендовала ему кандидатов на тот или иной значимый пост. Во всяком случае, Ф. В. Ростопчин сделался московским генерал-губернатором именно с ее подачи (говорили даже, что он возглавлял некую партию сторонников Екатерины Павловны, периодически желавших возвести ее на престол).

Мнение сестры значило для Александра заметно больше, чем мнение двух императриц — матери и супруги — вместе взятых; но всё же влияние ее на брата не стоит преувеличивать. Он любил с ней беседовать, охотно переписывался, но советов никогда не спрашивал. Екатерина Павловна играла видную роль в числе тех, кто добивался отставки Сперанского, которого считала преступником: Михаил Михайлович осмелился воспротивиться назначению любимого ею Карамзина на пост министра народного просвещения. И если бы только это! В 1809 году шведский король Густав IV Адольф был низвергнут с престола и придворная группировка, ориентированная на Россию, послала в Петербург своего представителя, чтобы узнать, не согласится ли Александр I возвести на шведский престол принца Ольденбургского. По слухам, представитель шведов вышел на Сперанского, но тот попросту не доложил императору о заманчивом предложении из Стокгольма.

Она едва ли не первая высказала идею о создании народного

ополчения и из собственных крепостных составила особый батальон, который содержала на свои деньги вплоть до изгнания Наполеона из пределов России. Вместе с мужем принцесса Ольденбургская открыла сеть госпиталей в подвластных ему губерниях и регулярно посещала в них больных и раненых (именно во время одного из таких посещений Георг заразился тифом и умер). Екатерина Павловна, как и многие другие, выступала против продолжения войны за пределами России, считая, что новые потоки русской крови могут повредить возникшему в 1812 году единению императора и народа.

Она сопровождала старшего брата на Венском конгрессе в 1814 году. Здесь, в столице Австрийской империи, Екатерина Павловна покорила сердце принца Вильгельма Вюртембергского. В 1816 году она стала его женой, а спустя несколько месяцев — королевой Вюртембергской, но наслаждалась давно желанным статусом очень недолго. А вот совместный с Александром I вояж в Лондон Екатерине Павловне явно не удался. Не любившая Англии и настороженно к ней относившаяся, она чересчур надменно вела себя с британскими официальными лицами, пытаясь при этом плести маловразумительные интриги, вмешиваясь в борьбу вигов и тори, и в конце концов сделалась личным врагом принца-регента, что добавило Александру головной боли и порадовало официальный Лондон, поскольку косвенно дискредитировало российского императора, ставшего к тому времени необычайно популярным в Европе.

Умерла Екатерина Павловна совершенно неожиданно в 30 лет в январе 1819 года от рожистого воспаления лица. Ее смерть стала для Александра I подлинной трагедией, ударом, от которого он не оправился до конца жизни.

Интересно, что в письмах сестре монарх регулярно сообщал о здоровье и занятиях матери, пересказывал мельчайшие подробности из жизни своей любовницы Нарышкиной и их дочери Софьи. О жене в этих письмах он не упомянул ни разу. Как такое могло случиться? В чем причины вопиющего невнимания Александра Павловича к супруге? Коснемся и этого тонкого сюжета.

Жена и любовницы

Начнем, как и положено, с супруги императора. Итак, в сентябре 1793 года состоялось, по определению придворных льстецов, бракосочетание «Амура и Психеи» — шестнадцатилетнего Александра и четырнадцатилетней Елизаветы. Молодая жена была недурно образованна,

прослушав дома курсы истории, географии, иностранных языков, философии, немецкой и всемирной литературы. Она музицировала, обладала неплохим голосом, была замечательным рассказчиком; кроме того, по признанию самого Александра, он благодаря ее начитанности был в курсе всех замечательных литературных новинок. Елизавета с удовольствием занималась живописью — до нас дошел почти профессионально выполненный ею автопортрет. Именно она подсказала известному живописцу и медальеру Федору Петровичу Толстому идею создания изумительной живописной коллекции бабочек^{269}.

Внешность молодой великой княгини также вызывала всеобщее восхищение. «Трудно передать, — говорилось в записке неизвестного автора, опубликованной Ф. Ф. Шиманом, — всю прелесть императрицы; черты лица ее чрезвычайно тонки и правильны, греческий профиль, большие голубые глаза, правильные очертания лица и волосы прелестнейшего белокурого цвета. Фигура ее изящна и величественна, а походка чисто воздушная»^{270}. Его восхищение разделяла подруга княгини Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой ирландка Катрин Вильмот: «Императрица — одно из прелестнейших созданий, которых мне случалось видеть. В ее наружности и в чертах лица мне что-то сильно напоминало виденную мною где-то картину... изображавшую Корделию, дочь короля Лира... Было что-то в высшей степени привлекательное во всех движениях этой прелестной особы, исполненной смирения, скромности и благодушия»^{271}.

Поначалу Александру и Елизавете оказалось трудно найти общие занятия и общие темы для разговоров. Он частенько по-прежнему шалил и дурачился со сверстниками, а она скучала, глядя на детские проделки мужа, к тому же не заладилась и интимная жизнь юных супругов. Оно и понятно, ведь, как говорится, девушка в 14 лет уже почти женщина, а юноша в 16 — всё еще полумальчик. До поры единство молодой семьи обуславливалось трудностями существования в годы царствования Павла I, той изоляцией, в которой оказались наследник престола и его супруга. В условиях жесточайшего недоверия со стороны императора они волей-неволей поддерживали друг друга, спасаясь тем самым от полной изоляции. При этом молодая жена судила о муже вполне здраво, не теряя головы.

В 1793 году Елизавета писала матери: «Вы спрашиваете, нравится ли мне по-настоящему великий князь. Да, он мне нравится. Когда-то он мне нравился до безумия». Это было написано спустя лишь несколько месяцев после свадьбы. Но люди постепенно узнают друг друга лучше, продолжала

великая княгиня, и со временем замечают ничтожные мелочи: «...воистину мелочи, о которых можно говорить сообразно вкусам, и есть у него кое-что из этих мелочей, которые мне не по вкусу и которые ослабили мое чрезмерное чувство любви»[\[272\]](#).



Императорская чета.

Гравюра А. Конте по оригиналу Л. де Сент-Обена. 1807 г.

В 1799 году Елизавета родила дочь Марию, но та умерла, прожив всего

18 месяцев. Однако даже это общее горе, как и смерть (1808) второй дочери, полуторагодовой Елизаветы, не сблизило супругов, не сделало их одним целым. После восшествия Александра на престол семья практически распалась. Может быть, жена, находившаяся рядом с Александром в ночь убийства Павла I, теперь одним своим присутствием напоминала ему о панике и страхе, охвативших его в тот момент? Но скорее всего дело в том, что Елизавета слишком хорошо знала характер мужа и понимала, что творится в его душе, а он, не желавший никого допускать в святая святых, не делал исключения и для жены. Елизавета Алексеевна действительно искренне сочувствовала супругу. «Вероятно, — писала она матери, — Россия вздохнет после четырехлетнего гнета (Павла I. — Л, Л.) и, если бы император кончил жизнь естественной смертью, я, может быть, не испытывала бы того, что испытываю сейчас, ибо мысль о преступлении ужасна... Великий князь Александр Павлович, ныне государь, был совершенно подавлен смертью отца, то есть обстоятельствами его смерти: чувствительная душа его будет этим всегда растерзана»^{273}.

Но подобная проницательность — это еще полбеды. А вот подсказывать Александру линию поведения Елизавете совсем не следовало. «Она, — вспоминала графиня В. Н. Головина, — умоляла его быть энергичным, посвятить себя всецело счастью своего народа и в данную минуту смотреть на свою власть как на искупление»^{274}. Подобные подсказки только раздражали и настораживали самолюбивого монарха. В результате отношения Александра и Елизаветы ухудшались год от года, что выражалось и внешним образом. На официальных церемониях император всегда подавал руку своей матери, а его жена следовала за ними, одинокая в дворцовом многолюдстве. За обеденным столом справа от Александра Павловича всегда сидела Мария Федоровна, слева — сестра Екатерина Павловна, а Елизавета Алексеевна располагалась рядом со свекровью, что подчеркивало ее второстепенное положение в семействе.

Очень часто в официальных документах того времени титул «императрица» обозначал вовсе не супругу монарха, а его мать. В ответ Елизавета Алексеевна старалась действовать не исходя из предпочтений мужа, а по собственному разумению. Вскоре она занялась широкой благотворительностью. В 1812 году Елизавета организовала Патриотическое общество, помогавшее пострадавшим от военных действий, открыла для детей из бедных семей учебное заведение под названием Дом трудолюбия, позже преобразованный в Елизаветинский институт. Из шестисот тысяч рублей, полагавшихся ей ежегодно, она

тратила на себя около трети суммы, используя остальные деньги на пособия для раненых и пленных.

Неудивительно, что разногласия между Александром Павловичем и Елизаветой Алексеевной вскоре стали достоянием столичного общества (происходившее во дворце вообще невозможно надолго сохранить в тайне), и некоторые его представители прониклись симпатиями и сочувствием именно к супруге государя. В 1817–1820 годах была даже сделана попытка организовать конституционно-монархическое Общество Елизаветы, идея создания которого принадлежит полковнику Главного штаба Федору Глинке. В канун восстания 14 декабря 1825 года за возведение на престол именно Елизаветы Алексеевны высказывались декабристы Гавриил Батеньков, Сергей Трубецкой и Владимир Штейнгейль. Последний даже составил приказ по полкам, заканчивавшийся здравицей: «Виват Елизавета II и Отечество!»

Что же касается сюжетов альковных, то и здесь имелись свои хитросплетения, иногда совершенно удивительные для непосвященного человека. Сначала поговорим об Александре Павловиче. «Государь любил общество женщин, вообще он занимался ими и выражал им рыцарское почтение, исполненное изящества и милости. Что бы ни толковали в испорченном свете об этом его расположении, но оно было чисто и не изменялось... Он любезничал со всеми женщинами, но сердце его любило одну и любило постоянно до тех пор, пока сама она не порвала связи, которую никогда не умела ценить»^{275}. Вообще-то чистота отношений Александра с некоторыми женщинами и неизменная верность его одной из них вызывают обоснованные сомнения, но не будем злословить попусту и обратимся к фактам.

В 1800–1801 годах Александр, тогда еще цесаревич, вступал в многочисленные мимолетные связи: французскую оперную певицу мадам Фелис сменила ее соотечественница и тоже актриса мадам Шевалье, а ту, в свою очередь, несколько безымянных для истории придворных дам. В молодые годы Александр очень любил французский театр с его классическими трагедиями Расина и комедиями Мольера, был завсегдатаем балов и всяческих празднеств. Развлечения ради он частенько устраивал неожиданные утренние визиты к знакомым дамам, норовя застать их в китайском халате и простеньком чепчике на непричесанных головках и без привычного макияжа (иногда это действительно зрелище не для слабонервных). Говорили, что одна из дам сильно простудилась, поскольку слишком поспешно вышла из ванны, торопясь встретить неожиданного высокого визитера. Так что Н. И. Греч, писавший, что государь «никогда не

любил света, его удовольствий и развлечений; никогда не бывал ни в театре, ни в концерте»^{276}, имел в виду или совершенно иного человека, или только один из периодов жизни Александра.

Его романы порой вызывали скандалы, но он умело отводил от себя обвинения, направляя бурю общественного недовольства на своих друзей-соперников. Так, А. Н. Голицын хотел в свое время жениться на фрейлине императрицы Варваре Ильиничне Туркестановой, трагически влюбленной в Александра Павловича. Узнав о ее романе с тогда еще великим князем, Голицын поспешил отказаться от своих матримониальных намерений. Когда же Туркестанова родила от Александра дочь и, брошенная любовником, отравилась, большой свет обвинил в ее смерти Голицына, желая, так уж было принято, оградить от упреков «священную особу государя»^{277}.

Уставая от шума, блеска двора, да и от любовных игр и похождения, монарх порой стремился в общество тех женщин, в которых не видел «искателей славы и денег». С ними ему было не только спокойно — он наконец-то мог почувствовать себя обычным частным лицом. В этих женщинах его привлекали душа и ум — отсюда его дружба с «безобразнейшей из фрейлин» Роксандрой Скарлатовной Стурдза или с ее бывшей товаркой Софьей Петровной Соймоновой, в замужестве Свечиной (последнюю завистники с помощью грязной клеветы даже заставили покинуть Россию). По поводу происшедшего со Свечиной Александр Павлович не слишком убедительно, но без капли лицемерия жаловался: «Вы не можете себе представить, до какой степени испорчены у нас нравы. Никто не верит в истинную дружбу, в бескорыстное чувство к женщине, которая вам не мать, не жена, не сестра и не люб...» Последнее слово он договаривать не стал^{278}.

Когда современница событий София Шуазель-Гуфье, чьи слова приведены выше, говорила о единственной привязанности монарха, то имела в виду, конечно, бывшую любовницу светлейшего князя П. А. Зубова Марию Антоновну Нарышкину, урожденную княжну Святополк-Четвертинскую. Роман с красавицей-полячкой, всегда одетой в белое и не носившей никаких украшений, начался у Александра на рубеже 1801–1802 годов и продолжался на протяжении четырнадцати-пятнадцати лет. То ли оправдываясь, то ли стараясь объясниться с современниками и потомками, причиной своей связи с Нарышкиной Александр считал то, что их союз с Елизаветой Алексеевной был заключен из чисто династических соображений, совершенно не учитывал чувств молодых людей, а потому, с

его точки зрения, перед Богом они оба считали себя свободными в своих симпатиях и действиях.

Нарышкина, по словам Ж. де Местра, была не зла, не мстительна и совершенно не интересовалась ни политикой, ни придворными интригами, чем постоянно разочаровывала многих сановников и прочих представителей света, искавших ее благосклонности в корыстных целях. При этом Мария Антоновна никогда не отличалась монашеским поведением. Она родила шестерых детей, причем ходили слухи, что отцом трех или четырех дочерей был император, что же касается остальных, то даже сам он далеко не всегда был уверен в своем отцовстве. Кроме Софьи (1808–1824) все эти дети умерли в младенчестве. Но даже имея многолетнюю любовную связь с Нарышкиной, Александр отнюдь не собирался отказываться от привычной роли шармёра и галантного кавалера.

Так, в 1805 году, будучи с визитом в Мемеле, он совершенно очаровал королеву Пруссии Луизу и ее сестру принцессу Сальмскую. Интрижка, правда, задумывалась им как абсолютно платоническое развлечение, но превратилась в нечто большее, во всяком случае, со стороны названных дам. Почувствовав это, а заодно испугавшись энергии и напора двух неугомонных валькирий, Александр Павлович растерялся. По свидетельству Чарторыйского, он говорил, что был «серьезно встревожен расположением комнат, смежных с опочивальней, и что на ночь он запирает дверь на два замка из боязни, чтобы его не застали врасплох и не подвергли бы слишком опасному искушению, которого он желал избежать»^{279}. Нарышкину подобные приключения монарха не беспокоили — она считала, что у нее существует только одна опасная противница, императрица Елизавета Алексеевна. За отношениями между венценосными супругами любовница государя следила внимательно и с нескрываемой ревностью.

Графиня Прасковья Николаевна Фредро оставила свидетельство об очень интересном эпизоде из частной жизни царской семьи:

«В первый же год связи императора Александра I с г-жой Нарышкиной... он пообещал ей навсегда прекратить супружеские отношения с императрицей... Он задумал отречься от престола, посвятив в свои планы юную императрицу, князя Чарторыйского и г-жу Нарышкину, и было единогласно решено, что они вчетвером уедут в Америку. Там состоятся два развода, после чего император станет мужем г-жи Нарышкиной, а князь Адам — мужем императрицы. Уже были готовы корабль и деньги...

В 1806 г. было объявлено о беременности императрицы... г-жа Нарышкина пришла в ярость. Она требовала от императора верности... и с горечью осыпала его упреками, на что он имел слабость ответить, что не имеет никакого отношения к беременности жены, но хочет избежать скандала и признать ребенка своим. Г-жа Нарышкина поспешила передать другим эти жалкие слова»^{280}.

Так семейный скандал стал достоянием светского общества, а значит, и столичной публики.

Закончился же многолетний роман императора печально, но предсказуемо. Требуя от монарха верности, сама Мария Антоновна не считала себя связанной никакими обязательствами. Чтобы не быть голословными, приведем свидетельство А. И. Михайловского-Данилевского: «Государь, как известно, страстно любил Марью Антоновну Нарышкину, которая, однако же, невзирая на то, что была обожаема прекраснейшим мужчиною своего времени, каковым был Александр, ему нередко изменяла. В числе предметов непостоянной страсти ее был и граф Ожаровский... Государь, заметив роман, начал упрекать неверную, но сия с хитростью, свойственною распутным женщинам, умела оправдаться и уверить, что связь с Ожаровским была непрочная и что она принимала его ласковее других, потому что он поляк... Вскоре, однако же, измена обнаружилась, ибо по прошествии малого времени государь застал Ожаровского в спальне своей любовницы в таком положении, что не подлежало сомнению, чтобы он не был счастливым его соперником»^{281}. (Впрочем, на карьеру Ожаровского это происшествие никак не повлияло. Для полноты картины упомянем о том, что до него Нарышкина жила еще и с дипломатом князем Г. И. Гагариным, от которого родила сына Эммануила.)

Александр Павлович попытался заглушить горечь разрыва с любимой женщиной новыми романами (особенно это было заметно во время Венского конгресса, о чем мы уже упоминали), но они ничем не походили на то серьезное чувство, которое он питал к Нарышкиной. Чуть позже монарх призвал на помощь религию, которая помогла ему понемногу утешиться, однако рана в его душе оставалась до конца жизни. Нарышкина же после нескольких лет жизни за границей вернулась в Россию, но повела себя, видимо, чересчур вызывающе. Во всяком случае, Долли Фикельмон в 1829 году записала в дневнике: «Мадам Нарышкина, Мария Антоновна... возвратилась в Петербург. Усвоенная ею манера поведения озадачивает меня. Она появляется при дворе по любому поводу и часто принимает у

себя дома. Та роль, которую эта обожаемая Императором Александром дама играла некогда в обществе, настроила против нее весь Петербург. Не могу понять, как она прошла через всё это... какой интерес, какая сила влекут ее во дворец»^{282}.

Что касается Елизаветы Алексеевны, то крещение фривольными нравами двора Екатерины II ей пришлось пройти чуть ли не сразу же после замужества. За ней попытался приударить последний фаворит престарелой императрицы светлейший князь Платон Зубов. Несмотря на все усилия придворных интриганов, старавшихся поспособствовать намечавшемуся скандальному роману, Елизавета отвергла его притязания. Более того, императрица, узнав о «шалостях» своего фаворита, серьезно поговорила с ним, и тот прекратил назойливые ухаживания за великой княгиней. А дальше... Александр Павлович чуть ли не толкнул жену в объятия своего приятеля А. Чарторыйского, по-настоящему влюбившегося в Елизавету.

Всё началось, наверное, с поздних ужинов в узком кругу, в ходе которых Александр порой неожиданно уходил, оставляя супругу на попечение друзей. Во время одного из таких застолий он, желая почему-то похвастать красивой грудью супруги, предложил ей обнажиться, чтобы все удостоверились, что великий князь ничуть не преувеличивает. Вряд ли подобное поведение мужа могло понравиться Елизавете и укрепить их семейные узы. Привыкнув к обожанию окружающих, она не собиралась изыскивать средства, чтобы угодить Александру. Может быть, она с удовольствием приняла бы проявления его нежности и знаки внимания, но добиваться их не считала нужным. Императрица замкнулась во дворце, появляясь лишь на официальных церемониях, и с головой окунулась в начавшийся роман с Чарторыйским. Они даже обменялись кольцами, но затем в жизнь Елизаветы Алексеевны вошла, видимо, более сильная любовь, заставившая ее забыть обо всём.

С Чарторыйским они вновь сблизились в 1814 году в Вене, и польский князь был по-прежнему влюблен в императрицу. Он простил ей неверность и молил развестись с Александром I и выйти замуж за него. Тогда-то Елизавета Алексеевна увидела в князе, по ее словам, «подлинное счастье всей жизни» и свое второе «я», но потребовала поставить императора в известность о их замысле. Александр Павлович, недавно расставшийся с Нарышкиной и безвозвратно растерявший романтические иллюзии молодости, высказался категорически против такого развития событий. Его позиция была продиктована совсем не привязанностью к жене — к ней он продолжал относиться довольно холодно. Незадолго до разговора с Елизаветой Алексеевной о Чарторыйском, когда собравшиеся на балу у

княгини Багратион начали восхищаться внешностью и грацией императрицы, восклицая: «Ах! Как она красива! Это очаровательная женщина!» — Александр, сочтя, что над ним смеются, довольно громко произнес: «Вот еще! Я этого не нахожу! Я совершенно так не думаю!»^{283} Позиция монарха в отношении планов Елизаветы и князя Адама была продиктована исключительно государственными соображениями. Женитьба известного польского сановника королевских кровей на русской императрице могла помешать осуществлению задуманного русским монархом в отношении нового устройства Польши и вызвать непредсказуемую реакцию российского дворянства. В данном случае чувства жены и давнего приятеля Александром в расчет не принимались. Да и что они значили по сравнению с его планами и интересами империи!

Что же касается подлинной любви Елизаветы Алексеевны, разрушившей ее первый роман с Чарторыйским, то с ней связана романтическая легенда. Увлеченный борьбой с Наполеоном, Александр I в сентябре 1805 года покинул Петербург и вместе с гвардией отправился в поход. Елизавета Алексеевна осталась в опустевшей столице в привычном одиночестве. По сути, брошенная мужем, бездетная, постоянно попрекаемая свекровью и забытая остальными родственниками, она влюбилась в 25-летнего красавца-кавалергарда Алексея Яковлевича Охотникова, по служебным делам задержавшегося в Петербурге. Их роман, по слухам, бурно развивался в 1805–1806 годах, но, как гласила молва, за месяц до рождения их дочери Елизаветы Охотников был тяжело ранен ударом кинжала при выходе из дворцового театра, а чуть позже от этой раны он скончался. По Петербургу поползли слухи, будто счастливого кавалергарда убили по приказу великого князя Константина Павловича, желавшего таким образом спасти честь брата. Красивый, почти шекспировский сюжет; жаль, что насквозь мифологический.

В реальной жизни всё обстояло гораздо более прозаично. Роман Елизаветы Алексеевны и Алексея Яковлевича начался в 1802–1803 годах, а с 1805-го Охотников из-за обострившейся чахотки проводил отпуск в родовом имении, где и умер в результате тяжелой болезни. Их дочь Елизавета родилась за три месяца до смерти отца (кстати, Александр I признал ее своим ребенком, но не любил об этом вспоминать). Маленькая Лиза прожила только полтора года и умерла также от чахотки, полученной в наследство от отца. На могиле Охотникова Елизавета Алексеевна установила памятник, изображающий плачущую женщину на скале; рядом с ней стоит урна с прахом и высится расколотое молнией дерево.

В конце концов признаки чахотки врачи обнаружили и у императрицы

и посоветовали ей поскорее сменить промозглый петербургский климат на более теплый и мягкий. В последний год жизни Александра I его семейные дела неожиданно стали налаживаться. Болезнь жены заставила монарха относиться к ней с особым вниманием и заботой, проводить с Елизаветой Алексеевной больше времени — и оказалось, что им есть о чем поговорить, что обсудить и что поведать друг другу. Свою роль в сближении супругов, безусловно, сыграло и захватившее императора религиозное чувство. Смерть в 1824 году любимой семнадцатилетней его с Нарышкиной дочери Софьи Александр Павлович воспринял как наказание за свои грехи, в том числе и грехи перед законной супругой. Для излечения Елизаветы Алексеевны почему-то был выбран не Крым, а скромный Таганрог, где и развернулся последний этап жизни нашего героя.

Пора подводить итоги?

После рассказа о бурных событиях, происходивших во внутренней и внешней политике России, о драматических происшествиях в личной жизни Александра Павловича, о резких переменах в его мировоззрении и связанных с ними метаниях, а также о загадках, ставивших в тупик современников и продолжающих волновать их далеких потомков, хотелось бы обратиться, наконец, к чему-то более спокойному и определенному. Иными словами, хотя рассказ о жизни Александра I еще не дошел до логического и, увы, неотвратимого завершения, требуется подвести основные итоги его царствования, чтобы попытаться сформулировать нечто, дающее твердую почву для пусть и небесспорных, но ясных выводов, нанести, так сказать, завершающие мазки на сложившуюся картину.

Нам очень хотелось бы сделать это, но вряд ли в полной мере удастся. Дело в том, что внятной и не подлежащей сомнению является только та разноголосица, которая царит в оценках личности и деятельности нашего героя как его современниками, так и исследователями более поздних времен. Скажем, для известного мемуариста Михаила Александровича Дмитриева загадочным было не только царствование самого Александра I, но и действия его ближайших предшественников, которые, по мнению Дмитриева, логикой и последовательностью отнюдь не страдали. «То гонения на масонов при Екатерине, — не скрывая раздражения, писал Дмитриев, — то, при Павле, покровительство тем же людям: Новиков освобожден, а И. В. Лопухин даже награжден и приближен к Государю. То,

в середине царствования Александра I, распространение Библейских обществ, покровительство масонским ломам, распространение и даже печатание за казенный счет мистических книг; то вдруг закрытие обществ и лож, и не только запрещение подобных книг, но даже запрещение продавать те, которые были напечатаны по воле и побуждению самого Государя, и отобрание их по книжным лавкам»^{284}. О какой внятной политике и ее беспристрастной оценке могла идти речь в таких условиях?

Некоторые современники считали, что все несчастья последних лет александровского царствования проистекали исключительно от усталости государя, вызванной тяготами верховной власти. По мнению Н. И. Греча, Александр «своим добрым сердцем, благородством души, умом, образованием, твердостью и упованием на Бога в несчастьях и глубоким смирением в дни успехов и славы достоин был лучшей участи. В цвете лет мужества он скучал жизнью, не находил отрады ни в чем, искал чего-то и не находил, опасался верить честным людям и доверял хитрому льстецу, не дорожил своим саном и между тем ревновал к совместникам (братьям Константину и Николаю. — Л. Л.)»^{285}. С ним был согласен К. И. Фишер: «Государь охранял с величайшею ревностью личную свою репутацию и был мастер этого дела... С двадцатых годов государь перестал заниматься внутренним управлением империи и вверил его Аракчееву... тот самый государь, который только и думал об освобождении их (крепостных. — Л. Л.) при вступлении на престол. Что значит царствовать 25 лет!»^{286}

Многие связывали неудачи реформ «сверху» с нравственным несовершенством самих реформаторов, взявшихся преобразовывать страну, не имея на это морального права. «До сих пор, — замечал Александр Васильевич Никитенко, — я успел заметить только то, что существа, населяющие «большой свет», сущие автоматы... Они живут, мыслят и чувствуют, не сносясь ни с сердцем, ни с умом, ни с долгом, налагаемым на них званием человека. Вся жизнь их укладывается в рамки светского приличия. Главное правило у них: не быть смешным. А не быть смешным, значит рабски следовать моде в словах, суждениях, действиях так же точно, как в покрое платья»^{287}. По мнению автора замечательного «Дневника», подобные деятели не могли произвести на свет ничего прогрессивного и полезного для развития страны.

Некоторые мемуаристы встретили кончину Александра I с искренней болью, воздавая должное как самому монарху, так и тем чаяниям, которые пробудило его правление. «Россия! — писал по получении печального известия А. И. Тургенев. — И надежды твоей не стало! Забываю его

политику — помню и люблю человека. Сердце не перестало верить в него, любить его, не переставая надеяться. Надежды с ним во гробе... Он у себя отнял славу быть твоим восстановителем»^{288}. Вторя ему, В. К. Кюхельбекер записал в дневнике: «...мне жаль, когда размышляю о жизни Александра Павловича, который в моих глазах одно из самых трагических лиц в истории»^{289}.

Исследователи даже по прошествии значительного количества времени и после внимательного ознакомления со многими фактами, неизвестными современникам далеких событий, тоже не могут прийти к единому мнению по поводу деятельности Александра I и итогов его царствования. А. В. Тыркова-Вильямс обращает особое внимание на те противоречия в мировоззрении императора, которые, по ее мнению, и предопределили невнятную политику его царствования: «Он (Александр. — Л. Л.) жаждал истины и не умел быть искренним. Питал отвращение к насилию и вступил на престол, перешагнув через изуродованный труп отца. Был одним из первых идеологов пацифизма и десять лет водил по Европе свои войска, то побежденные, то победоносные. Мечтал о всенародном просвещении... а под конец жизни сдружился с Аракчеевым. Подданным и современникам осталась недоступна, непонятна его внутренняя жизнь, богатая и надломленная, глубокая и трагическая»^{290}.

Не слишком много нового внес в оценку личности и деяний Александра I швейцарский историк А. Валлотон. Собственно, и он исходил прежде всего из противоречивого характера императора, не слишком убедительно объясняя причины этой бросающейся в глаза противоречивости: «Из всех государей, которые прошли перед нашими глазами, Александр был, без сомнения, самым сложным, изменчивым и противоречивым в своих высказываниях и действиях — до такой степени, что его часто обвиняли в двуличии и даже лицемерии. То мирно, то воинственно настроенный, из скептика превратившийся в глубоко верующего человека, либерал на словах и реакционер на деле, великодушный и деспотичный, добрый и жестокий, вдохновленный и подавленный духом, робкий и отважный... властный и упрямый под обманчивой маской мягкости — он испытывал настоящие душевные муки и играл на публику, как тщеславный актер»^{291}.

Автор известного курса лекций по истории России С. Ф. Платонов считал: «Человек переходной поры, Александр не успел приобрести твердых убеждений и определенного мирозерцания и по житейской привычке принаравливался к различным людям и положениям, легко

приноравливался к совершенно различным порядкам идей и чувств»^{292}. Его мнение, по сути, разделял и А. Е. Пресняков, посвятивший царствованию Александра I отдельную работу; правда, по его мнению, дело было не только в характере монарха. Он считал, что Александр — «прирожденный государь» своей страны, говоря по-старинному, воспитанный для власти и политической деятельности... в то же время — питомец XVIII в., его идеологического и эмоционального наследия... Его «противоречия» и «колебания» были живым отражением колебаний и противоречий в борьбе течений его времени»^{293}.

Уточняя — вернее, конкретизируя — вывод Преснякова, автор курса по истории России XIX века А. А. Корнилов подчеркивал, что Александр I до конца оставался верен поискам «розы без шипов». По его мнению, именно это обстоятельство, с одной стороны, являлось главной отличительной чертой данного царствования, с другой — привело к краху реформаторства «сверху». «Сделавшись, — замечает историк, — давно уже резким противником революционного движения всякого рода, Александр оставался, однако же, вместе с тем убежденным сторонником либеральных доктрин и... был верен своим мечтам о либеральном политическом переустройстве России. Он старался... открыто подчеркнуть ту разницу, которая существовала в его глазах между либеральными взглядами и проявлениями революционного духа»^{294}.

Автор фундаментальной монографии, посвященной общественно-политической жизни России в первой четверти XIX века, А. В. Предтеченский напрямую связывал реформаторские усилия правительства с количеством протестных выступлений крепостного крестьянства и нарастанием общественного недовольства ситуацией, постепенно складывавшейся в стране. «Страх перед народными волнениями, — писал он, — так же, как необходимость считаться с общественным мнением дворянства, заставляли правительство задумываться над изменениями социально-экономического строя... Чем яснее определялась картина относительно народного спокойствия, тем пассивнее становились представители общественности и тем реже прибегал Александр к попыткам заигрывания с либерализмом. Не без чувства большого облегчения правительство убедилось в том, что со сколько-нибудь серьезными реформами можно очень и очень повременить»^{295}.

Дополняя этот вывод, В. М. Бокова справедливо видит одну из причин неудач Зимнего дворца в том, что трон совершенно игнорировал настроения и требования передового общества, чем и оттолкнул от себя

потенциальных союзников: «При сохранении непреходящих причин для негодования (отсутствие политических прав, злоупотребления властей, крепостничество, дурные законы и пр.), при нарастании в 1820-х гг. экономического кризиса и кризиса финансового (что усугубляло внутренние проблемы и недовольство), при всевластии Аракчеева, стеснение свободы мыслить, верить и говорить оказалось настоящим катализатором общественного недовольства. «Ум, как и порох, опасен только сжатый», — справедливо писал А. А. Бестужев»^{296}.

Некоторые исследователи, размышляя о причинах неудач реформаторства «сверху», отмечают несовпадение задумок императора и тех реальных условий, которые сложились в России в первой четверти XIX века. «В чем, — вопрошал В. О. Ключевский, — заключалась причина... безуспешности преобразовательных начинаний? Она заключалась в ее внутренней непоследовательности... Новые правительственные учреждения, осуществленные или только задуманные... должны были стать на готовую почву новых согласованных гражданских отношений, должны были вырастать из отношений, как следствие вырастает из своих причин. Император и его сотрудники решились вводить новые государственные учреждения раньше, чем будут созданы согласованные с ними гражданские отношения... т. е. они надеялись добиться последствий раньше причин, которые их произвели»^{297}.

«Александр, — продолжает ту же линию А. Н. Архангельский, — ускользал от страшного для себя признания: реформы, ради которых он принял царство (во многом ради которых стал вольным или невольным отцеубийцей!), будут отторгнуты Россией не потому, что она в принципе не реформируема, а потому, что *они* сшиты не по мерке»^{298}. Французская исследовательница М. П. Рэй, автор весьма интересной книги об Александре I, конкретизирует тезис Архангельского, стараясь показать, что дело не только в правильной или неправильной «мерке»: «Не считая первых лет правления Александра I, когда царил дух реформ... реформаторская деятельность императора имела весьма ограниченный характер... В целом страной не «правили», а «управляли» — поскольку инициативы, принятые на вершине власти, в конечном счете были немногочисленны и, в общем и целом, не слишком убедительны». Однако исследовательница не считает, что в этом повинен только Александр Павлович: «В стране отсутствовали вспомогательные механизмы и точки опоры, которые помогли бы ему преодолеть глубокую враждебность дворянства... Отсутствие точек опоры и враждебное отношение дворян к

переменам сыграло, на наш взгляд, решающую роль в отказе Александра от реформ»^{299}.

Наконец, Н. А. Проскурякова, как бы подводя итог вышеприведенным размышлениям исследователей, отмечает: «Своеобразие ситуации состояло в том, что инициатором коренных политических реформ и отмены крепостничества... выступал не кто иной, как Александр I, опередив в этом будущих декабристов... Однако с позиций сегодняшнего дня совершенно очевидно, что замыслы преобразований, которые вынашивал с начала своего царствования Александр I, не могли быть реализованы в тех исторических условиях... Сам Александр I со временем с горечью осознал, что ему не суждено даровать «своему народу» конституцию и освободить крестьян»^{300}.

Порой создается впечатление, что, рассказав о сложнейших перипетиях царствования Александра Павловича, исследователи находятся в некотором недоумении, пытаясь подвести итоги. Критически настроенный к своему далекому родственнику великий князь Николай Михайлович писал: «Для России Александр не был великим, хотя его царствование дало многое, но ему не хватало знания ни русского человека, ни русского народа... время его правления нельзя причислять к счастливым для русского народа, но следует признать весьма чреватыми последствиями в истории нашей страны»^{301}. Хотелось бы узнать, что подразумевает великий князь под такими последствиями, но, к сожалению, он этого не раскрывает. Примерно о том же пишет в книге, посвященной династии Романовых, И. В. Курукин: «...многие подданные терялись в догадках относительно его истинной роли в истории. Самый благовоспитанный и интеллигентный из российских государей проводил — и в то же время не проводил — реформы, приближал — и мгновенно отстранял — советников. И, кажется, не доверял никому»^{302}.

Можно привести и много раз цитированный вывод, сделанный в неустаревающей книге С. В. Мироненко: «Вместо освобождения крестьян последовал ряд указов, резко ухудшивших положение крестьян... Вместо конституции — фактическая передача всей полноты государственной власти в руки всемогущего временщика, любимца царя А. А. Аракчеева. Вместо развития наук и просвещения — изгнание наиболее прогрессивных и талантливых профессоров из университетов и насаждение обскурантизма и религиозного мракобесия»^{303}. А. Н. Сахаров считает, что главным стимулом жизни и деятельности Александра I было желание выстроить власть в соответствии с защищаемым им нравственным образцом — или

оставить трон, если следовать образцу категорически не удастся. Ученый пишет: «...несмотря на ужасающую жестокость системы, в которой он жил, символом которой волей судеб являлся, всю жизнь Александр боролся за обретение себя, за возврат к себе прежнему; его стремление к постоянному очищению от скверны власти... во много крат усилилось чувством искупления огромной вины, которая становилась всё более острой и тревожащей»^{304}.

Наконец, Ю. С. Пивоваров попытался подойти к решению проблемы с историко-политологических позиций. По его мнению, модель Русского государства изначально не предполагала никакого разделения светской власти, в отличие, скажем, от модели «двух мечей» (папы и императора), господствовавшей в средневековой Европе, из чего неизбежно проистекал патримониальный характер верховной власти в России. Здесь, по мнению исследователя, трон строил не гражданское общество и не антропоцентричное государство, а «государство правды», целью которого стало не установление прав подданных, а спасение их душ, из чего, видимо, и проистекала его яростная защита православия. Отстаиваемая троном «правда» подменила в России «право» и заблокировала на века его появление у нас. Религиозно-нравственное начало растворяет в себе начало юридическое, вернее, не дает последнему кристаллизироваться. При этом в деспотизме российской государственности таились две основные тенденции: охранительно-подавляющая и просвещенческо-реформаторская. Важно то, что обе они реализовывались исключительно насильственным путем и всегда только «сверху»^{305}.

Ознакомившись, пусть и совсем бегло, с разноголосицей в оценках деятельности нашего героя, хочется полностью согласиться с добродушным замечанием Г. И. Чулкова: «Надо удивляться не тому, что Александр был мнителен, а тому, что он среди всех безумных и фантастических событий эпохи сохранил какое-то душевное равновесие»^{306}. Давайте, однако, не будем на этом останавливаться и попытаемся предложить некоторые собственные соображения по поводу итогов царствования Александра Павловича, не считая данные соображения ни бесспорными, ни, тем более, окончательно исчерпывающими проблему.

Начнем с того, что за годы правления Александра I России удалось значительно расширить свою территорию как на западе, так и на юге. Причем территориальными приращениями дело не ограничилось. Страна стала важнейшим игроком на международной арене, и произошло это

благодаря не только замечательным победам ее армии, но и постоянному интересу российского монарха к европейским идеям и реальным достижениям западных соседей. Именно этот интерес побудил его попытаться превратить свою империю в подлинно европейскую державу.

Кроме того, в первой четверти XIX века хозяин Зимнего дворца окончательно определил основные препятствия на пути России к прогрессу: господство крепостного права и отсутствие прав и свобод у подданных. Намерение императора реформировать страну скоро стало известно обществу, что, безусловно, способствовало его политическому взрослению и появлению общественно-политических лагерей: консервативного, либерального и революционного (правда, два последних не сразу определили свои позиции и отделились один от другого). С этого момента начинается интереснейшее, порой плодотворное, порой трагическое, столкновение альтернатив, предлагаемых властью и обществом, которое во многом определило ход событий в России XIX столетия. При этом ни Александру, ни его преемникам так и не удалось наладить спокойный и полезный для обеих сторон и для государства в целом диалог с представителями различных общественно-политических лагерей.

Между тем распространение просвещения, особенно выстраивание системы высшей школы, создало предпосылки для изменения мировоззрения молодого поколения образованной части общества. Всё это способствовало тому, что в годы царствования Александра I начал формироваться новый тип государственных деятелей — теоретиков и практиков правительственного реформизма, так называемой просвещенной бюрократии, которой недостаточно было импульсов перемен, исходящих исключительно от трона.

Не будем забывать и о том, что ряд новых учреждений, созданных при Александре I, просуществовал вплоть до начала XX века, став для нескольких поколений россиян школой политической и государственной жизни. Так, анализируя деятельность Государственного совета, исследователь Е. М. Собко справедливо пишет: «Совет не раз становился ареной активной политической борьбы, не являясь послушным орудием в руках царя, подобно Комитету министров»^[307]. Первая четверть XIX века явилась также началом золотого века русской культуры во всех ее ипостасях. Конечно, политические процессы, идущие в стране, и ее культурное развитие — вещи, оказывающие друг на друга весьма опосредованное воздействие; тем не менее вряд ли можно говорить о том, что они никоим образом не связаны друг с другом.

Что касается причин неудач реформаторства «сверху», то, помимо многого и многого, уже отмеченного историками, хотелось бы не останавливаться только на справедливых в целом выводах, сделанных ими. Безусловно, и умозрительная мечтательность планов монарха, и его нерешительность, и отсутствие поддержки этих планов широкими слоями дворянства, и неудачный для проведения структурных преобразований исторический момент — всё это имело место. Ведь для успешного начала подобных реформ очень важно, чтобы их необходимость была осознана обществом. Последнее же происходит только тогда, когда в стране ощущается серьезнейший социально-экономический или политический кризис. В России первой четверти XIX века столь катастрофических явлений не наблюдалось. Мировые цены на сельскохозяйственную продукцию падали, но до подлинного краха дело не дошло. Как мы видели, страна и ее правитель были признаны спасителями Европы, да и сама победа над Наполеоном вроде бы наглядно продемонстрировала прочность самодержавных и крепостнических устоев в борьбе с новыми буржуазными порядками. Все перечисленные обстоятельства, безусловно, помешали успешному проведению преобразований. Однако, признавая это, нам хотелось бы обратить внимание читателя еще на одно немаловажное обстоятельство.

Вряд ли возможно реформировать страну, не имея перед собой четкого представления, пусть и чисто теоретического, в каком направлении следует двигаться. Иными словами, наглядный образец, представленный западными или восточными соседями, останется бесполезным, если самому преобразователю не удастся проникнуться той идеей, которая помогла создать данный образец, и заставить поверить в нее сограждан или хотя бы их образованную часть. Долгие годы Александр Павлович свято верил в торжество предначертаний французских просветителей, но на рубеже 1820–1821 годов они стали вызывать у него обоснованные сомнения. Предчувствуя, а может быть, ощущая крах идеологии Просвещения, Александр все свои надежды со временем возложил на религию, видя в ней единственное средство личного и общественного спасения. При этом о характере его веры необходимо сказать особо. Вряд ли у императора были время и возможность выработать в себе высокое религиозное чувство, которое присуще человеку, в ходе собственных духовных поисков обнаружившему «след Божий». Скорее, он стал человеком верующим, наделенным искренней верой в то, что испытали и о чем поведали другие, действительно избранные люди.

Впрочем, в подобной ситуации нет ничего вторичного, тем более

обидного. «Подлинная вера, — писал философ и культуролог Г. С. Померанц, — возникает... через высокую красоту природы и искусства, через разворачивание высоких возможностей нашей собственной природы. Или через кризис, через... тоску по подлинному — но непременно по *собственному* переживанию огня, подлинного возгорания духа»^[308]. Александр I, став истинно верующим, шел в направлении, заслуживающем внимания, пытаясь внести в политику религиозно-нравственные начала. Однако это желание оказалось то ли утопичным, то ли неподъемным для одного человека.

В конце концов, у Александра Павловича, начавшего с понимания победы над Наполеоном как следствия Божьего Промысла, происходит замена (или подмена?) реальной политики религией, что в начале XIX века было пусть и совершенно естественно, но опасно. Вера по своей сущности иррациональна и, служа ориентиром отдельному человеку (скопом ведь не спасаются!), вряд ли пригодна для решения приземленных, но конкретных государственных проблем. Карабкаясь со ступени на ступень лестницы Иакова, человек вряд ли в состоянии тащить за собой миллионы подданных и тем более жителей целого континента. Волей-неволей вера и политика, в конце концов, приходили в серьезное противоречие, делая позиции императора как светского главы государства всё более шаткими и всё более непредсказуемыми для окружающих.

Оно и понятно. Религия провозглашает внутреннюю правду, внутреннюю свободу верующего человека. Традиционное православное сознание не может сосуществовать с правовым сознанием, да ему это и ни к чему. Либо то, либо другое — как для общества, так и для личности. Можно это отрицать, но оттого мы не станем ближе к правовому государству, к обществу трезвого отношения к праву. В традиционном православном обществе основы либерализма никогда не укоренятся, а значит, гарантия прав человека так и будет отсутствовать. Это и показали российские события первой четверти XIX века.

Скажем и еще об одной достаточно важной вещи. Многим российским монархам, проводившим или только задумывавшим преобразования, ставят в пример решительность и энергию успешного реформатора Петра I. Не избежал сравнения с великим предком и Александр Павлович. Оставим в стороне личностные характеристики этих правителей — двух одинаковых людей найти вообще сложно. Напомним лишь о различии эпох и ситуаций, в которых довелось жить и действовать Петру и Александру. Великий император, как известно, не был пионером ни в одном из своих важнейших начинаний. И флот, и регулярная армия нового типа, и мануфактуры, и

подчинение Церкви светской власти, и изменения в культуре и быте подданных — всё это началось, по крайней мере, при его отце.

Петр, конечно, резко пришпорил указанные преобразования, используя для этого грубую силу верховной власти, опирающейся на частное и государственное крепостное право, то есть, уверовав в модные тогда идеи «общего блага», поработил все сословия. Против недовольных бояр, священнослужителей, стрельцов и даже собственного сына он направил острие нового правительственного аппарата, во многом состоявшего из благодарного государю дворянства и созданной им же гвардии. Во времена же Александра I верховная власть не стала ни мягче, ни слабее — она просто «принарядилась», поскольку ей пришлось пользоваться совершенно иными идеями и решать гораздо более сложные задачи. Ведь речь пошла о постепенном и поочередном освобождении сословий из-под абсолютной власти трона, в том числе и об уничтожении крепостного права, этого фундамента петровской империи, во всех его обличьях.

Кроме того, самой верховной властью был поднят вопрос о необходимости дарования стране конституции и обязательном подчинении закону всех без исключения подданных империи. Поэтому, сравнивая правления Петра I и монархов XIX века, мы имеем дело с событиями и процессами совершенно разного порядка, лежащими как бы в разных измерениях. Инакомыслящих и прямых политических оппонентов можно, наверное, уничтожить в любой момент и в любых исторических условиях. При каких-то обстоятельствах это может принести власти желаемый результат. Но что делать с вызовами времени, ставящими перед страной прежде незнакомые задачи и требующими нетрадиционных решений? Колебания и неуверенность Александра I — это во многом следствие появления перед Россией таких задач и отсутствия (пусть и временного) таких решений.

Послесловие

ЗАГАДКИ УХОДА

*Он родился сыном своего времени —
и вырос его пасынком.*

Абрам Эфрос

Отъезд императорской четы в Таганрог был назначен на 1 сентября 1825 года. За полночь монарх, как уже упоминалось, приехал в Александро-Невскую лавру, отстоял молебен у мощей Александра Невского и посетил келью жившего в лавре схимника. До самых ворот монастыря он ехал с обнаженной головой, часто оборачиваясь и крестясь на собор, а при выезде из Петербурга приказал остановить лошадей и долго смотрел на покидаемую столицу, будто предчувствовал разлуку с ней навсегда.

На пути к Таганрогу нигде не устраивалось ни военных смотров, ни маневров, а свиту императора составляли 18 человек, среди которых были бывший начальник Главного штаба Петр Михайлович Волконский и сменивший его на этом посту генерал-адъютант Иван Иванович Дибич, а также два врача, певчий и несколько человек прислуги.

Дом, где царствующая чета поселилась в Таганроге, был каменный, одноэтажный и состоял из ряда небольших комнат. Александр Павлович сам расставлял в них мебель, вбивал гвозди для картин. Восемь комнат было отведено императрице и двум фрейлинам. Проходной зал посредине отделял покои Елизаветы Алексеевны от двух комнат государя: кабинета (он же спальня) и небольшого полукруглого помещения, служившего туалетной; рядом с ним находился пост дежурного камердинера. При доме был разбит небольшой фруктовый сад, в котором Александр Павлович иногда работал (жители Таганрога с удивлением наблюдали, как монарх приводил в порядок садовые дорожки). Императорская чета, спокойная и довольная, зажила тихой жизнью провинциальных помещиков; между мужем и женой наконец-то установились теплые, сердечные отношения.

В октябре 1825 года Александр принял приглашение новороссийского

и бессарабского губернатора М. С. Воронцова посетить Крым, заметив в шутку, что «добрым соседям следует жить в согласии». Накануне его отъезда произошел случай, о котором позже вспоминали и сам император, и сопровождавшие его лица. Внезапно на город надвинулась огромная туча, и в комнате стало так темно, что монарх приказал зажечь свечи. Вскоре небо прояснилось и появилось солнце. Вошедший в кабинет Александра камердинер неодобрительно сказал: «Нехорошо, государь, что перед вами днем горят свечи». — «А что же за беда? Разве по-твоему это означает что-нибудь недоброе?» — «По-нашему, перед живым человеком среди белого дня свечи не ставят»^[309], — сказал камердинер.

В Крым Александр Павлович выехал 20 октября, и до 27-го путешествие протекало вполне благополучно. Среди прочего он осмотрел Ореанду, где предполагал возвести дворец для своей семьи. 27 октября на пути из Балаклавы монарх решил посетить Георгиевский монастырь. Отпустив свиту, он уже в темноте и при довольно сильном холодном ветре верхом выехал в монастырь, одетый в мундир без шинели или бурки. Поездка продолжалась более часа, после чего путь до Севастополя был проделан в коляске. В последующие дни Александр ни на что не жаловался и лечился только горячим рисовым отваром. 3 ноября он поинтересовался, какие есть лекарства от лихорадки, однако от предложенной хины отказался (он вообще не любил лечиться и принимать порошки).

На обратном пути из Крыма царю со свитой встретился фельдъегерь Масков, который вез депеши из Петербурга и письма из Таганрога. Через несколько минут после их расставания коляска Маскова на глазах у Александра наскочила на кочку и фельдъегеря выбросило на камни. Падение оказалось смертельным (он ударился головой о камень), что, естественно, произвело на монарха тяжелое впечатление. 4 ноября в Мариуполе лейб-медик Я. В. Виллие констатировал у императора развитие «лихорадочного сильного пароксизма». По дороге в Таганрог больной часто впадал в забытие, но по-прежнему отказывался принимать какие-либо снадобья. Когда же 11 ноября лейб-медик попробовал предложить сделать кровопускание, Александр сначала накричал на врача, а потом вообще отказался с ним разговаривать. Так продолжалось до самого кризиса болезни, наступившего 15 ноября. Все эти дни Елизавета Алексеевна не отходила от постели мужа.

Монарх проснулся в семь часов утра, умылся, побрился, но затем снова лег в постель, чувствуя недомогание. Вечером у него случился обморок, и он неожиданно рухнул на пол. Когда Виллие вновь предложил ему лекарства, то в ответ прозвучало: «Уходите прочь!» — а чуть позже:

«Подойдите, милый друг. Я надеюсь, что вы не сердитесь на меня... У меня свои причины»^{310}. Впоследствии в этих словах усмотрели нечто загадочное, но на самом деле император просто не умел и не любил лечиться, а потому не особенно доверял докторам и лекарствам. Утром 19 ноября в 11 часов 50 минут Александр I скончался. О его смерти в тот же день был составлен акт, подписанный Волконским, Дибичем, Виллие и лейб-медиком Елизаветы Алексеевны Конрадом Стоффрегенем, гласивший, что император «скончался от горячки с воспалением мозга». Как полагалось, произвели вскрытие тела умершего, а затем его бальзамирование.

На пути в Петербург, близ Царского Села, гроб открыли, и императрица-мать, встречавшая его, воскликнула: «Да, то мой дорогой Александр. Ах, как он исхудал!» 13 марта 1826 года в Петропавловском соборе под звуки артиллерийских залпов Александр I был похоронен.

Смерть полного сил и здоровья монарха, да еще случившаяся где-то на окраине империи, породила массу слухов, в которых пока еще не звучало имя старца Федора Кузьмича. Говорили совершенно о другом, более приземленном и привычном россиянам — о том, что государя то ли убили с помощью яда, то ли изрубили саблями, то ли застрелили из пистолета. По другим слухам, Александр на самом деле остался жив, но его зачем-то продали «в иностранную неволю», а может быть, он сам сбежал неизвестно куда (здесь впервые прозвучала мысль о добровольном уходе государя со своего поста). Последнее предположение так хорошо вязалось с настроениями монарха в последние годы, что начались упорные и повсеместные разговоры, будто Александр Павлович по собственному побуждению оставил трон и скрылся в неизвестном направлении, а в Петропавловском соборе похоронен совсем другой человек.

Назывались, естественно, и фамилии людей, упокоившихся вместо монарха: фельдъегеря Маскова, а также некоего рядового (или фельдфебеля) Семеновского полка, умершего в Таганроге и якобы имевшего некоторое сходство с императором. С годами эти слухи, к которым примешивались известия о появлении то здесь, то там мнимых Константинов Павловичей, начали забываться; но 11 лет спустя в Западной Сибири появился таинственный старец, и с ним молва стала упорно связывать имя Александра I. История его жизни обросла такими мифами и подробностями, оказалась настолько тесно переплетена с именем нашего героя, что заставляет нас внимательнее присмотреться к рассказам о нем.

В сентябре 1836 года в Кленовской волости Красноуфимского уезда стараниями местного кузнеца был задержан человек, проезжавший на

обычной крестьянской телеге. На допросе в земском суде он показал, что родных не помнит, зовут его Федор Козьмин, сын Козьмин же, от роду ему 70 лет, исповедания российского, неграмотен. Как бродягу, не помнящего родства, суд приговорил Федора Кузьмича к наказанию двадцатью ударами плетью и ссылке в Сибирь на поселение. Там, в селе Зерцалы, Федор Кузьмич прожил 11 лет, иногда уходя в енисейскую тайгу на золотые прииски.

В 1849 году он поселился близ села Краснореченского на реке Чулым. Именно с этого времени личность Федора Кузьмича стала привлекать пристальное внимание окружающих. Поначалу молва почему-то считала его ссыльным или добровольно оставившим свой пост митрополитом, хотя никаких признаков духовной особы в нем не наблюдалось. В 1858 году, уступая просьбам своего горячего поклонника купца Хромова, Федор Кузьмич переехал на его заимку, расположенную в четырех верстах от Томска, где и прожил до самой смерти. Очевидцы рисуют старца суровым, вспыльчивым, замкнутым человеком, которого окружающие уважали и побаивались. В их глазах Федор Кузьмич выглядел не просто грамотным, но и интеллигентным наставником. Его речи всегда отличались краткостью, серьезностью, но вряд ли были до конца понятными тем, к кому были обращены. Он любил потолковать на религиозные темы, рассказать о замечательных событиях российской истории, а вспоминая об Отечественной войне 1812 года, вдавался в такие подробности, что восхищал и озадачивал слушателей.

Федор Кузьмич владел иностранными языками и имел важные знакомства в Петербурге. Во всяком случае, при необходимости он давал просителям, отправлявшимся в столицу, запечатанные письма, адресованные тем или иным высокопоставленным лицам. Местные власти, особенно церковные, узнав об этом, начали относиться к старцу с подчеркнутым уважением. Его скромный дом посещали томский епископ Парфений, камчатский епископ Иннокентий, иркутский епископ Афанасий, советник Томского губернского суда Л. И. Савосин и другие важные персоны. Молва о Федоре Кузьмиче особо подчеркивает то обстоятельство, что он хорошо ориентировался в жизни высшего петербургского общества и придворном закулисье конца XVIII — начала XIX века. Он не только знал всех видных государственных деятелей этого периода, но и давал им меткие характеристики.

Существует ряд рассказов о том, что несколько людей, ранее проживавших в столице, а позже попавших в Сибирь, якобы узнали в старце Александра I. Среди них называли сапожника Оленьева, некоего

отставного солдата, служившего в гвардии, бывшего придворного истопника, сосланного в Томский край за какие-то провинности. Утверждали, что в часовне села Зерцалы долго хранился оставленный там старцем раскрашенный деревянный вензель, изображавший заглавную букву «А», корону и летящего голубя. Этот вензель, видимо, должен был убедить всех в высоком в прошлом положении «святого человека».

В начале января 1864 года Федор Кузьмич тяжело заболел и в том же месяце скончался, так и не раскрыв тайну своего происхождения. На могильном камне Хромов приказал выбить надпись: «Здесь погребено тело Великого Благословенного старца Федора Кузьмича, скончавшегося в Томске 20 января 1864 года» (ключевое слово в этой надписи, конечно, «Благословенный», намекавшее на почетный титул Александра I). В 1866 году Хромов написал о старце императору Александру II, но письмо осталось без ответа. Летом 1881 года неутомимый купец отправился в Петербург и встретился с обер-прокурором Святейшего синода Константином Петровичем Победоносцевым. Хромов передал ему несколько икон, оставшихся после Федора Кузьмича, и его портрет, который, как говорили, новый монарх Александр III позже держал на своем рабочем столе. Однако единственным реальным результатом посещения Хромовым столицы стало то, что все упоминания о старце в печати были запрещены, а уже изданные брошюры о нем конфискованы.

Сторонники легенды, отождествляющие Федора Кузьмича с Александром I, ссылаются прежде всего на бросающиеся в глаза странности, содержащиеся в протоколах вскрытия тела императора. В них действительно далеко не всё ясно. Скажем, там есть упоминание об изменениях головного мозга, характерных для больных сифилисом, хотя царь этим недугом никогда не страдал. Кроме того, рожистое воспаление было у Александра Павловича на левой ноге, а у умершего — на правой. Однако современная медицина говорит о том, что подобные мозговые изменения могут произойти не только от сифилиса, но и от других заболеваний. Что же касается рожистого воспаления, то известно, что в 1824 году норовистая лошадь лягнула императора в правую ногу, отчего могло начаться воспаление и на ней. Сторонники легенды упоминают и о том, что в свое время по приказу Николая I, а в 1921 году по распоряжению советского правительства гробница Александра I вскрывалась и оба раза оказывалась пустой. Куда же в таком случае делось тело того, кого якобы похоронили вместо монарха? А самое главное, разговоры о вскрытии гробницы — это опять-таки слухи, поскольку протоколы ее вскрытия и в том и в другом случае отсутствуют.

Чтобы закрыть данную тему, скажем, что в 1970-х годах известный писатель Д. Гранин обратился к ленинградским властям с просьбой разрешить известному антропологу М. М. Герасимову вскрыть гробницу Александра I, чтобы раз и навсегда установить, когда умер человек, чьи останки там покоятся, и попытаться реконструировать его облик по черепу. Однако советские власти, опасаясь, что подобная акция сделает гробницу монарха (или старца?) предметом паломничества верующих, отказали ученому.

Между тем у противников легенды о старце Федоре Кузьмиче позиции не менее прочные, чем у ее сторонников. Первое, что бросается в глаза, — странная для подобного хода событий неразбериха с наследованием престола. Если Александр I действительно решил «удалиться от мира», то почему не отдал распоряжения об опубликовании манифеста о воцарении Николая Павловича? Даже если он сам пожелал предоставить всё воле Провидения, то об обнаружении манифеста должны были позаботиться те сановники, которые помогали монарху в его «уходе от мира». Они-то прекрасно понимали, чем может грозить затянувшееся междуцарствие. Далее, поддерживая легенду о старце, мы тем самым обвиняем в обмане Елизавету Алексеевну и Марию Федоровну (не говоря уже о тех сановниках, которые были с Александром I в Таганроге). Ведь и жена, и мать без сомнений узнали в усопшем мужа и сына.

Добавим еще и выводы графологической экспертизы, проведенной в 1907 году по просьбе томского купца Семена Хромова, горячего почитателя Федора Кузьмича. При сравнении почерков старца (остались две его записки, выдержка из Священного Писания и конверт) и Александра I поначалу в глаза бросилось сходство некоторых деталей букв. Но не нашлось ни одной буквы, написание которой совпало бы полностью: если одна деталь сходилась, то другие резко различались, причем расхождения были устойчивыми.

Что же касается путаницы в воспоминаниях участников событий, то она легко объяснима тем, что мемуары они писали спустя десятки лет после смерти Александра Павловича.

Разматывая этот клубок противоречий, невольно задаешься крамольным вопросом: а был ли старец? Федор Кузьмич действительно существовал и проживал в Сибири, однако почему он обязательно должен был быть Александром I? Исследователи достаточно давно предлагают на эту роль совершенно другого человека — блестящего кавалергарда Федора Александровича Уварова-второго. Он родился в 1780 году, участвовал во многих сражениях с Наполеоном, вступил с армией в Париж, а в 1814-м

женился на сестре будущего знаменитого декабриста М. С. Лунина. Человек образованный, рачительный хозяин и хлебосол, Уваров был одновременно очень щепетилен, раздражителен и взыскателен, а потому заслужил славу отчаянного бретера-дуэлянта. В 1827 году он бесследно исчез, а вместе с ним пропали все его бумаги. Интересно, что в дневнике духовника Уварова, упоминавшегося выше архимандрита Фотия, есть фраза, касающаяся интересующего нас персонажа: «Сегодня благословил чадо Феодора на подвиг»^{311}. Почему бы, в самом деле, Ф. А. Уварову не превратиться в старца Федора Кузьмича и не оказаться в Сибири, завершая свое духовное перерождение?

Впрочем, что бы ни произошло в те годы, надо, видимо, согласиться с тем, что говоря о легенде, связанной с личностью Федора Кузьмича, мы имеем дело с такой исторической загадкой, которая не имеет однозначного решения и вряд ли будет когда-либо его иметь. Как справедливо писал биограф Александра I Н. К. Шильдер, в данном случае всё зависит от того, во что хочется верить тому или иному человеку: в то, что Александр Павлович мирно усоп в Таганроге, сраженный злокачественной лихорадкой, или в то, что он «ушел от мира», искупая свои грехи перед Богом и Россией.

В заключение заметим, что легенда об «уходе от мира» по-своему коснулась и императрицы Елизаветы Алексеевны, пережившей мужа всего лишь на четыре с половиной месяца и скончавшейся в уездном городе Белёве Тульской губернии в мае 1826 года. После ее смерти быстро разнесся слух о том, что она, подобно Александру Павловичу, «удалилась от мира». Для подтверждения этого слуха нашли даже подходящую фигуру — таинственную монахиню Веру Молчальницу, которая в 1840— 1850-х годах подвизалась в Сырковском монастыре в шести верстах от Новгорода. Легенда оказалась подкреплена тем, что после смерти Веры в ее келье, необыкновенно похожей на жилище Федора Кузьмича, нашли вензель, представлявший сочетание букв «Е» и «А».

13 июня 1812 года Москва
Война началась. Императрица
перешла на нашу границу на
восток (Восток). Со стороны
вся сила свои на великого
бегеда Потемкина со стороны
с восточной стороны. Греть
вам на века ваш император
Горюхины

Вилена.
Июня 13 - 1812 года.

Александр I

Собственноручное письмо Александра I председателю Государственного совета Н. И. Салтыкову о начале войны с Францией. 13 июня 1812 г. РГВИА. Фрагмент

Однако с этой загадкой исследователям удалось разобраться достаточно быстро. Под именем Веры Молчальницы скрывалась не императрица Елизавета Алексеевна, а Вера Александровна Буткевич, принадлежавшая к богатой аристократической фамилии. Она тихо и мирно жила в монастыре, заговорив лишь раз, во время болезни — в горячечном бреду вспоминала о своем детстве, о богатстве деда, красотах его имения и т. п. Скончалась Молчальница в ноябре 1852 года, окруженная почитанием верующих, но для семьи Буткевичей никогда не было тайной, кто скрывается под ее именем.

Визітні Анкетні листи до Єпископа Синодального Осипа Білого.																																					
Нольохуб. А. Модрань, П. Неодолучинці.																																					
<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>2.</td> <td>3.</td> <td>4.</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td>Е</td> <td>Ж</td> <td>З</td> <td>И</td> </tr> <tr> <td>К</td> <td>Л</td> <td>М</td> <td>Н</td> </tr> <tr> <td>О</td> <td>П</td> <td>Р</td> <td>С</td> </tr> <tr> <td>Т</td> <td>У</td> <td>Ф</td> <td>Х</td> </tr> <tr> <td>Ц</td> <td>Ч</td> <td>Ш</td> <td>Щ</td> </tr> <tr> <td>Ъ</td> <td>Ы</td> <td>Ь</td> <td>Э</td> </tr> <tr> <td>Ю</td> <td>Я</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1.	2.	3.	4.	А	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я			А. Крижань, Стрипчань.
1.	2.	3.	4.																																		
А	В	Г	Д																																		
Е	Ж	З	И																																		
К	Л	М	Н																																		
О	П	Р	С																																		
Т	У	Ф	Х																																		
Ц	Ч	Ш	Щ																																		
Ъ	Ы	Ь	Э																																		
Ю	Я																																				
1837. 7. М. 26. 1. 1841 43. 9. 1841.																																					

Записки старца Федора Кузьмича. 1837 г. (?)

На этом, читатель, нам пора расстаться, и если автору, с твоей точки зрения, не удалось создать достаточно убедительного портрета замечательного российского императора, то хочется надеяться, что эта книга хотя бы пробудила твой интерес к личности и запутанным перипетиям жизни Александра I. А может быть, она подвигла тебя к самостоятельным поискам ответов на загадки, заданные непростой историей нашей страны в первой четверти XIX века. Если это так, то книга всё-таки написана не напрасно.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I ^[13]

1777, 12 декабря — у наследника престола великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны родился первенец, названный Александром.

1784, 13 марта — императрица Екатерина II передала преподавателям внуков «Наставление о воспитании великих князей». Швейцарец Ф. Лагарп сделал к нему интересные комментарии, после чего стал главным воспитателем Александра и Константина Павловичей.

1793, 28 сентября — великий князь Александр Павлович вступает в брак с баденской принцессой Луизой, получившей в православии имя Елизавета Алексеевна.

1796, 6 ноября — от апоплексического удара умерла императрица Екатерина II. Новым императором стал Павел I, Александр объявлен наследником престола.

1799, 18 мая — у великокняжеской четы родился первенец — дочь Мария.

27 июля — умерла дочь Мария.

1801, ночь с 11 на 12 марта — совершен дворцовый переворот, убит Павел I, Александр провозглашен императором. Конец марта — начало апреля — создан высший совещательный орган при императоре — Непременный совет. Лето — начал работать Негласный комитет.

1805, январь — ноябрь — сформирована третья антинаполеоновская коалиция в составе Австрии, Англии, Неаполитанского королевства, Пруссии, России и Швеции.

20 ноября (2 декабря) — Наполеон разгромил русско-австрийские войска в «битве трех императоров» при Аустерлице.

1806, осень — оформилась четвертая антифранцузская коалиция Англии, Пруссии, России, Саксонии и Швеции. 3 ноября — у царской четы родилась дочь Елизавета.

16 (28) ноября — Александр I объявил о начале войны между Россией и Францией.

1807, 13 июня — свидание Наполеона и Александра I на Немане. 25

июня (7 июля) — подписан русско-французский Тильзитский мир.

1808, 20 апреля — умерла дочь Елизавета.

1809, осень — М. М. Сперанский представил составленный по указанию государя проект государственных преобразований — «Введение к уложению государственных законов».

1810, 1 января — ликвидирован Негласный комитет, в соответствии с планом Сперанского учрежден совещательный Государственный совет.

1812, 17 марта — М. М. Сперанский отставлен и выслан в Пермь под надзор полиции.

Ночь с 11 на 12 (с 23 на 24) июня — войска Наполеона пересекли границы России, началась Отечественная война.

13 июня — 7 июля — находился в действующей армии.

8 августа — назначил главнокомандующим М. И. Кутузова.

1813, 1 (13) января — русские войска во главе с Александром I и Кутузовым переправились через Неман — начались Заграничные походы.

4–7 (16–19) ноября — Битва народов под Лейпцигом и освобождение Германии.

1814, 18 (30) марта — принял капитуляцию Парижа.

20 октября (1 ноября) — участвовал в открытии Венского конгресса.

1815, 14 (26) октября — в Париже подписал акт о создании Священного союза.

15 (27) ноября — в Варшаве даровал конституцию Царству Польскому.

1820, 16 октября — бунт в Семеновском гвардейском полку.

1821, 24 мая — получил донос М. Грибовского о существовании тайного революционного общества со списком его основных участников.

1822, 1 августа — издал указ о запрете всех тайных и масонских обществ.

1823, лето — по указанию императора архиепископ Филарет составил проект манифеста о назначении наследником престола великого князя Николая Павловича.

1824, 23 июня — умерла Софья, дочь Александра I и его многолетней любовницы Марии Нарышкиной.

1825, октябрь — царская чета прибыла в Таганрог.

19 ноября — скончался в Таганроге от «горячки с воспалением мозга».

1826, 13 марта — похоронен в Петербурге в соборе Петропавловской крепости.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Александр I: pro et contra. Личность и деяния Александра I в оценках российских исследователей: Антология. СПб., 2012.

Архангельский А. Н. Александр I. М., 2006 (серия «ЖЗЛ»). Балязин В. И. Император Александр I. М., 1999.

Давыдов М. А. Оппозиция Его Величества: Дворянство и реформы в начале XIX века. М., 2010.

Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX века. М., 1989.

Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр I: Биография. М., 2010.

Пресняков А. Е. Российские самодержцы. М., 1990.

Рэй М. П. Александр I. М., 2013.

Сахаров А. Н. Александр I. М., 1998.

Томсинов В. А. Аракчеев. 2-е изд. М., 2010 (серия «ЖЗЛ»). Томсинов В. А. Сперанский. М., 2006 (серия «ЖЗЛ»). Федоров В. А. Сперанский и Аракчеев. М., 1997.

Шильдер Н. К. Император Александр I. Его жизнь и царствование: В 4 т. СПб., 1897–1898.

Экштут С. А. В поиске исторической альтернативы: Александр I. Его сподвижники. Декабристы. М., 1994.

Ляшенко Л. М.

Л 99 **Александр I: Самодержавный республиканец** / Леонид Ляшенко. — М.: Молодая гвардия, 2014. — 347[5] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 67).

ISBN 978-5-235-03731-1

УДК 94(47)(092)»654'

ББК 63.3(2)521.1

знак информационной продукции 16+

Ляшенко Леонид Михайлович

АЛЕКСАНДР I: САМОДЕРЖАВНЫЙ РЕСПУБЛИКАНЕЦ

Редактор Е. А. Никулина
Художественный редактор И. И. Суслов
Технический редактор М. П. Качурина
Корректоры Т. И. Маляренко, Г. В. Платова

Сдано в набор 16.04.2014. Подписано в печать 19.06.2014.
Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 14,3+1,3 вкл. Тираж 3000 экз.
Заказ № 1406680.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства:
127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail: dsel@gvardiya.ru

ARVATO BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета в «Ярославский
полиграфический комбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

notes

Примечания

1

В то же время Павел Петрович в Гатчине разъяснял сыновьям уроки Французской революции по-своему: «Вы видели, дети мои, что с людьми следует обращаться, как с собаками?»

Прическа «а-ля Титус» — короткие завитые волосы, зачесанные на лоб, — придуманная французской светской дамой Терезой Тальен, копировала прическу римского императора Тита (79–81).

По этому поводу некий неглупо ёрничающий одиннадцатиклассник заметил: «Когда Запад охватывали чувства уныния и разочарования, там начинался Ренессанс, в России же — Октябрьская революция».

4

Spero — надеяться, ожидать, уповать (лат.).

«Беседа» объединяла не только ретроградов и бесталанных литераторов. В нее входили также Г. Р. Державин, И. А. Крылов, будущие декабристы К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер, Ф. Н. Глинка.

Название происходит от имени Гернгут, в котором обосновались выходцы из чешских братьев (последователей гуситов), перебравшиеся в 1722 году из Моравии в Саксонию.

Quaker — трясущийся, трепещущий {англ.}

Фидеизм (от лат. *fides* — вера) — мировоззрение, основанное на предпочтении веры научному знанию.

Д. Н. Блудов говаривал, что европейские революции, мешавшие российским реформам, являлись всегда так «вовремя», как будто их тайно подготавливали российские крепостники. Н. Я. Эйдельман задавался вопросом: испугался Александр событий 1820–1821 годов или имитировал испуг, уверив себя, что реформы «некем взять», не видя или не желая видеть их сторонников?

Перевод М. Морозова.

Александр 1 посетил Ваграмские и Аспернские поля, где австрийцы сражались с французами в 1809 году, а также Ватерлоо, но никогда не был ни на Бородинском поле, ни в Тарутине. А. И. Михайловский-Данилевский вспоминал, что в день памятного смотра войск в Вертю он получил еще одно доказательство того, что император не любит вспоминать об Отечественной войне: «Генерал-квартирмейстер Толь... смотря на выстроившуюся армию, сказал Его Величеству: «Как приятно, что сего дня память Бородинскому сражению». Государь не отвечал ни слова и отвернулся» (*Михайловский-Данилевский А. И. Журнал 1815 года // Мемуары 1814–1815 гг. СПб., 2003. С. 267*). Более того, во время пребывания в Германии Александр ответил отказом на предложение прусского короля Фридриха Вильгельма ознакомиться с установленным в Бунцдау памятником М. И. Кутузову.

От Schmerz — боль; перен. скорбь, горе, печаль (*нем.*).

Даты приводятся по действовавшему тогда в России юлианскому календарю, внешнеполитические события датируются по юлианскому и григорианскому календарям.

comments

Комментарии

1

Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1972. С. 7.

Нечкина М. В. Вольтер и русское общество // Вольтер: Статьи и материалы. М.; Л., 1948. С. 93.

Руссо Ж. Ж. Эмиль. М., 1896. С. 255.

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX в.). СПб., 1994. С. 257–258.

Цит. по: История Европы: В 8 т. Т. 5. М., 2000. С. 62.

Цит. по: Там же. С. 77.

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника // Карамзин Н. М. Сочинения: В 2 т. Л., 1984. Т. 2. С. 96–97.

Остафьевский архив князей Вяземских: В 5 т. Т. 2. СПб., 1899. С. 50.

Ленотр Ж. Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции. М., 2006. С. 56.

Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 254.

См.: *Ключевский В. О.* Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 199.

Архив князя Воронцова: В 40 кн. Кн. 9. М., 1876. С. 501.

Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста). СПб., 1902.
С. 5–6.

Плимак Е. Г. Революционный процесс и революционное сознание. М., 1983. С. 10.

Ключевский В. О. Указ. соч. С. 107.

Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 292.

Сахаров А. Н. Александр I. М., 1998. С. 28.

См.: *Глинский Б. Б.* Царские дети и их наставники: Исторические очерки. СПб.; М., 1912. С. 199.

Цит. по: *Сахаров А. Н.* Указ. соч. С. 34–35.

Сборник Императорского Русского исторического общества (далее — Сборник РИО). Т. 23. СПб., 1890. С. 254.

Цит. по: *Шильдер Н. К.* Император Александр Первый. Его жизнь и царствование: В 4 т. Т. 1. СПб., 1897. С. 14.

Записки сенатора И. В. Лопухина. М., 1990. С. 87.

Цит. по: *Шуазель-Гуфье С.* Исторические мемуары об императоре Александре и его дворе //Державный сфинкс. М., 1999. С. 241.

Цит. по: Яновский А. А. Император Александр I. М., 2013. С. 33.

Цит. по: *Николай Михайлович., вел. кн.* Императрица Елизавета Алексеевна, супруга императора Александра Первого: В 3 т. Т. 1. СПб., 1908. С. 85.

Поликарпов В. С. История нравов России. Восток или Запад? Ростов н/Д., 1995. С. 58.

Сахаров А. Н. Указ. соч. С. 58.

Глинский Б. Б. Указ. соч. С. 189.

Долгоруков И. М., кн. Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни: В 2 т. СПб., 2004. Т. 1. С. 605.

Кучерская М. А. Константин Павлович. М., 2005. С. 31.

Графиня Головина. Воспоминания. М., 2006. С. 38.

Цит. по: *Томсинов В. А.* Сперанский. М., 2006. С. 37.

Цит. по: Чулков Г. И. Императоры. Психологические портреты. М., 1991. С. 60.

Сочинения императрицы Екатерины II: В 12 т. Т. 2. СПб., 1901. С. 209.

Цит. по: *Шильдер Н. К.* Указ. соч. Т. 1. С. 57–58.

Цит. по: *Чулков Г. И. Указ. соч. С. 63–64.*

Цит. по: *Рэй М. П. Александр I. М., 2013. С. 49.*

Цит. по: *Глинский Б. Б. Указ. соч. С. 203–204.*

Цит. по: *Чулков Г. И. Указ. соч. С. 67.*

Цит. по: *Рэй М. П.* Указ. соч. С. 89.

Крылов И. А. Басни. М.; Л., 1956. С. 85.

Греч Н. И. Записки. М.; Л., 1930. С. 316.

Чарторыйский А. Мемуары. М., 1998. С. 87–88.

См.: *Файбисович В. М.* Александр I — человек на троне // Александр I: «Сфинкс, не разгаданный до гроба...». СПб., 2005. С. 137.

Чарторыйский А. Указ. соч. С. 74.

Цит. по: *Рэй М. П. Указ. соч. С. 77.*

Шуазель-Гуфье С. Указ. соч. С. 268–269.

Вяземский П. А. Мемуарные заметки // Державный сфинкс. С. 462.

Он же. Стихотворения. Л., 1986. С. 398.

Греч Н. И. Указ. соч. С. 198, 334.

Эдлинг Р. С. Записки //Державный сфинкс. С. 166.

Чарторыйский А. Указ. соч. С. 79.

Там же. С. 80.

См.: Рассказы бабушки. С. 293.

Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 5 // Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 5. М., 1989. С. 192.

Кизеветтер А. А. Исторические очерки. М., 2006. С. 268.

Дараган П. М. Воспоминания первого камер-пажа великой княгини Александры Федоровны // Русская старина (далее — РС). 1875. Т. 12. С. 793.

Комаровский Е. Ф. Записки //Державный сфинкс. С. 40.

Долгоруков И. М. Указ. соч. Т. 1. С. 437.

См.: *Эйдельман Н. Я.* Грань веков: Политическая борьба в России. Конец XVIII — начало XIX столетия. М., 1982. С. 90–113.

Шуазель-Гуфье С. Указ. соч. С. 242.

Цит. по: *Рэй М. П.* Указ. соч. С. 87.

Цит. по: *Николай Михайлович, вел. кн. Указ. соч. Т. 1. С. 290.*

Цит. по: Сафонов М. М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Л., 1988. С. 47.

Цит. по: *Эйдельман Н. Я.* Дворцовый переворот 1797–1799 гг. // Вопросы истории. 1981. № 1. С. 108.

Время Павла и его смерть: Записки современников и участников событий// 11 марта 1801 года. М., 1908. С. 176–177.

Цит. по: Из записок графа Ланжерона // Цареубийство 11 марта 1801 года. СПб., 1907. С. 135–136.

Цит. по: *Мироненко С. В.* Александр I. «Сфинкс, не разгаданный до гроба...» // Александр I: pro et contra. Личность и деяния Александра I в оценках российских исследователей: Антология. СПб., 2012. С. 182.

Цит. по: *Чарторыйский А.* Указ. соч. С. 179.

Цит. по: Графиня Головина. Воспоминания. С. 193.

Цит. по: *Сторожев В. Н.* Император Александр I и русский правительственный либерализм начала XIX века // Александр I: pro et contra. С. 89.

Чарторыйский А. Указ. соч. С. 161–162, 168.

Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2000. С. 74–75, 78–79.

Кинг Д. Битва дипломатов, или Вена, 1814. М., 2010. С. 34.

См.: *Валлота* А. Александр I. М., 1991. С. 65.

Булгарин Ф. В. Воспоминания. СПб., 2012. С. 130.

Пытин А. Н. Общественное движение в России при Александре I: Исторические очерки. СПб., 1900. С. 65.

Исторические люди в анекдотах. Из жизни государственных и общественных деятелей. СПб., 2010. С. 26.

Там же. С. 27.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 172–173.

Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 163.

Сухотин С. М. Из памятных тетрадей // Русский архив (далее — РА).
1894. № 4. С. 601.

Цит. по: *Рэй М. П.* Указ. соч. С. 100.

Цит. по: *Минаева Н. В.* Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение России в начале XIX в. Саратов, 1982. С. 71–72.

Цит. по: *Шильдер Н. К.* Указ. соч. Т. 2. СПб., 1897. С. 41.

PA. 1911. № 1.C. 140–141.

Местр Ж. де. Петербургские письма. 1803–1817. СПб., 1995. С. 79.

Шуазель-Гуфье С. Указ. соч. С. 263.

Цит. по: *Сафонов М. М. Указ. соч. С. 148.*

PC. 1903. T. 9. № 1.C. 30–31.

Неизвестный автор. Император Александр Павлович и его двор в 1804 г. // Державный сфинкс. С. 501.

Вяземский П. А. Указ. соч. С. 463.

Цит. по: *Мироненко С. В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 36.

Цит. по: *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. 1813–1877. М., 2003.
С. 74.

Местр Ж. де. Указ. соч. С. 50.

Цит. по: *Рэй М. П.* Указ. соч. С. 91.

Цит. по: Там же. С. 125.

См.: *Эйдельман Н. Я.* «Революция сверху» в России. М., 1989. С. 80.

Цит. по: *Минаева Н. В. Указ. соч. С. 66.*

Турчин В. С. Александр 1 и неоклассицизм в России. М., 2001. С. 29.

1812 год. Баронесса де Сталь в России // Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991. С. 45, 46.

Худушина И. Ф. Царь. Бог. Россия: самосознание русского дворянства (конец XVIII — первая треть XIX в.). М., 1995. С. 63.

Фонвизин Д. И. Собрание сочинений: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 264.

Цит. по: *Чулков Г. И.* Указ. соч. С. 128.

Эдлинг Р. С. Указ. соч. С. 161.

Архив князя Воронцова. Кн. 10. М., 1876. С. 99—100.

Местр Ж. де. Указ. соч. С. 58.

Чарторыйский А. Указ. соч. С. 183.

Там же. С. 186.

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 105.

Вяземский П. А. Мемуарные заметки. С. 465–466.

Цит. по: *Томсинов В. А.* Указ. соч. С. 154.

Дневниковые записи В. А. Муханова// РА. 1896. № 10. С. 328–329.

Сперанский М. М. Проекты и записки. М.; Л., 1961. С. 153–154.

Дружинин Н. М. Правительственный абсолютизм в России И Абсолютизм в России (XVII–XVIII вв.). М., 1964. С. 457.

Эйдельман Н. Я. «Революция сверху» в России. С. 82.

Цит. по: *Томсинов В. А.* Указ. соч. С. 176.

См.: ПА. 1871. № 7–8. С. 1168–1169.

Комаровский Е. Ф. Указ. соч. С. 75.

Цит. по: *Чулков Г. И. Указ. соч. С. 97.*

Местр Ж. де. Указ. соч. С. 120.

Вяземский П. А. Старая записная книжка. СПб., 2012. С.117.

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 296.

Долгоруков И. М. Указ. соч. Т. 2. С. 245.

Цит. по: *Неизвестный автор*. Император Александр Павлович и его двор в 1804 г. С. 532.

Цит. по: *Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр I: Биография.* М., 2010. С. 98.

Цит. по: *Волконский С. Г.* Записки. М., 2011. С. 140.

Кизеветтер А. А. Указ. соч. С. 274.

Худушина И. Ф. Указ. соч. С. 116.

Долгоруков И. М. Указ. соч. Т. 1. С. 595.

Фонвизин М. А. Сочинения и письма: В 2 т. Т. 2. Иркутск, 1982. С. 185.

Пуцин М. И. Записки // РА. 1908. № 11. С. 433–434.

Цит. по: *Экштут С. А.* В поиске исторической альтернативы: Александр I. Его сподвижники. Декабристы. М., 1994. С. 54.

Цит. по: *Предтеченский А. В.* Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в. М.; Л., 1957. С. 150–151.

Цит. по: *Андреева Т. В.* Тайные общества в России: правительственная политика и общественное мнение. СПб., 2009. С. 159.

Карамзин Н. М. Указ. соч. С. 383.

См.: ПА. 1870. № 8. С. 2229.

Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 32.

Гросул В. Я., Итенберг Б. С., Твардовская В. А., Шаццло К Ф., Эймонтова Р. Г. Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика. М., 2000. С. 81.

Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова: В 2 т. Берлин, 1870. Т. 1. С. 84–85.

Цит. по: *Карпец В. И.* Муж отечестволюбивый: Историко-литературный очерк. М., 1987. С. 24.

Цит. по: *Шильдер И. К* Указ. соч. Т. 1. С. 160.

Местр Ж. де. Указ. соч. С. 68.

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 214.

Цит. по: *Томсинов В. А. Аракчеев. М., 2003. С. 200.*

Левандовский А. А. «Без лести предан». Алексей Аракчеев // Отечественная война 1812 года: неизвестные и малоизвестные факты. М., 2012. С. 218.

Томсинов В. А. Аракчеев. С. 209–210.

Цит. по: *Сахаров А. Н. Указ. соч. С. 183.*

См.: ПА. 1864. № 3. С. 319–321.

Цит. по: *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Граф П. Д. Киселев и его время: В 4 т. СПб., 1882. Т. 1. С. 28, 29.

PA. 1875. № 3. C. 42.

Местр Ж. де. Указ. соч. С. 189–190.

См.: *Тургенев Н. И.* Россия и русские. М., 2001. С. 248.

Цит. по: Федоров В. А. М. М. Сперанский и А. А. Аракчеев. М., 1997.
С. 81.

Цит. по: *Мироненко С. В.* Самодержавие и реформы. С. 215.

Тургенев Н. И. Указ. соч. С. 248.

Трубецкой С. П. Материалы жизни и революционной деятельности: В 2 т. Иркутск, 1983. Т. 1. С. 217.

Местр Ж де. Указ. соч. С. 296.

Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. СПб., 2007. С. 9.

Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 292.

Сборник РИО. Т. 78. СПб., 1891. С. 192.

РА. 1869. № 7–8. Стб. 1897.

Цит. по: *Тургенев Н. И. Указ. соч. С. 49.*

Волконский С. Г. Указ. соч. С. 396.

Цит. по: *Шильдер Н. К.* Указ. соч. Т. 4. СПб., 1898. С. 87.

Цит. по: *Тургенев Н. И. Указ. соч. С. 50.*

См.: Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа: Письма и политические сочинения. М., 1963. С. 81–82.

См.: *Шебунин А. Н.* Европейская контрреволюция в первой половине XIX в. Л., 1925. С. 91.

Цит. по: *Шильдер И. К.* Указ. соч. Т. 4. С. 182–183.

Цит. по: *Минаева Н. В.* Указ. соч. С. 205–206.

Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. С. 207.

Императрица Александра Федоровна. Воспоминания с 1817 по 1818 г.
// Николай I. Портрет на фоне эпохи. М., 2011. С.21.

Лорер Н. И. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 66–67.

Цит. по: *Курукин И. В.* Романовы. М., 2013. С. 369.

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 5. СПб., 1906. С. 113.

Тургенев Н. И. Указ. соч. С. 251.

Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. С. 290.

Письма Н. М. Карамзина кн. П. А. Вяземскому. 1810–1826. Из Остафьевского архива. СПб., 1897. С. 168.

Либерализм в России. М., 1996. С. 114.

Мельгунов С. П. Идеализм и реализм декабристов // «Мы дышали свободой...»: Историки Русского Зарубежья о декабристах. М., 2001. С. 53.

Цит. по: *Соллогуб В. А. Воспоминания. М., 1998. С. 36. См. также: Волконский С. Г. Указ. соч. С. 411.*

Алданов М. А. Памяти декабристов // «Мы дышали свободой...». С. 25–26.

Цит. по: *Мельгунов С. П.* Указ. соч. С. 61–62.

Уортман Р. С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. М., 2002. Т. 1. С. 259.

Цит. по: *Мельгунов С. П.* Император Александр I // Александр I: pro et contra. С. 628.

Цит. по: *Кондаков Ю. Е.* Духовно-религиозная политика Александра I
// Там же. С. 716.

См.: *Кизветтер А. А. Указ. соч. С. 356–357.*

Сборник РИО. Т. 3. СПб., 1868. С. 252.

Цит. по: *Шуазель-Гуфье С. Указ. соч. С. 295.*

См.: *Фишер К. И.* Записки сенатора. М., 2008. С. 327.

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 448–449.

Местр Ж. де. Указ. соч. С. 124–125.

Шуазель-Гуфье С. Указ. соч. С. 366–367.

Эдлинг Р. С. Указ. соч. С. 181–182.

Фишер К. И. Указ. соч. С. 269.

Там же. С. 312.

Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX в. М., 2007. С.336.

Фикельмонд. Дневник 1829–1837. М., 2009. С. 307.

Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины XIX в. М., 2006. С. 311.

См.: Рассказы бабушки. С. 255; *Дмитриев М. А.* Указ, соч. С. 232.

Цит. по: *Мельгунов С. П.* Император Александр I. С. 694.

Цит. по: *Николай Михайлович, вел. кн. Граф Павел Александрович Строганов (1774–1817): Историческое исследование эпохи императора Александра I: В 3 т. СПб., 1903. Т. 2. С. 94.*

Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского: В 12 т. Т. 7. СПб., 1880. С. 212–213.

PA. 1874. № 6. C. 1048.

Греч Н. И. Указ. соч. С. 333–334.

Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр I. С. 39–40.

Цит. по: Там же. С. 47.

Цит. по: *Троицкий Н. А.* 1812. Великий год России. М., 1988. С. 24.

Цит. по: *Предтеченский А. В.* Указ. соч. С. 219.

PA. 1911. № 1.C. 145.

PC. 1899. № 4. C. 6.

Цит. по: *Дубровин Н. Ф. Указ. соч. С. 55.*

Там же. С. 50.

Цит. по: Там же. С. 66.

Цит. по: *Николай Михайлович, вел. кн. Императрица Елизавета Алексеевна...* Т. 2. С. 256.

Цит. по: *Дубровин Н. Ф. Указ. соч. С. 226.*

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 208.

Цит. по: *Валлтон А.* Указ. соч. С. 197.

Цит. по. *Дубровин Н. Ф.* Указ. соч. С. 236.

История XIX века: В 8 т. 2-е изд. / Под ред. Э. Лависса, А. Рамбо; пер. с фр. под ред. Е. В. Тарле. М., 1938. Т. 2. С. 443.

См.: *Сироткин В. Г.* Дуэль двух дипломатий: Россия и Франция в 1801–1812 гг. М., 1966. С. 162.

PC. 1911. № 3. C. 522–523.

Цит. по: *Коленкур А. де. Мемуары. М., 1994. С. 54.*

См.: Чулков Г. И. Указ. соч. С. 104.

PC. 1912. № 9. C. 312.

Волконский С. Г. Указ. соч. С. 154.

Цит. по: *Троицкий Н. А.* Указ. соч. С. 52.

Цит. по: *Парсамов В.* Александр I в 1812 году // Отечественная война 1812 года: неизвестные и малоизвестные факты. С. 34.

Цит. по: *Балязин В. Н.* Император Александр I. М., 1999. С. 57.

Цит. по: *Дубровин Н. Ф. Указ. соч. С. 803.*

PA. 1870. № 4. C. 761.

PC. 1911. № 1.C. 133, 138.

Тургенев Н. И. Указ. соч. С. 25.

Цит. по: *Николай Михайлович, вел. кн.* Переписка императора Александра I с сестрой великой княгиней Екатериной Павловной. СПб., 1910. С. 84.

Эдлинг Р. С. Указ. соч. С. 179.

Цит. по: *Шуазель-Гуфье С. Указ. соч. С. 284.*

Местр Ж. де. Указ. соч. С. 246.

Исторические рассказы и анекдоты из жизни русских государей и замечательных людей. М., 2012. С. 199.

Глинка С. Н. Записки. М., 2004. С. 314.

Парсамов В. Указ. соч. С. 44.

Цит. по: *Чулков Г. И. Указ. соч. С. 114.*

Цит. по: *Безотосный В.* Истинный победитель Наполеона // Родина. 2013. № 11. С. 2.

Цит. по: *Соловьев. М.* Император Александр Первый. Политика — дипломатия. СПб., 1877. С. 251.

Цит. по: *Ивченко Л.* Кутузов и начало Заграничных походов // Родина. 2013. № 11. С. 13.

Цит. по: *Ульянов Н. И.* Александр I — император, актер, человек // Александр I: pro et contra. С. 112.

Цит. по: Там же. С. 119.

РА. 1874. № 5. Стб. 1130–1131.

Цит. по: *Ульянов Н. И.* Указ. соч. С. 110.

Цит. по: *Чулков Г. И.* Указ. соч. С. 121.

Цит. по: *Рэй М. П.* Указ. соч. С. 299.

Цит. по: *Пресняков А. Е.* Российские самодержцы. М., 1990. С. 196.

Цит. по: *Анисимов Е. В.* Император Александр I: государь и человек // Александр I: pro et contra. С. 37–38.

Цит. по: *Ульянов Н. И.* Указ. соч. С. 118.

Цит. по: *Рэй М. П.* Указ. соч. С. 317.

Кинг Д. Указ. соч. С. 342.

Вяземский П. А. Мемуарные заметки. С. 472–473.

Цит. по: *Архангельский А. Н.* Александр I. М., 2006. С.207.

Цит. по: *Шуазель-Гуфье С.* Указ. соч. С. 295.

Цит. по: *Курукин И. В. Указ. соч. С. 363.*

Цит. по: *Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 744.*

Греч Н. И. Указ. соч. С. 358.

Там же. С. 432.

Дмитриев М. А. Указ. соч. С. 232–233.

Цит. по: *Предтеченский А. В.* Современник декабристов Т. Г. Бок. Таллин, 1953. С. 60–61.

Цит. по: *Кучерская М. А. Указ. соч. С. 37.*

Цит. по: *Муравьев А. Н.* Сочинения и письма. Иркутск, 1986. С. 102.

Цит. по: *Шильдер Н. К.* Указ. соч. Т. 4. С. 85.

Цит. по: *Николай Михайлович, вел. кн.* Переписка императора Александра I с сестрой великой княгиней Екатериной Павловной. С. 6.

См.: Записки графа Ф. П. Толстого. М., 2001. С. 207–208.

PC. 1880. T. 29. № 12. C. 798.

Цит. по: Яновский А. А. Указ. соч. С. 104.

Цит. по: Чулков Г. И. Указ. соч. С. 67.

Цит. по: *Исмаил-заде Д. И.* Александр I и императрица Елизавета Алексеевна // Александр I: «Сфинкс, не разгаданный до гроба...». С. 104.

Графиня Головина. Воспоминания. С. 193.

Эдлинг Р. С. Указ. соч. С. 174.

Греч Н. И. Указ. соч. С. 363.

См.: *Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 40.*

Цит. по: *Шуазель-Гуфье С.* Указ. соч. С. 268–269.

Цит. по: *Валлтон А.* Указ. соч. С. 292.

Наше наследие. 2001. № 59–60. С. 178–179.

Цит. по: *Курукин И. В. Указ. соч. С. 371–372.*

Фикельмон Д. Указ. соч. С. 82–83.

См.: *Валлтон А.* Указ. соч. С. 291.

Дмитриев М. А. Указ. соч. С. 182.

Греч Н. И. Указ. соч. С. 425.

Фишер К. И. Указ. соч. С. 271.

Никитенко А. В. Дневник: В 2 т. Л., 1955. Т. 1. С. 10.

Тургенев А. И. Хроника русского: Дневники (1825–1826 гг.). М., 1964.
С. 374.

Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 427.

Тыркова-Вильямс А. В. Пушкин: В 2 т. М., 1998. Т. 1. С. 107.

Валлотон А. Указ. соч. С. 281–282.

Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1990. С. 649.

Пресняков А. Е. Указ. соч. С. 138.

Корнилов А. А. Курс истории России XIX в: В 2 ч. М., 1918. Ч. 1.С. 16–17.

Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в. С. 206.

Бокова В. М. Эпоха тайных обществ: Русские общественные объединения первой трети XIX в. М., 2003. С. 416.

Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 5. С. 236–237.

Архангельский А. Н. Указ. соч. С. 411.

Рэй М. П. Указ. соч. С. 416–417.

Проскурякова Н. А. Россия в XIX веке: государство, общество, экономика: Учебное пособие для студентов вузов. М., 2010. С. 226.

Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр I. С. 305–306.

Курукин И. В. Указ. соч. С. 345.

Мироненко С. В. Страницы тайной истории самодержавия: Политическая история России первой половины XIX столетия. М., 1990. С. 72.

Сахаров А. Н. Указ. соч. С. 104.

См.: *Пивоваров Ю. С.* Полная гибель всерьез: Избранные работы. М., 2004. С. 66–67.

Чулков Г. И. Указ. соч. С. 82.

Собко Е. М. Государственный совет в эпоху Александра III. М., 2007.
С. 13.

Померанц Г. С. Собрание себя. М.; СПб., 2013. С. 53.

См.: *Кудряшов К. В.* Александр I и тайна Федора Кузьмича // Александр I: pro et contra. С. 804.

См.: Там же. С. 807.

См. также: *Кудряшов К. В.* Александр I и тайна Федора Кузьмича. Пг., 1923.